ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ИСПАНИЯ: ЗЕМЛЯ И НЕБО

Основан в 1955 году

Публикация номера
Испания: земля и небо
осуществлена
в рамках проектов Года Испании в России
при финансовой поддержке
Института Сервантеса в Москве.

Тема Испании — неотъемлемая часть российской культуры, испанская нота вошла в строй русской лирики. Далеко не к каждой из больших стран, так или иначе влиявших в последние два столетия на Россию, такие слова применимы, а вот у нас в стране без них не обойтись. Может быть, дело в том, что образ Испании стал складываться в русской словесности именно в ее формативный период и высоту упомянутой ноты задали те, кто определял облик нашей литературы "золотого века", — Карамзин и Жуковский, Батюшков и Пушкин, Катенин и Вяземский. Немало значил, конечно, и другой факт: представление об Испании едва ли не с самого начала — героического сопротивления испанцев Наполеону и позднейшей борьбы за республиканскую конституцию — связалось у нас, не без воздействия декабристов, с идеями народа и свободы. Оба эти емких слова через столетие с небольшим украсили знамена Испанской республики, под которыми — среди других добровольцев — воевали и волонтеры из России. Тогда русский язык обогатился новой волной испанских переводов, кстати, во многом доходивших до читателей через журнал "Интернациональная литература" (им, напомню, были заказаны и переводы Марины Цветаевой из Лорки, ставшие камертонными для следующих поколений испанистов).

Нынешний номер "ИЛ", составленный Т. Ильинской, стремится продолжить эту традицию на современном материале (перечень испанских публикаций на наших страницах в конце номера показывает, что названная традиция с первых выпусков журнала не прерывалась). Читателям приоткроется страна, живущая *после* вековых исторических бурь, но не забывающая о них и об их мучительных следах. Антонио Муньос Молина вспоминает не только о давней и славной победе испанцев над маврами в 1492 году, но и о тогдашней, под праздничный звон колоколов, высылке иудеев из страны, а их судьбы сближает с евреями-изгнанниками из его родного квартала уже в 1940-х годах. Хосе Бергамин мысленно возвращается к фигуре Лопе де Веги, ставя рядом в его портрете упоминавшиеся выше ключевые слова "народ" и "мятеж" ("великий поэт-мятежник", "великий народный поэт"). Андрес Трапьельо заново переживает финал Испанской Республики и сокрушительное поражение на берегах Эбро. Луис Сернуда вносит горькую тему многолетней эмиграции потерпевших крах. Дионисио Гарсиа Сапико на собственном примере рассказывает о детстве одного из таких изгнанников в Советской России. Карен Степанян отсылает к началам российской испанистики, переводам "Дон Кихота" и их восприятию, воссоздавая в "большом времени" эпизод из долгой истории перекличек между испанской и русской литературами, воображаемый диалог Достоевского с Мигелем де Сервантесом.

Хотелось бы надеяться, что материалы спецвыпуска добавят к этому культуротворческому диалогу новые голоса. Читатель найдет здесь произведения авторов, ставших уже классиками XX века, и тех, кто родились во второй половине прошлого столетия, а сегодня находятся в центре читательского внимания соотечественников, активно переводятся на другие языки мира. Самые молодые из них приближаются к пятидесятилетию, а это значит, что знакомство со следующими, еще совсем юными поколениями испанских поэтов и прозаиков — впереди.

Борис Дубин

[12]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Испания: земля и небо

Да будет все сказано, но ни слова не сказано даром

3 Антонио Муньос Молина *Сефард.* Фрагмент романа. *Река забвения. Комната с привидением.* Рассказы. Перевод Татьяны Родименко. *"Для меня не существует ничего само собой разумеющегося".* Интервью с писателем. Запись беседы и перевод Татьяны Родименко

...а истину только поэт постигает в слепящей ее наготе

61 *Два голоса с разных краев.* Стихи Андреса Санчеса Робайны и Андреса Трапьельо. Перевод и вступление Бориса Дубина

Жизнь пошла по тропке дальней, где История не бродит...

71 Ана Мария Матуте *Тот, кого нет рядом. Сокровище. Праздник.* Рассказы. Перевод Надежды Мечтаевой

85 Хуан Хосе Мильяс *Незримый ущерб. Человек, который любил ночную жизнь. Почтальон всегда звонит дважды.* Рассказы. Перевод Марины Киеня

96 Сержи Памиес *Оригами. Любимые песни Ленина.* Рассказы. Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен

106 Альмудена Грандес *Песня над балконами.* Рассказ. Перевод Юлии Лариковой

119 Мартин Касариего *Я знал разных людей.* Рассказ. Перевод Марии Малинской

И неужели явь — лишь сон о яви? И прошлое — легенда или вздор?

123 Мигель Делибес *Безумец.* Повесть. Перевод Дарьи Синицыной

Господь, уйми печаль мою, тебе ли не знать, о чем я...

163 *Вместо поклона. Несколько слов о поколении 27 года.* Стихи Хорхе Гильена и Луиса Сернуды. Перевод и вступление Натальи Ванханен

...все из памяти уходит, кроме были изначальной

174 Дионисио Гарсиа Сапико *Испанец в России.* Главы из книги. Литературная редакция Натальи Малиновской

© "Иностранная литература", 2011

Мимолетную грезу
исканием истины обремени

216 Мария Самбрано *Между зрением и слухом.* Из книги "Философия и образование: рукописи". Перевод и вступление Бориса Дубина

...и, чтобы не сгинуть в заоблачной выси,
заботься о мощном крыле

221 Хосе Бергамин *Лопе – земля и небо Испании.* Эссе из книги "Приглушенный голос". Перевод Ирины Ершовой

...жребий твой высок

231 Наталья Ванханен *"По-королевски, без фальши".* О книге Анатолия Гелескула "Огни в океане"

...Сервантес написал
Евангелие нам — от Дон Кихота

235 Карен Степанян *Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени*

Да пусть обман все это...

255 Мабель Велис Блинова *События последнего испанского кинофестиваля "Гойя"*

...и правды не узнаешь никогда

259 *По материалам испанской прессы.* Подготовила Мабель Велис Блинова

Библиография

262 *Испанская литература на страницах ИЛ*

270 *Содержание журнала "Иностранная литература" за 2011 год*

280 *Алфавитный указатель авторов журнала "Иностранная литература" за 2011 год*

Авторы номера

282

Названия рубрикам дали строчки из стихов испанского философа, поэта, прозаика, драматурга, эссеиста Мигеля де Унамуно (1864–1936) в переводе С. Гончаренко, А. Косс, Д. Шнеерсона и В. Михайлова.

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Антонио Муньос Молина

Перевод Татьяны Родименко

Сефард

Фрагмент романа

Я не могу забыть одну еврейскую постройку в том районе моего родного города, который называется Алькасар: его границы по сей день кое-где обозначены развалинами городской стены. Когда-то он вмещал в себя средневековую крепость- цитадель, первоначально принадлежавшую мусульманам, а начиная с XIII века — христианам. Если уж быть точным, с 1234 года, когда Фердинанд III Кастильский, именуемый в школьных учебниках Святым, вступил во владение только что завоеванным городом. Дабы мы, дети, без труда запомнили эту дату, нам велели затвердить четыре следующие одна за другой цифры: один, два, три, четыре, — и мы хором повторяли нараспев, как таблицу умножения: "Фердинанд III Святой отбил наш город у мавров в тысяча, двести, тридцать, четвертом году".

© Antonio Muñoz Molina, 2001 used by permission of the Wylie Agency (UK) Limited
© Татьяна Родименко. Перевод, 2011

За стенами крепости, находившейся на возвышении и почти неприступной с южной и восточной стороны, сначала укрывалась главная мечеть, а потом ее место заняла церковь Святой Марии. Церковь стоит и поныне, хотя вот уже много лет закрыта на реставрационные работы, которым не видно конца. Ее крытую галерею в готическом стиле — единственное, что в этом здании есть подлинно древнего и ценного, — уже не раз реставрировали как придется, главным образом в XIX веке. Тогда же — не позднее 1880 года — были пристроены несуразный и аляповатый портал и пара звонниц, не представляющих никакого интереса. Зато в том перезвоне, который раздавался в городе с наступлением вечера, звучание их колоколов я распознавал без труда: как-никак это были колокола нашего прихода. Я даже мог сказать, когда они звонили по новопреставленному, а когда — к заупокойной мессе, а по воскресеньям, в полдень и вечером, различал их заливистый трезвон, возвещавший начало литургии. Среди ближайших церквей выделялись колокола храма Спасителя — они звучали более низко и торжественно. Если же звук был звонким и чистым, тогда это были колокола женского монастыря; его звонница походила на крепостную башню и своей мрачностью была под стать всему зданию с наглухо закрытой входной дверью и каменной оградой, в любое время погруженной в холодную северную тень и оттого поросшей мхом и лишайником. Иногда эта огромная черная дверь со шляпками гигантских гвоздей отворялась, и — всегда парами — появлялись монахини в своих коричневых одеяниях; такие бледные, что представлялись мне вышедшими с того света. Их лица в обрамлении белой ткани под головным покровом казались белее этой ткани. Монахини навевали на меня такой ужас, что из опасения: а вдруг им вздумается меня похитить? — я жался к матери, которая в церкви всегда покрывала голову черной вуалью.

Помню огромные неодинаковые по форме плиты, которыми была вымощена галерея церкви Святой Марии. Некоторые из них служили надгробиями, и на них были выбиты имена давным-давно умерших людей, стершиеся с течением времени под ногами прихожан. Вспоминаю сад, открывавшийся за стрельчатыми арками. Там рос лавр, такой высокий, что ребенку было не по силам дотянуться взглядом до его верхушки. В этом саду, утонувшем в тени гигантского лавра и заросшем папоротником и бурьяном, всегда, даже в жару, резко пахло зеленью и сырой землей и стоял птичий гомон — птицы вили гнезда в гуще деревьев, — а летней порой на закате слышался протяжный свист ласточек и стрижей. Издалека лавр казался огромным темно-зеленым фонтаном, гейзером листвы, взметнувшимся выше колоколен церкви и крыш окрест-

ных домов; в ветреные дни он раскачивался из стороны в сторону. В раннем детстве, когда я выходил на галерею церкви Святой Марии, еще держась за мамину руку, и выглядывал в сад, мне не терпелось посмотреть на лавр. У меня тотчас же начинала кружиться голова, от земли и каменной кладки неизменно тянуло сыростью и холодом, и птицы оглушали меня своим гвалтом, взмывая вверх при первых ударах колокола.

Я был уверен, что лавр упирается в небо — точь-в-точь как росток волшебных бобов в той сказке, которую слышал от женщин в нашей семье; спустя много лет я сам читал ее своему старшему сыну: с тех пор как ему исполнилось два или три года, он всегда жаждал послушать сказку перед сном и начинал волноваться, стоило истории приблизиться к развязке — тогда он требовал продолжения или упрашивал меня почитать, а еще лучше сочинить другую, при этом мне приходилось выдумывать ее по его вкусу, наделяя персонажей чертами характера и волшебными способностями по его желанию и давая им имена по его выбору. Читая сказку в изголовье кровати своего сына, я изображал дело так, будто маленький герой взбирается на небо по ветвям волшебного лавра церкви Святой Марии и выныривает с другой стороны облаков — как я себе это представлял, когда сам был ребенком и эту историю рассказывали мне. Если смотреть вверх, не отрываясь, можно было заметить, что даже в безветренную погоду лавр слегка раскачивается, и, чем неуловимее было это движение, тем более мне становилось не по себе. При сильном ветре взбудораженные листья шелестели так громко, что этот звук напоминал шум морского прибоя — правда, в ту пору мне ни разу не доводилось его слышать, разве что в кинофильмах или когда мне подносили к уху морскую раковину, уверяя, что в ней еще сохранился отзвук моря, с которого ее привезли.

Помнится, в то лето, когда мне исполнилось двенадцать, я каждый день наведывался в церковь Святой Марии — помолиться Пресвятой Деве Гвадалупской, покровительнице нашего города. Я просил ее помочь мне пересдать в сентябре экзамен по физкультуре, поскольку в июне провалился самым позорным образом, хотя на то имелись причины. Мне не давался никакой вид спорта, я не был способен взобраться по канату, перепрыгнуть через коня или, на худой конец, просто перекувыркнуться. Во мне росло сознание отверженности, усиленное горечью от утраты привычной ясности детства, на смену которой пришли неопределенность и страхи переходного возраста. Я все время чувствовал себя не в своей тарелке, изгоем, мое слишком круглое лицо было усыпано прыщами, над верхней, еще детской, губой уже начал темнеть пушок, в самых неожиданных частях моего тела пробивалась

растительность. И к этому еще добавлялся острый тайный стыд мастурбации, которая, если верить яростным предостережениям пастырей, являлась не только грехом, но и началом целого ряда ужасных болезней. Как странно, что когда-то я был этим самым ребенком — одиноким, толстым и неуклюжим, который летом каждый вечер, как только спадала жара, отправлялся в район Алькасара и входил, ступая по пятисот- или шестисотлетним надгробным плитам под прохладные своды галереи церкви Святой Марии, чтобы обратиться с молитвой к Пресвятой Деве. Преисполненный благочестия, в глубине души я терзался стыдом, потому что как раз в то лето научился мастурбировать, украдкой бросая взгляды на вырез платья и обнаженные ноги женщин, на грудь — белую, с тонкими голубоватыми прожилками и большим темным соском — босоногой цыганки, кормившей ребенка на пороге одной из нищих хибар на окраине рядом с развалинами городской стены. Иногда я еще издали успевал разглядеть на главной площади перед церковью четырех-пятерых хулиганов из моего класса, сидящих на каменной скамье. Эти парни уже курили и отирались по пивным и ни за что не упустили бы случая — пройди я мимо, даже притворившись, что не замечаю их, — поиздеваться надо мной. Они не раз проделывали это в спортзале или на школьном дворе, пользуясь своим физическим превосходством. Но они бы изгалялись еще пуще, если бы знали, куда я направляюсь: толстяк-зубрила, успевающий по всем предметам, не может сдать зачет по физкультуре и каждый вечер ходит молиться Пресвятой Деве, исповедуется, присутствует на службе и причащается — с угрызениями совести, с камнем на душе из-за того, что так и не отважился во всем сознаться на исповеди, не сказал священнику, который задал все положенные вопросы, и, осеняя в полумраке крестным знамением, скороговоркой призвал покаяться и отпустил грехи, что остался еще один грех, но о нем можно говорить лишь обиняками, называя его *нечистым поступком*. Так еще в детстве католическое учение приучило нас бороться с собой один на один, внушило искаженное представление о виновности: нечистый поступок был смертным грехом, и, если в нем не покаяться, он не может быть прощен, а если подходишь причащаться со смертным грехом, то совершаешь еще один, не менее тяжкий, чем первый, и одно прегрешение прибавляется к другому, подспудно отягощая совесть.

В церкви Святой Марии я в двадцать шесть лет венчался со своей первой женой. Во время церемонии я испытывал такое смятение и нервное напряжение, да вдобавок у меня кружилась голова из-за скопления народа, что, возможно поэтому, лавр-исполин во дворе церкви как-то выпал из поля моего

зрения, хотя сейчас меня одолевает тревожное сомнение: а вдруг его срубили? — ведь в городе, где древоубийство стало обычным делом, в этом не было бы ничего странного. О том усатом, коротко стриженном молодом человеке в костюме цвета морской волны и с галстуком жемчужного цвета у меня сохранились гораздо более смутные воспоминания, чем о богобоязненном и терзаемом тайным стыдом юнце. Между ними разница в четырнадцать лет. За это время он успел довести до совершенства навыки, усвоенные еще подростком, научился притворяться тем, кем его хотят видеть, и, стиснув зубы, делать то, что от него ожидают: цель этой наивной уловки заключалась в том, чтобы утаить от других свое подлинное "я" и, утоляя духовный голод книгами и мечтами, а также все увеличивающейся порцией злости, оставаться мягким и податливым с виду. Так он и жил — в постоянном изгнании, где-то у самого горизонта, который почти никогда не становится ближе, хотя является всего лишь оптической иллюзией вроде пространства чистого поля, нарисованного на стене, или в каком-нибудь фильме, где актер на полной скорости ведет машину с открытым верхом по краю обрыва, но при этом что-то не заметно, чтобы ветер трепал ему волосы, а на ветровом стекле не мелькают тени деревьев.

В той части Алкасара, которая расположена за церковью Святой Марии и опоясана с южной и западной стороны террасами огородов и дорогой, огибающей развалины городской стены, улицы были узкие и мощеные, а площади едва вмещали какой-нибудь родовой дом, украшенный огромной каменной аркой, и два-три тутовых дерева или тополя. Самые старые дома района относятся к XV веку. Они побелены, и только дверная притолока сохранила первозданный желтоватый цвет песчаника, из которого они сложены, — кстати, из того же самого, что и церкви с дворцами. Белизна извести и золотисто-рыжеватый оттенок камня контрастируют в тончайшей гармонии, которая роднит светоносное и утонченное Возрождение с суровой красотой народной архитектуры. Длинные и узкие окна с частыми решетками, похожими на жалюзи, и высокие стены глухих садовых оград вызывают в памяти непроницаемость мусульманского жилища, без каких бы то ни было изменений унаследованную монастырями. Есть дома с окнами-щелями, смахивающими на бойницы, в которых мы прятались в детстве, и огромными кольцами у входа — эти железные кольца были такими тяжелыми, что нам было не под силу их поднять; говорили, что в прежние времена к ним привязывали лошадей. В таких домах жила знать, эти люди управляли городом и во время своих феодальных восстаний против королевской власти укрывались за стенами

Алькасара. Под прикрытием стен крепости располагался и Еврейский квартал: знать нуждалась в деньгах евреев, их административных способностях, талантах ремесленников — так что в ее интересах было предоставить им защиту во время периодических вспышек гнева благочестивой и невежественной толпы, подстрекаемой проповедниками-фанатиками и взятой за живое все теми же вымыслами об осквернении жертвы и кровавых ритуалах, якобы справляемых евреями с целью опорочить веру Христову. Они-де похищали священные хлебы, оплевывали и топтали их, втыкали в них гвозди, сплющивали щипцами, чтобы воспроизвести на них истязания, которым была подвергнута плоть Иисуса Христа. Выкрадывали христианских детей и обезглавливали их в подземельях синагог, пили их кровь или же пачкали ею белую муку священных хлебов.

Кто-то рассказал мне о еврейском доме, и я кружил по району Алькасара, пока не набрел на него. Он укрылся в узком переулке, будто втиснувшись туда, и я помню, что в доме жили: из открытых окон, уставленных цветочными горшками, доносились голоса людей и шум телевизора. Дверь была низкая, и на стене по обе стороны от дверного проема были выбиты две звезды Давида, вписанные в круг, еще не настолько стершиеся от времени, чтобы рисунок нельзя было разглядеть в деталях. Этот небольшой, но прочный дом, судя по всему, принадлежал не какому-то зажиточному семейству, а писцу, мелкому торговцу или учителю в раввинской школе; в годы, которые предшествовали изгнанию евреев, его обитатели пытались наладить нормальную жизнь в постоянных метаниях между страхом и надеждой на то, что приступы христианского фанатизма, угрожающие их жизни, сойдут на нет, как уже бывало не раз, и в этом маленьком городке, к тому же под прикрытием стен Алькасара, не повторится ничего похожего на ужасную резню, устроенную в Кордове несколькими годами раньше, или на ту, которой был отмечен конец предыдущего столетия. Кажется, что дом затаился здесь, в проулке, желая спрятаться, точь-в-точь как человек, который низко опускает голову и, втянув ее в плечи, передвигается, прижимаясь к стене, чтобы остаться незамеченным. А как тут будешь себя вести, зная, что со дня на день тебя могут выставить вон, что достаточно подписи и сургучной печати под документом — и вся твоя жизнь пойдет прахом, ты потеряешь все: свой дом, свое имущество, свой налаженный быт — и будешь вышвырнут на дорогу, выставлен на всеобщий позор, лишен всего, что считал своим, и отправлен в плавание на корабле, который доставит тебя неведомо куда, в ту страну, где ты тоже окажешься изгоем и меченым. А то и вовсе корабль

просто-напросто пойдет ко дну в этом внушающем ужас море, которого ты никогда не видел. Две звезды Давида — вот все, что свидетельствует о существовании некогда многочисленной общины, точно так же как окаменелый отпечаток диковинного листа, одного из бесконечного множества ему подобных, хранит память о лесе, сметенном природным катаклизмом тысячи лет назад. Наверно, эти люди никак не могли поверить в то, что их на самом деле приговорят к изгнанию, что им придется в считаные месяцы покинуть край, где они родились и где издавна жили их предки, покинуть улицы города, который они считали своим и в котором вскоре им предстоит столкнуться лицом к лицу с неприкрытой ненавистью. Кто же поверит, что ваш дом, дом, где сложился весь уклад вашей жизни, будет в два счета отнят и что сюда переедут незнакомые люди, которым будет ничего неведомо о тех, кто жил здесь раньше и свято верил в то, что дом принадлежит им. Входная дверь была с ржавыми гвоздями, железным молотком и скромными готическими лепными украшениями в углах притолоки. Вполне вероятно, что ключ, который подходил к огромной замочной скважине, высланные увезли с собой и передавали от отца к сыну, из поколения в поколение изгнанников, вместе с языком и звучными кастильскими именами, романсами и детскими песнями, которые евреи Салоников и Родоса потом захватят с собой в долгий путь по кругам освенцимского ада. Наверно, дом, из которого навсегда уехала семья Баруха Спинозы или Примо Леви, был похож на этот. Я бродил по мощеным улочкам Еврейского квартала Убеды, представляя себе, какая тишина воцарилась здесь в первые дни после изгнания — такая же, что и в 1941 году на улицах сефардского квартала в Салониках, после того как немцы вывезли его жителей. В нем больше никогда не раздадутся голоса девочек, прыгающих через веревочку и при этом напевающих романсы вроде тех, что мне довелось услышать еще в детстве, — романсы о женщинах, которые переодевались в мужское платье, чтобы сражаться с маврами, или о заколдованных королевах. Приговоренные к изгнанию покидали Алькасар, а с высоты церковных кафедр гремели проповеди францисканцев и доминиканцев, взывающих к неграмотной толпе, и колокола захлебывались победным звоном; все это происходило весной и летом 1492 года — вот еще одна дата, которую мы заучивали в школе, потому что это был, как нам объяснил учитель, момент наивысшей славы в истории Испании: отвоевана Гранада, и открыта Америка, и наша родина, где только-только завершилось объединение земель, стала империей. "С Елизаветой и Фердинандом империи солнце взошло, — пели мы, по-военному отбивая шаг, дабы придать

еще большую торжественность гимну, — и это священное знамя сквозь века пронесем". Изгнание евреев представлялось столь же важным деянием католических королей, как победа над маврами в Гранаде, а по мудрости не уступало решению поддержать Колумба; на страницах нашей школьной энциклопедии нечестивцы были изображены с крючковатыми носами и заостренными книзу ушами, им, нечестивцам, приписывалась такая же черная зависть, как и всем прочим заклятым врагам Испании, хотя единственное, что нам было известно о последних, так это их имена, вселяющие ужас, — имена масонов и коммунистов. Когда мальчишками мы дрались на улице и один плевал в другого, ему всегда кричали: "Еврей, ты плюнул в Господа". Среди фигур, которые расставлялись в церкви на Страстной неделе, палачи и фарисеи выделялись таким же устрашающим видом, что и евреи на картинках из школьной энциклопедии. В сцене Тайной вечери Иуда с крючковатым носом и остроконечной бородой, позеленевший от предательства и алчности и украдкой бросающий взгляды на кошелек с тридцатью сребрениками, внушал нам, детям, не меньший страх, чем какой-нибудь киношный Дракула.

Через много лет и несколько жизней спустя, я познакомился в римском отеле "Эксельсиор" с писателем Эмиле Романом, румыном и сефардом; он не только бегло говорил по-итальянски и по-французски, но изъяснялся еще и на непривычном и церемонном испанском — языке своего детства; возможно, это был тот самый язык, на котором говорили в 1492 году жители дома в районе Алькасара. "Правда, мы не называли себя сефардами, — сказал он мне, — мы были испанцами". В 1944 году в Бухаресте паспорт, спешно оформленный испанским посольством, спас ему жизнь. Благодаря все тому же паспорту, который послужил ему охранной грамотой при нацистах, несколько лет спустя он бежал от диктатуры коммунистов и уже не вернулся в Румынию даже после смерти Чаушеску. Теперь он писал на французском, жил в Париже и, будучи пенсионером, проводил вечера в обществе старых сефардов, объединившихся в братство под названием "Долгая жизнь". Он был очень высокий, прямой, степенный, с оливкового цвета кожей и огромными — соответственно его росту — руками. В баре отеля "Эксельсиор" какой-то человек в красном галстуке-бабочке и блестящем смокинге наигрывал на электрооргане популярные мелодии. Сидя напротив меня у огромного окна, выходящего на Виа Венето, Эмиле Роман маленькими глоточками отпивал из крохотной чашки кофе "эспрессо" и с жаром говорил о беззакониях, совершенных пять веков назад, незабытых и неисправленных, причинивших боль, которая не притупилась даже с течением времени и сменой поколений: об указе

об изгнании, не подлежавшем обжалованию, о двухмесячном сроке, отведенном изгоняемым для спешной продажи дома и имущества — всего лишь два месяца, для того чтобы покинуть страну, в которой жили их предки более тысячи лет, по словам Эмиле Романа, почти с основания новой диаспоры, об обезлюдевших синагогах, разоренных библиотеках, пустых лавках, заколоченных мастерских, о ста или двухстах тысячах человек, вынужденных уехать из страны, где проживало всего-то восемь миллионов. А те, кто не уехали, предпочли обратиться в христианство, из страха или корысти ради, полагая, что, получив крещение, они станут своими. Но это им тоже не помогло: хотя теперь их и не могли преследовать за веру, от которой они отреклись, отныне сама их кровь была им приговором, и не только им, но и их детям и внукам, так что те, кто остались, в результате стали такими же иностранцами, как те, кто уехали, и даже в большей степени, потому что их презирали не только те, кто должны были бы стать им братьями по новой вере, но и те, которые сохранили верность прежней, от которой они отказались. У самого отъявленного грешника была возможность покаяться, исполнив наложенную епитимью, он освобождался от вины, еретик мог отречься от своих заблуждений, первородный грех мог быть искуплен благодаря самопожертвованию Христа. Еврею же не было прощения, ибо его вина предшествовала его рождению и никоим образом не зависела от его поступков, напротив, он попадал под еще большее подозрение, если вел себя безупречно. Но тут Испания не была исключением; вопреки сложившемуся представлению, она не была более жестокой или фанатичной, чем другие страны Европы. Если что-то и отличает Испанию, так это не само изгнание евреев, а то, что оно произошло так поздно: из Англии и Франции их выслали в XIV веке и вряд ли с большими церемониями; когда же в 1492 году многие из тех, кто уехали из Испании, искали убежище в Португалии и получили его в обмен на золотую монету за каждого человека, через шесть месяцев были изгнаны и оттуда, а у тех, кто обратился в христианство, жизнь была ничуть не лучше, чем у обращенных в Испании, и они тоже получили презрительную кличку "marranos"[1]. При этом были случаи, когда "марраны", примирившись с католицизмом, через нескольких поколений эмигрировали в Голландию и, оказавшись там, вновь начали исповедовать иудаизм. Возьмем, к примеру, семью Баруха Спинозы — хотя у него самого был слишком рациональный и неза-

1. Marrano — 1 — свинья; 2 — крещеный еврей, тайно исповедующий иудаизм(*исп.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

висимый склад мышления, чтобы подчиниться какой бы то ни было догме, и он, принадлежавший к роду евреев, изгнанных из Испании, был официально исключен из еврейского сообщества.

"Быть евреем было непростительно, перестать быть им — невозможно, — говорил со сдержанным гневом и печалью Эмиле Роман, которого в действительности звали дон Самуэль Бехар-и-Майор. — Я не еврей по вере моих предков, потому что мои родители не исповедовали иудаизм, и в молодости он значил для меня ровно столько же, сколько для вас вера ваших дедушек в чудеса католических святых. Меня сделал евреем антисемитизм. В течение какого-то времени это было чем-то вроде тайной болезни, которая не исключает тебя из общества, потому что никак не проявляется внешне — ни пятен, ни струпьев, которые могли бы послужить основанием для того, чтобы объявить тебя отверженным, как это случалось с прокаженными в Средние века. Но однажды, в 1941 году, я был вынужден пришить спереди на пальто желтую звезду Давида, и, начиная с этого момента, болезнь уже невозможно было скрыть, и даже если я сам на мгновение забывал, что я еврей и только еврей, никто больше, то взгляды людей, с которыми я встречался на улице или на остановке трамвая (пока нам было разрешено ездить на трамвае), не переставали напоминать мне об этом, заставляли меня почувствовать мою болезнь и мою отверженность. Кое-кто из знакомых отворачивался, чтобы не здороваться или чтобы их не видели разговаривающими с евреем. Были и такие, кто отшатывался, как от грязного нищего или от человека с каким-нибудь ужасным физическим изъяном. Мои соотечественники успели превратиться в иноплеменников. Однако это я стал чужаком, и город, в котором я родился и все время жил, уже не был моим; в любой момент, пока я шел по улице, кто угодно мог оскорбить меня или столкнуть на проезжую часть, потому что у меня не было права ходить по тротуару, а если уж мне доводилось наткнуться на группу нацистов, я подвергался опасности быть избитым, или же мне приходилось, словно неуклюжему мальчишке, над которым издеваются ребята постарше или уличная шпана, позабыв о достоинстве, уносить ноги.

Вы читали Жана Амери? Вы должны это сделать. Он не менее значительный писатель, чем Примо Леви, только намного более пессимистичный. Предки Примо Леви в 1492 году эмигрировали в Италию. Оба прошли через Освенцим, хотя там они не встречались. Леви не разделял пессимизма Амери и не мог одобрить его самоубийство, но он тоже покончил с собой, по крайней мере таковы были выводы полиции. Аме-

ри, на самом деле, звали не Амери и не Жан. Он родился в Австрии, и его имя было Ганс Майер. До тридцатилетнего возраста он считал себя австрийцем, а своим языком и культурой — немецкий язык и культуру. Ему даже нравилось подчеркивать свою принадлежность к Австрии, и он часто наряжался в национальный костюм — короткие штаны и гетры. И вот в один прекрасный день в ноябре 1935 года, сидя в венском кафе, — так же как сейчас сидим мы с вами — он открыл газету и, прочитав в ней текст расовых законов, провозглашенных в Нюрнберге, обнаружил, что перестал быть тем, кем считал себя и всегда хотел быть и кем приучили считать себя его родители, — австрийцем. Неожиданно он оказался тем, кем никогда в жизни не думал оказаться, — евреем, и, более того, отныне он считался всего лишь евреем, все характеристики его личности сводились единственно к этой. Войдя в кафе человеком, у которого не было и тени сомнения в том, что у него есть родина и жизнь, он вышел оттуда уже апатридом, самое большее — будущей жертвой, и только. Его лицо осталось прежним, но сам он уже превратился в кого-то другого, и, начни он внимательно рассматривать себя в зеркале, ему не стоило бы труда уловить признаки изменений, хотя по внешнему виду никто не смог бы установить его происхождение, обнаружить следы клейма. Потом он расплатится за кофе с тем же самым официантом, что и каждое утро, и тот слегка поклонится, получая чаевые, но он знал, что отныне официант, скорее всего, будет смотреть на него с презрением, как на явившегося некстати нищего, если ему станет известно, что он еврей. Он сбежал на запад, в Бельгию, пока еще было время — в 1938 году. Но в те времена в Европе не проходило и дня, чтобы какая-нибудь граница не ощетинилась колючей проволокой, и, скрывшись в другой стране, человек просыпался однажды утром и слышал доносящиеся через громкоговорители команды своих палачей — а ему-то казалось, что они остались далеко позади, на его родине. В 1943 году в Брюсселе его арестовало гестапо. В течение нескольких недель его подвергали ужасным пыткам и вскоре бросили в Освенцим. После освобождения он отрекся от своего немецкого имени и от немецкого языка, который некогда считал своим, и решил, что его будут звать Жан, а не Ганс, и Амери, а не Майер, и что отныне ноги его не будет ни в Австрии, ни в Германии. Прочтите книгу, в которой он описал ад концлагеря. Прочитав ее, я больше не мог ничего читать и ничего писать. Он свидетельствует, что в тот момент, когда человека начинают пытать, его отношения с другими людьми расторгаются навеки, и, даже если ему удастся спастись и обрести свободу и он проживет еще много лет, пытка никогда

не прекратится: он не сможет никому смотреть в глаза, не сможет доверять, не перестанет задаваться вопросом при встрече с любым незнакомцем, а не был ли тот палачом, и насколько легко ему это далось, и не эта ли воспитанная старушка-соседка, которая здоровается, сталкиваясь с ним на лестнице, — вертится у него в голове, — не эта ли приветливая старушка донесла в гестапо на своего соседа-еврея, или отвернулась, когда этого самого соседа волокли вниз по лестнице, или до хрипоты выкрикивала "Хайль Гитлер" при виде марширующих немецких солдат".

Однажды, несколько лет назад, меня пригласили в Германию выступить с лекцией в очень красивом — словно из сказки — городе с мощеными улицами, домами с готическими крышами, парками, к тому же там было полным-полно людей, разъезжающих на велосипедах; это был Геттинген, в котором когда-то жили братья Гримм. Я помню шорох велосипедных шин, скользящих в сумерках по мокрой брусчатке — что-то вроде шуршания шелковой ткани, — и треньканье звонков. День был солнечный, и мне пришлось побывать в самых разных местах в сопровождении крайне любезных и весьма приветливых людей, которые бросались немедленно исполнять малейшее пожелание, какое бы я ни высказал, их услужливость граничила с навязчивостью. Если я говорил, что хочу побывать в музее, они тотчас же принимались звонить по телефону, и вскоре в моем распоряжении оказывались рекламные проспекты, расписание работы музея и информация о том, как туда добраться. Утром они отвезли меня на лекцию в Университет, а потом, предлагая мне на выбор рестораны, где можно пообедать, не переставали беспокоиться о том, какую кухню я предпочту: итальянскую, китайскую или вегетарианскую. Когда же я сказал практически наобум, что мне хотелось бы что-нибудь итальянское, они из кожи вон лезли, стараясь выбрать ресторан получше. После обеда, когда меня одолевала сонливость, вызванная едой, и усталость, накопленная за время путешествия, меня доставили в библиотеку на встречу с читателями. Я читал главу из своей книги, затем переводчик читал ее по-немецки. Едва приступив к чтению, я приуныл, представив себе, сколько страниц мне предстоит озвучить, и мое же собственное сочинение вызвало у меня тоску и раздражение. Я отрывал взгляд от книги, чтобы сглотнуть слюну и перевести дыхание, и видел перед собой серьезные и внимательные лица людей, которые покорно слушали меня, не понимая ни слова, — а ведь за эту пытку они вдобавок еще и заплатили. Я стыдился того, что написал, и чувствовал вину за то, что эти люди, должно быть, испытывают скуку, и, чтобы побыстрее выйти из неловкой ситуации, читал скоро-

говоркой и пропускал целые абзацы. Когда переводчик читал по-немецки, у меня закрывались глаза, но я старался сидеть прямо и внимательно слушать, будто что-то понимаю, и искал в уже ставших менее равнодушными лицах слушателей реакцию на то, что я когда-то написал на языке, нисколько не похожем на тот, которому они внимали. Я отмечал чью-то улыбку, чье-то выражение одобрения написанного мною, а я не знал, чего именно, и, когда все закончилось, почувствовал такое облегчение, что бурные аплодисменты меня уже не взволновали, хотя я улыбнулся и слегка поклонился с подчеркнутой — как принято у тех, кого чествуют, — скромностью. Какое это мучение — выслушивать панегирики, отвечать на вопросы людей, проявляющих столько интереса, что мне чуть ли не стало стыдно: ведь их внимание к словам, которые я был вынужден им говорить, меня почти не трогало. Это было все равно что идти по песку, увязая на каждом шагу, словно барахтаясь в нем, и единственное, чего мне хотелось, это выйти оттуда как можно скорее и избавиться от необходимости надписывать книги, а также отделаться от навязчивой услужливости организаторов, которые уже обдумывали дальнейшую программу и собирались приступить к ее осуществлению: поглядывали на часы, чтобы определить, сколько времени остается до закрытия музея, куда я хотел пойти, обсуждали, как быстрее и удобнее мне туда добраться, спрашивали меня, с собой ли у меня рекламные проспекты, — при этом кто-то из них смотрел по карте, нет ли поблизости от музея итальянского ресторана, куда они могли бы пригласить меня поужинать, так как уже считалось установленным, что я отдаю предпочтение итальянской кухне. Они пришли в замешательство, а я почувствовал себя ужасным невежей и преступником, когда объявил им, что предпочел бы отправиться в отель и поужинать прямо там. Правда, один из них все-таки вызвался туда позвонить с тем, чтобы ему прочитали меню, и я мог бы пока обдумать заказ, а также чтобы ему сообщили, когда ресторан открывается и когда прекращает работу, а в последнем случае, как заказать ужин в номер. Я ответил, почти умоляя их не беспокоиться, что мне не хочется есть и вполне хватило бы бутылки пива и пакетика жареного картофеля из мини-бара в номере, но тут же раскаялся, что заикнулся об этом, потому что кто-то тотчас же высказал сомнение, есть ли мини-бар в моем номере... Когда же, наконец, они предоставили меня самому себе, мне в это уже не верилось. А между тем они распрощались со мной на ступеньках гостиницы с такой сердечностью, какой я совершенно не заслуживал: они были со мной настолько обходительны — а я проклинал их про себя, чуть ли не до боли желая, чтобы поскорей насту-

пил тот момент, когда я смогу растянуться на кровати и ничего не делать, и мне не надо будет ни с кем разговаривать и тыкаться носом в меню, написанное исключительно по-немецки; я скину ботинки, взобью подушку и буду лежать, уставившись в потолок, и наслаждаться одиночеством все те несколько часов, что у меня есть в запасе, и смогу побродить в одиночестве, где мне заблагорассудится, засунув руки в карманы, без всякой цели, и рядом со мной не будет никого, кто бы подавлял меня своей безжалостной любезностью.

Я ненадолго задремал в такой по-немецки уютной комнате, — она была крохотная, с балками на потолке, натертыми полами, совсем как на картинке в книжке сказок, — укрывшись легким и теплым пледом, каких нет больше нигде в мире, положив голову на большую и мягкую подушку, благоухавшую лавандой; однако мне не хотелось полностью отдаваться во власть сна: было еще рано, хотя и стемнело, и если бы я в тот момент заснул, то проснулся бы, уже окончательно, в два часа ночи и до утра промаялся бы без сна в гостиничном номере. Я спустился в вестибюль, предварительно убедившись, что никто из моих гостеприимных хозяев не дежурит поблизости, и, выйдя на улицу, также огляделся по сторонам — это напомнило мне шпионов из романов Джона ле Карре, которыми я зачитывался в юности: неприметельных мужчин в очках и пальто, которые идут по маленьким немецким городкам, время от времени оборачиваясь и заглядывая в зеркала стоящих у обочины машин, чтобы убедиться, что за ними по пятам не следуют агенты Штази. Воздух был туманный и влажный, тянуло запахом реки и мокрой листвы. Пока я шел, с меня постепенно спала усталость и сонливость, и я почувствовал прилив воодушевления, который обычно меня охватывает, стоит только выйти из отеля на улицу какого-нибудь иностранного города, и при этом нет никакого неотложного дела. Я весь обращаюсь в зрение, я — никто, и никто меня не знает; если же я здесь с тобой, то мы бродим в обнимку, с упоительной беззаботностью, которая возвращает нас в те дни, когда мы впервые оказались вместе: город, куда мы приехали, пока еще так нов и вселяет столько надежд — точно таким был и наш город, когда он был пронизан тем же светом первозданности, что и наша только-только начавшаяся жизнь влюбленных.

Отчетливо я помню немногое: мощеную улицу, островерхие крыши домов, крыши из шифера, деревянные балки, перечеркивающие фасады крест-накрест, небольшие окошки с притворенными деревянными ставнями, за которыми были видны освещенные комнаты, облицованные деревом и уставленные книгами. Помню вкрадчивый шепот велосипедов,

шорох рассекаемого спицами воздуха в тишине улиц, свободных от машин, и шуршание шин, трущихся о мокрую брусчатку. Сначала я слышал у себя за спиной пронзительную трель звонка, а затем меня обгонял невозмутимый велосипедист, необязательно молодой, мужчина или женщина. Иногда это оказывалась дама с седыми волосами, в очках и старомодной шляпке или клерк в костюме цвета морской волны под накидкой от дождя. Я видел готические башни с позолоченными циферблатами часов и трамваи, которые пересекали улицу в таком же почти сверхъестественном безмолвии, как и велосипеды. На одном углу мое внимание привлекла ярко освещенная витрина кондитерской: оттуда вырывался наружу многоголосый оживленный шум, — впрочем, тоже приглушенный, словно и его обволакивал покой, царивший во всем городе, — слышался гул разговоров и звяканье чайных ложек и чашек, а в холодном воздухе особенно остро ощущался горячий аромат шоколада и кофе. Поскольку за время столь долгой прогулки я проголодался и порядком закоченел, то превозмог робость, которая обычно не позволяет мне войти куда-то одному, если там много народа; такое испанское малодушие у меня обостряется, стоит только оказаться за границей. Судя по всему, это была кондитерская начала века, сохранившаяся в первозданном виде: с гипсовыми украшениями и позолотой в стиле австро-венгерского барокко, с зеркалами в рамах из красного дерева и люстрами бального зала, с мраморными столиками и тонкими железными колоннами, окрашенными в белый цвет, с полыханием пурпура на капителях. Стояли подставки с простынями немецких газет, заполненных убористым шрифтом, — они тоже напоминали газеты начала века, по крайней мере, периода войны 1914 года. Наряд официанток представлял собой белый лиф с глубоким вырезом вместе с юбкой по старинной моде, косы были уложены вокруг головы короной или кренделями на висках. Светловолосые, круглолицые и розовощекие, они, слегка запыхавшись, проворно передвигались между столиками, за которыми было полно посетителей, на одной руке высоко проносили подносы, уставленные фарфоровыми заварочными чайничками и кувшинчиками с кофе или шоколадом и кусками тортов — огромных, роскошных тортов, сиявших в витринах в таком разнообразии, которое мне не приходилось видеть ни до ни после.

Я сидел в углу за крохотным столиком и, в ожидании чая и куска сырного торта с ежевикой — мне удалось сделать заказ, объяснившись жестами с официанткой, — коротал время, разглядывая лица окружающих. Я согрелся и наслаждался покоем, будучи избавленным от необходимости вникать в язык, который звучал со всех сторон: когда им абсолютно не владеешь, мо-

жешь позволить себе такую роскошь — не напрягаться и не вслушиваться в разговоры. Вокруг были преимущественно люди старшего возраста, в большинстве своем женщины, а не мужчины, преобладали пожилые супружеские пары степенного вида или группы дам в шляпках и пальто, да и общий тон веселья был благопристойный: головы покачивались в знак одобрения, руки поднимали чашки чаю, оттопырив мизинец, смех звучал сдержанно, а оживленные разговоры казались мне столь же непроницаемыми, как и взгляды прозрачных глаз, которые иногда останавливались на мне с едва заметным прищуром — то ли с любопытством, то ли с неприязнью. Я был там, вне всякого сомнения, единственным иностранцем и в зеркале напротив вдруг увидел самого себя как бы со стороны, каким, должно быть, меня видела официантка, когда я заказывал чай и торт, или мужчина с совершенно голубыми глазами и совершенно белыми волосами, который полуобернулся в мою сторону и пристально меня рассматривал, продолжая что-то рассказывать сидящей рядом даме в белых перчатках, с золотыми серьгами в ушах и волосами ненатурального жгуче-черного цвета; она была ярко накрашена, с румянами на скулах и бесчисленными длинными морщинами над верхней губой и вокруг ярко-красного рта. Я увидел свои волосы, такие черные, и свои темные глаза, белую рубашку без галстука, тень щетины на подбородке, несомненно придающую мне вид болгарина или турка, пиджак от делового костюма, в результате многодневного путешествия и небрежного отношения изрядно помятый и смахивающий на пиджак эмигранта — точно так же выглядели пиджаки на испанских эмигрантах в Германии на фотографиях шестидесятых годов. Я чувствовал крайнюю усталость: обязательные профессиональные поездки меня изматывают, незнакомые люди утомляют, к тому же в отелях мучает бессонница, — и лица и предметы вокруг словно бы окутала некая дымка, притом что в кондитерской никто не курил, разве что дымились чашки да у входящих с холода людей шел изо рта пар. Как странно, что я с самого начала не обратил внимания на то, что все вокруг, за исключением официанток, были страшно старыми: старики и старухи были так же тщательно законсервированы, как обстановка и гипсовые украшения кондитерской, и настолько же дряхлы, — на все эти вставные челюсти, трости, шиньоны, белокурые или напудренные парики, очки с толстыми стеклами, ортопедические башмаки и чулки, шляпки в стиле мисс Марпл, скрюченные трясущиеся руки, обтянутые кожей и держащие куски торта и чашки из тончайшего фарфора. Официантки-то, само собой, были молодые, а некоторые совсем юные и флегматичные, будто розовощекие, пухлые подростки, но в каком-то смысле они выглядели такими же старомодными, как публика и

само заведение, — в своих юбках с оборками, с косами, уложенными короной или кренделями, в лифах и с кружевными отделками на груди, с детской округлостью лиц и тяжеловесностью зрелых женщин; это была плоть, лишенная чувственности. Мой взгляд упал на мужчину с белыми и тонкими, как хлопковое полотно, волосами и совершенно прозрачными глазами, — того самого, который незадолго до этого, как мне показалось, рассматривал меня с неодобрением; мне пришло в голову, что ему семьдесят с чем-то, возможно, восемьдесят лет, хотя он был худой и жилистый, с темным, словно обветренным, лицом и такими же руками; вид у него был надменный, как у отставного военного. По моим подсчетам выходило, что в 1940 году ему было немногим более тридцати, и вдруг, в каком-то внезапном и самопроизвольном озарении, я представил его в военной форме; на эти прозрачные глаза падала тень от козырька фуражки. Чем мог заниматься этот человек в Германии в тридцатые годы и где он был позже, во время войны? Должно быть, я безотчетно смотрел на него с неприкрытым, слишком пристальным вниманием, потому что уловил на его лице гримасу раздражения, как только наши взгляды пересеклись. Однако когда, отведя глаза, я начал рассматривать других посетителей в свете люстр, отражавшемся в позолоченных рамах и умноженном зеркалами, то в каждом лице — все равно, мужском ли, женском ли — мне захотелось увидеть черты и угадать его выражение пятидесятилетней или шестидесятилетней давности, и в конце концов в них стала происходить метаморфоза, вызвавшая сначала тревогу, а затем страх и приступ тяжкого подозрения: в этих увядших и бесстрастных лицах проступили лица молодые и жестокие, эти рты со вставными челюстями, маленькими глоточками прихлебывающие шоколад или чай, открылись в крике безудержного фанатизма, руки, покрытые коричневыми пятнами, с суставами, деформированными артритом, которые с таким аристократизмом держали чашки, вздымались, словно склоненные штыки, в едином приветствии; сколько же их — из тех, кто меня окружал, — когда-то кричали "Хайль Гитлер!", что же кроется там, в сознании, в памяти каждого из них, будь то мужчина или женщина, как бы они смотрели на меня при встрече, если бы я носил желтую звезду, пришитую спереди на пальто, или оказался бы в той же самой кондитерской, когда сюда ворвались люди с надвинутыми на глаза фуражками, в черных кожаных плащах и приблизились бы ко мне, чтобы проверить документы, — к незнакомому субъекту, по виду иностранцу и южанину, что само по себе уже вызывает подозрения и косые взгляды, который обхватил чашку чаю ладонями, чтобы согреть их, и не ведает о том, что кто-то, какой-нибудь сознательный гражданин уже позвонил в гестапо с целью предупредить о моем появлении, как

это в то время делали многие, даже когда их никто к этому не принуждал, просто из чувства гражданского или патриотического долга: как знать, возможно, кто-то из стариков, в данный момент находящихся в кондитерской, позвонил или написал донос, вроде тех, что до сих пор хранятся в архивах в качестве неуничтожимых свидетельств низости, носившей практически всеобщий характер, и подлости — что-то вроде личного вклада, — на которых зиждилось здание кровавой тирании; даже если среди этих людей кое-кто сам подвергся преследованию или стал жертвой доноса, вероятность этого весьма мала. Но вот мне уже кажется, что все больше взглядов останавливается на мне, и мое лицо, отраженное в зеркале, которое расширяет пространство и увеличивает количество присутствующих, тоже изменилось, в моем облике проступило что-то непривычное, я стал более смуглым, все больше отличаюсь от остальных и все более ощущаю неловкость из-за этого отличия. Мне не хватает книги или газеты — хотя бы чего-нибудь, чтобы отвлечься и занять руки, но, ощупав карманы пальто, не нахожу ничего, кроме паспорта и бумажника, у меня лопается терпение, и, собравшись с духом, я встаю, чтобы уйти, и тут же снова сажусь, как мне кажется, даже покраснев, потому что появляется официантка с подносом и сердечной улыбкой картонной куклы и говорит мне что-то непонятное. Я спешу расплатиться, прежде чем она уйдет, делаю глоток чаю и откусываю приторно-сладкое пирожное. От жары у меня кружится голова, я выхожу на улицу — к счастью, там пустынно, свежо и прохладно. Захожу в какой-то парк, в полной уверенности, что это тот самый, через который я уже проходил по дороге из отеля, однако, выйдя за высокую ограду, попадаю на освещенную современную улицу, которую, насколько помнится, мне не доводилось видеть раньше; словно очнувшись от сна, я с внезапной ясностью осознаю, что заблудился.

Одна одинокая прогулка сливается с другой, словно сон, плавно переходящий в другой, и вечер в Германии растворяется в дождливом вечере десять лет спустя по другую сторону океана, хотя между ними есть кое-что общее: это пронзительный запах мокрой листвы и земли, переполненной влагой, — правда, герой не уверен, что он остался все тем же самым. Как-то раз, в одно из мгновений этого десятилетнего периода, он открыл для себя то, что ни для кого не является тайной, но, тем не менее, нет человека, который готов с этим согласиться. Теперь он знает — и это неизменно присутствует в его сознании, — что смертен, ибо ему стало известно об этом, когда он находился на грани смерти; ведает он и о том, что отпущенное ему время — это подарок то ли судьбы, то ли медицины, и эта прогулка на склоне дня по тенистым и тихим улицам

Нью-Йорка могла и не состояться, и что, если бы он не пересекал сейчас в западном направлении, испытывая легкое головокружение, Пятую авеню в районе Одиннадцатой улицы, с плащом и зонтом в руках, абсолютно ничего бы не произошло, никто бы не заметил его отсутствия, вокруг не произошло бы ни малейшего изменения — ни в этих домах из красного кирпича с высокими каменными лестницами, которые ему так нравятся, ни в аллеях гингко с листьями в форме веера — еще совсем молодыми, нежно-зелеными и такими же блестящими, как листья глициний, обвивающих фасад до самого карниза и порою вплетающихся в металлическую геометрию пожарных лестниц. Он также знает, что вполне могло так случиться, что ему никогда не удалось бы вернуться в этот город, и, так как это могло произойти очень легко и осталось всего день-два до отъезда, он боится, что этот раз — последний; сознание хрупкости жизни — ибо нить жизни любого человека настолько тонка и ее так легко прервать — придает ценности его прогулке, которую он проделывал не раз, но теперь не исключено что последний. Помимо названий городов и имен женщин, которые с детства влияли на ход его жизни и на его воображение, теперь появилось еще одно слово — оно, словно скорпион, вползло в этот ряд слов, определяющих его судьбу. Точно так же как Франц Кафка никогда не упоминает в своих письмах слово "туберкулез", он никогда, даже мысленно, не произносит слово "лейкемия", опасаясь, что стоит его произнести — скорпион тотчас же вонзит свое жало.

Он шагает на запад, куда ведут его ноги, в поисках тихих мощеных улочек, притаившихся у самого Гудзона, на краю обширной пустыни заброшенного порта, к пристаням которого когда-то пришвартовывались суда, приплывавшие из Европы. Сохранились только гигантские сваи, догнивающие в серой воде, а из трещин платформ, к которым корабли приваливались боком, прорастает тростник и бурьян — точно так же, как среди обломков колонн храма, лежащего в руинах. На некоторые пристани вход запрещен, другие превратились в детские площадки и спортивные сооружения. Когда-то по этим деревянным сходням ступали толпы беженцев из Европы, которые со страхом и изумлением взирали отсюда на город. Вдоль реки идет дорожка, предназначенная для тех, кто бегает, катается на роликовых коньках или степенно выводит на прогулку свою собачку. По другую сторону реки, достигающей почти океанской шири, виднеется берег Нью-Джерси — узкая полоса деревьев, прерываемая то уродливыми промышленными ангарами, то башней какого-нибудь жилого дома, то огромным кирпичным сооружением, которое издали кажется зубчатыми воротами в стене вавилонского или ассирийского города, — как раз напро-

тив точно такого же на этом берегу реки. Эти сооружения казались мне весьма таинственными, поскольку не имели окон, и я не мог представить себе их назначения. Они были чем-то вроде башен Ниневии или Самарканда, правда, воздвигнутых не где-нибудь посреди пустыни, а на берегу Гудзона; позже я узнал, что в этих зданиях располагаются огромные вентиляторы туннеля имени Линкольна, который проходит под рекой; когда едешь на такси по этому мрачному и бесконечному туннелю, охватывает тягостное чувство, что тебе никогда не выбраться наружу, и каждую секунду ощущаешь нехватку воздуха.

Вдали в южном направлении вздымается гряда самых современных небоскребов нижней части Манхэттена, тех, что выросли вокруг башен-близнецов; в них только тогда проглядывает красота, когда они окутаны туманом, или же красноватые лучи заходящего солнца, отражаясь в гранях, превращают их в некое подобие медной призмы. В этот туманный и дождливый вечер воды Гудзона такого же серого цвета, что и небо, а верхняя часть небоскребов теряется среди движущихся темных облаков, в которых, словно угли под легким слоем золы, вспыхивают красные огни громоотводов. Можно различить почти растворившиеся в тумане статую Свободы и стройные кирпичные башни Эллис-айленда.

Я не успел вернуться в город, как уже прощаюсь с ним. Хочется сохранить в памяти каждое место, каждую минуту последнего вечера, красный кирпичный цвет уютных улиц, аромат лиловых цветов глицинии, небольших заросших садов, которые иногда возникают за деревянной оградой, в пространстве между домами; их влажная сень и густота растительности вызывают в моей памяти сад церкви Святой Марии — в те особенно дождливые вечера, когда вода низвергалась из фигурных желобов между арками галереи, и этот шум эхом отдавался под ее сводами. Я продвинулся на запад, оставив позади Пятую авеню, и, немного не дойдя до Шестой, почти на углу Одиннадцатой улицы обнаружил сефардское кладбище, которое однажды мне показал мой друг Билл Шерзер; до того момента я как-то не обращал на него внимания, хотя часто бродил по этим местам, направляясь в нижний район авеню, которые здесь теряют свою чопорность, а на пересечении Челси и Гринич-Виллидж и вовсе обретают богемный вид — из-за лотков со старыми книгами и пластинками, магазинчиков экстравагантной одежды, круглых столиков кафе, расставленных на тротуаре, витрин чудесных итальянских маслобоен. Мы не раз заходили в одну из них, в "Балдуччи", но никогда не обращали внимания на этот узкий и сумрачный сад за решетчатой оградой; табличка, на которую мы, вероятно, тоже не обратили бы внимания, если бы Билл нам ее не показал, гласила, что в начале XIX века здесь находи-

лось испано-португальское еврейское кладбище. Дед и бабка Билла приехали на Эллис-айленд как раз в то время, сбежав из России от голода и погромов.

Среди деревьев, зарослей папоротника, плюща и бурьяна, виднеется несколько каменных плит, потемневших от влаги и непогоды и настолько стершихся, что едва можно различить надписи, которые на них когда-то были выбиты, — еврейские или латинские буквы, какое-нибудь испанское имя, звезду Давида. Однако ограда закрыта, и нет возможности зайти на крохотное кладбище; впрочем, даже если бы можно было дотронуться до каменных плит, вряд ли я бы ощутил что-либо, кроме неровности и шероховатости камня, углы которого сгладились со временем, стерлись до такой степени, что след человеческого труда почти исчез, точно так же как обрушившиеся колонны и фрагменты капителей на развалинах в Риме постепенно возвращаются в первоначальное состояние грубого камня. Да и кому под силу восстановить имена, которые были выбиты на этих плитах двести лет назад, — имена людей, которые существовали с такой же полнотой, что и я, у которых были свои воспоминания и желания; возможно, эти люди могли на протяжении череды изгнаний возвести линию своего рода к городу, вроде моего, к дому с двумя звездами Давида по обе стороны дверного проема где-то в районе узеньких улочек, обезлюдевших весной-летом 1492 года. Стоя перед оградой небольшого кладбища, зажатого между высокими стенами домов, я испытываю печаль, словно в дождливый и туманный день в Нью-Йорке вновь повстречался с тенями своих соотечественников, встретился — и уже прощаюсь, потому что завтра уезжаю и не знаю, вернусь ли, доведется ли мне как-нибудь еще остановиться на этом самом месте, возле могильных плит со стершимися именами, навеки выпавшими, как и многие другие, из поминального списка испанской диаспоры, исчезнувшими с карты испанских захоронений в стольких некрополях по всему свету. Надгробия, безымянные могилы, нескончаемые списки умерших. В окрестностях Нью-Йорка есть кладбище, расположенное среди зеленых и пологих холмов и испанских деревьев, которое называется Врата Неба; с его озер в осенние дни взлетают огромные стаи перелетных птиц. Среди тысяч надгробных плит, посередине ряда могил с ирландскими фамилиями, есть одна, на которой проставлено испанское имя; она настолько неприметна и не отличается от любой другой, что на нее очень трудно обратить внимание.

Федерико Гарсиа Родригес
1859–1945

Разве мог предполагать этот человек, что его могила будет находиться не на кладбище в Гранаде, а в другом конце света,

среди лесов на берегу реки Гудзон, или что он переживет своего сына, у которого и вовсе не будет могилы — хотя бы камня, которым было бы обозначено точное место в овраге, где его расстреляли. Скромные надгробия и братские могилы отмечают путь испанской диаспоры; мне хотелось бы побывать на французском кладбище, на котором в 1940 году, в тот самый момент, когда обрушилась Европа, был похоронен Мануэль Асанья, прочитать имя Антонио Мачадо на надгробной плите в Кольюре. Для тех, для кого не нашлось ни плиты, ни надписи, осталась строка в алфавитном перечне имен: на странице Интернета я обнаружил список — белые буквы на черном фоне — сефардов с острова Родос, отправленных немцами в Освенцим. Наверно, следовало бы прочесть эти имена — одно за другим — вслух, как скорбную и безысходную молитву, чтобы осознать, что ни одно из этих имен незнакомых тебе людей нельзя свести всего лишь к цифре некоей жуткой статистики. Жизнь любого из них была не похожа ни на какую другую, как неповторимы были их лица и голоса, и ужас смерти каждый испытал по-своему, пусть и среди стольких миллионов подобных смертей. Как после этого отважишься сочинять, отдаваясь пустой игре воображения, если столько жизней заслуживало, чтобы о них рассказать, каждая из них — целая повесть, переплетение нитей, которые тянут за собой другие повести и другие жизни.

Однако сейчас воспоминания переносят меня в утро предпоследнего дня в Нью-Йорке, и ты, и я несколько подавлены неотвратимостью отъезда, — в это ничейное время накануне возвращения домой, когда мы уже не полностью принадлежим месту, которое еще не успели покинуть, и все вещи, вся обстановка, даже сам уклад жизни, которые, казалось, на какое-то время нас приняли, уже словно бы нас отвергают, напоминая, что мы чужестранцы, и здесь всего лишь проездом, и что не останется ни следа нашего присутствия в комнате, которая, хотя мы занимали ее так недолго, с каждым днем все больше походила на наше жилище: точь-в-точь как в нашем доме в Мадриде одежда в шкафу, стоит его открыть, источает аромат твоих духов, наши книги на тумбочке, твои кремы и мой помазок и пена для бритья на полочке в ванной представляют часть нас самих, которую мы захватили с собой в дорогу и должны будем увезти обратно, словно кочевники свой скарб, стереть, прежде чем уехать, один за другим все следы нашего присутствия — вплоть до запаха наших тел на простынях, которые мы прямо с утра в день отъезда отнесем в прачечную.

На любое самое привычное действие уже легла легкая тень прощания. До этого я трясся над каждым оставшимся до отъезда днем, а в то утро, о котором идет речь, лежу, уже совершенно очнувшись от сна, в чужой кровати, которая в те-

чение нескольких недель была нашей, еще не стряхнув оцепенения, не шелохнувшись, обнимая тебя, в то время как ты спишь, и на лице твоем умиротворение, будто ты достигла блаженства в самой глубине сна, и думаю о том, что впереди у нас целый день и хочется сохранить его нетронутым и наслаждаться им по капле, как теми минутами, которые оставляешь в запасе, чтобы не вскакивать с постели, как только прозвенит будильник. Я готовлю завтрак и включаю радио, но ощущение будничности, которое оставляет во мне голос диктора, — тот же самый, что и каждое утро, — уже обманчиво, потому что я слушаю его в предпоследний раз; точно так же мне уже ни к чему достигнутая мною отлаженность движений — когда с ходу отыскиваешь банку кофе в нужном шкафчике и пакет молока в холодильнике — и машинальность, с которой открываешь ящик с чайными ложками, или поворачиваешь кран газовой плиты, или вставляешь фильтр в кофеварку. Осталось всего ничего, и уже завтра вечером мы станем призраками в этом месте, предыдущими жильцами, незнакомыми и незримыми, — для очередной квартиросъемщицы, которую мы не увидим, но которой оставим у консьержки ключ в конверте; тень этой новой захватчицы уже посягает на наше личное пространство, включающее в себя не только кровать, где мы спали и предавались любви, и стол, на который я каждое утро, до того как ты встанешь, ставил чашки с кофе перед завтраком, но и рассеянный свет дождливого утра, просачивающийся сквозь стекла окон, выходящих на террасу, и пейзаж, который открывался перед нами всякий раз, когда мы выходили на нее и облокачивались на карниз на высоте четырнадцатого этажа, будто на перила фантастического океанского лайнера, — это сходство усиливалось ночью, в ночи ураганного ветра и молний того месяца мая, когда грозы бушевали с яростью муссона, молнии сновали между огромными темными тучами, скрывавшими небоскребы — те гигантскими призраками высвечивались вдали среди дождя и вновь исчезали среди клубов тумана, окрашенного в цвета электрических огней, которые освещали последние этажи Эмпайр-стейт-билдинг: иногда в фиолетовый, красный и синий, ослепительно желтый. Как не хотелось возвращаться домой, откуда почти ежедневно до нас доходили известия о мракобесии и кровопролитии, как хотелось подольше остаться вдали от всего этого, в изгнании.

Еще до того, как уехать по-настоящему, мы потихоньку оставляем это место, хотя у нас в запасе целый день и можно притвориться перед собой и друг перед другом, что наше присутствие в этом доме и в этом городе взаправдашнее и непреложное — такая же реальность, как и присутствие привратника,

который приветливо здоровается с нами с кубинским акцентом, или бенгальца из лавки на углу, у которого я ежедневно покупаю газету и телефонные карточки. Я прожил часть своей жизни, или целую жизнь, а то и несколько своих жизней, мечтая покинуть место, где в тот момент находился, а вот теперь, когда время летит так быстро, больше всего мне хочется остаться, надолго осесть в городах, которые пришлись мне по душе, обрести спокойную уверенность старожила, похожую на то ощущение, которое у меня возникает, когда я вспоминаю все годы, проведенные с тобою вместе. Никогда, разве только в детстве, я не порывался ничего коллекционировать, однако мне нравится хранить между страницами тетрадей или книг обыденные и бесценные памятки определенного момента: спичечные коробки с названием ресторана, театральные и автобусные билеты — любое самое малое документальное свидетельство, в котором зафиксирована дата и время, наше пребывание в каком-то месте, короткий отрезок нашего маршрута. Я не привязываюсь к вещам, даже к книгам или пластинкам, но мне дорого всякое место, где я изведал чудо проявления лучшего во мне самом, полноту своих желаний и близость схождения с кем-либо; если мне и хотелось бы что-то сохранить, подобно скупому и одержимому коллекционеру, так это мгновения, а может, и целые часы, минуты, которые я провел, слушая любимую музыку или рассматривая картины в залах музея, удовольствие от прогулки с тобой по берегу Гудзона на закате, когда окна небоскребов в лучах солнца отливают золотом и медью — этот свет останется потом на фотографии, — и это предвкушение приключения и неуверенность, которая охватывает нас в предпоследнее утро в Нью-Йорке, по мере того как за окном автобуса проплывают перед нашими глазами последние особняки на окраине Ист-Сайда и первые пустыри и трущобы Гарлема.

Есть такая особенность у последних дней любого путешествия — быть облачными и как бы разряженными, словно им передается отчужденность того, кто уезжает, и они подчеркивают ее пасмурностью. По мере того как мы продвигались к северу, в автобусе оставалось все меньше пассажиров, и постепенно, почти неуловимо, исчезали белые лица саксонского типа; вместо бледных старушек болезненного вида появлялось все больше совсем юных мам с младенцами или очень маленькими детьми, чернокожих или латиноамериканок, а также рыхлых крашеных блондинок с длинными ногтями и невоздержанностью речи жительниц Карибов, чернокожих бабушек, которые восседали с величественностью эфиопских матрон и с превеликим трудом поднимались с места на своей остановке, при каждом шаге раскачивая над огромными кроссовками свои бесформенные и ис-

кривленные тела, словно пораженные какой-то страшной болезнью костей. Пассажиры автобуса переставали быть белыми, и одновременно менялся и город за окном: он становился все более просторным и пустым, обшарпанным, более бедным, с менее оживленным движением транспорта, все реже встречающимися витринами, практически безлюдными тротуарами — и в конце концов разрывался, будучи не в силах заполнить огромные необитаемые пространства — все эти растянувшиеся до горизонта участки, огороженные колючей проволокой, с остовами сгоревших или разрушенных зданий в глубине, участки, где из ряда обрушившихся домов осталась целой какая-нибудь одна стена с проемами окон, заколоченных досками крест-накрест; было что-то зловещее в этом вычеркивании. Время от времени мы проезжали участок улицы, на котором, в силу непонятных причин, сохранялся островок жизни: тротуар и ряд домов каким-то чудом обошло запустение, магазинчик на углу подавал признаки скромного процветания, на ступеньках то там, то здесь кто-нибудь сидел, юные матери вели за руку маленьких детей, кое-где на окнах виднелись горшки с геранью. Уже много остановок назад из автобуса вышли последние туристы — те, которые направлялись в музеи верхней части города, в Метрополитен или музей Гугенхейма, слева от нас уже не было видно аллей Центрального парка, над которыми вдали возвышались башни жилых домов Вест-Сайд-авеню, увенчанные бельведерами, напоминающими то ли зиккураты или древние азиатские храмы, то ли купола, то ли маяки в декорациях экспрессионистского кино, с гребнями и фигурными водосточными желобами.

Пересекая эти безлюдные места, уже почти пустой автобус ехал гораздо быстрее, и водитель время от времени то оборачивался, чтобы взглянуть на нас, то разглядывал столь странных пассажиров в зеркало заднего вида. Мы проехали мимо сквера во французском стиле с бронзовой статуей Дюка Эллингтона в центре. Пьедестал изображал край сцены, а Дюк Эллингтон в смокинге стоял, опираясь на рояль, также отлитый из бронзы. (Не знаю, видел ли я на самом деле или кто-то мне рассказывал, что где-то в Нью-Йорке есть статуя Дюка Эллингтона верхом на коне.) Мы сели в автобус около часа назад на остановке Юнион-сквер. Но заехали так далеко, и наше продвижение было таким медленным, что казалось, будто прошла уже целая вечность, к тому же ничто не указывало на близость нашей цели — Сто пятьдесят пятой улицы. Чужестранцы в этом городе, теперь мы были ими вдвойне и вдобавок в этих краях, где никогда раньше не бывали и даже не были уверены, найдем ли дорогу.

Остановка Сто пятьдесят пятой улицы находилась на углу широкого проспекта, дома были невысокие и оторванные друг от друга, и все здесь вызывало ощущение заброшенности и края

света, которое усиливалось пасмурностью дня и низкими оградами пустырей. Вокруг не было никого, к кому можно было обратиться с вопросом. Бедные дома, церкви, закрытые лавки, американский флаг, развевающийся над кирпичным зданием, обветшалым, но хранящим официальный вид. Неожиданно нами овладели отчаяние и страх, что мы заблудились и вот-вот окажемся в опасном месте, — два иностранных туриста, которых видно за версту, которые не знают, где находятся, и с ужасом замечают, что среди немногочисленных машин не попадается ни одного ярко-желтого пятна такси.

Но вот мы уже шагаем вдоль ограды огромного кладбища, которое сначала показалось нам парком или лесом. На западе угадывается необъятная даль Гудзона, а на перекрестке, где кладбище заканчивается, на противоположной стороне проспекта, словно видение или мираж, возникает здание, которое мы искали, — величественное, в духе неоклассицизма и не менее диковинное, чем мы сами в этом заброшенном месте; в нем расположилось Испанское общество Америки и, как нам рассказывали, есть картины Веласкеса и Гойи и огромная библиотека, которую никто не посещает, потому что кто же поедет сюда, в такую даль, в район, который, когда находишься на юге Манхэттена, представляется диким и опасным.

Вот садовая решетка, за ней, между двумя зданиями с мраморными карнизами и колоннами, с испанскими именами, высеченными по всему фасаду, — двор со статуями. Среди них есть претенциозная конная статуя Сида, а на стене одного из зданий высечен огромный барельеф, изображающий Дон Кихота верхом на Росинанте; и всадник, и лошадь в одинаковой степени изможденные и тощие. Рядом с входной дверью женщина с седыми волосами, схваченными заколкой — судя по ее виду, она давно махнула на себя рукой, — курит, как все американские любители табака, то есть убежденно и при этом таясь ото всех: чтобы подымить сигаретой, им приходится в непогоду выскакивать на улицу и, укрываясь от ветра за какой-нибудь колонной или углом здания, тайком делать несколько торопливых затяжек, опасаясь замечаний прохожих. Женщина на мгновение останавливает на нас взгляд, и впоследствии мы вспомним, что на нас обоих произвели впечатление ее глаза: они сверкали на поблекшем лице, как раскаленные угли, словно просвечивая сквозь маску, — живые и неистовые глаза женщины, которая на самом деле была гораздо моложе, чем выглядела; американская служащая или секретарша на пороге пенсии, которая живет одна, уделяет совсем немного времени своей внешности, стрижется, как придется, носит темные джемперы, мужские брюки, ботинки — что-то среднее между ортопедической обувью и кроссовками — и очки на цепочке и

стала уже таким реликтом, что даже не отказалась от привычки курить.

В вестибюле мы тщетно пытаемся отыскать кассу. Привратник, пожилой гигант, развалившийся в кресле, похожем на монастырское, говорит нам, что мы можем спокойно проходить, и по его лицу и акценту сразу становится ясно, что это кубинец. На нем серый форменный пиджак, вроде тех, что носят испанские университетские надзиратели, старый пиджак испанского педеля, истрепавшийся за столько лет службы — череды трехлетий сонного административного безделья. Стоит только зайти в вестибюль, и со всей очевидностью понимаешь, что сюда почти никто не ходит, что здесь все подвержено постоянному разрушению, поскольку ничего не обновляется, и вещи живут свой век, уже износившись и устарев, хотя еще не отслужив свое. Расписание, прилепленное к стеклу входной двери, напечатано в старинной типографии и уже пожелтело в результате действия все того же закона медленной разрушительной работы времени, которому подчиняются и китель привратника, и фотографии в рамках в глубине одной из витрин, где рассказывается об основании Испанского общества в двадцатые годы: огромные черные автомобили представителей испанских и американских властей, присутствовавших на церемонии открытия, здание, недавно построенное в пространстве, где пока больше ничего нет, стройное белое здание в стиле классицизма, его только что отшлифованный мрамор блестит, как нечто совсем новое и перед чем, казалось, открывается блестящее будущее. В небе, над головами, покрытыми цилиндрами и канотье, парит аэроплан, который по тем временам, должно быть, казался головокружительно сверхсовременным, как и автомобили дам и кавалеров, съехавшихся на открытие. Но картон фотографий покоробился, и в уголках рамок можно различить крохотные следы, проеденные молью.

Где это мы очутились, куда попали, войдя в просторный сумрачный зал, вызывающий в памяти патио испанского особняка, с резной мебелью в стиле "платереско" и арками из темного красноватого камня, и кажущийся еще более сумрачным при скудном дневном свете, пробивающемся сквозь стеклянный потолок? Окружающая обстановка не поддается точному определению, так как в равной степени напоминает патио особняка, куда выходят галереи, огромную неприбранную ризницу собора и хранилище музея, точное назначение которого, равно как и принципы размещения и приобретения экспонатов, весьма неопределенны. В начале века миллионер Арчер Мильтон Хантингтон, одержимый безрассудной страстью ко всему романтически-испанскому, а также наделенный ненасытной и всепоглощающей эрудицией, объехал всю страну, скупая все подряд,

начиная с хоров какого- нибудь собора и кончая глиняным кувшином, покрытым глазурью, картинами Веласкеса и Гойи, ризами епископов, топорами эпохи палеолита, бронзовыми наконечниками, статуями распятого Христа для крестного хода, массивными серебряными дарохранительницами, керамическими валенсийскими изразцами, пергаментами с иллюстрациями к "Апокалипсису", экземпляром первого издания "Селестины", "Диалогом о любви" Иуды Абраванеля, прозванного Леоном Иудеем, испанского еврея, нашедшего убежище в Италии, "Амадисом Галльским" в издании 1519 года, Библией, переведенной на испанский Йомом Тобом Ариасом, сыном Леви Ариаса, и опубликованной в 1513 году в Ферраре, потому что в Испании это стало невозможно, первым экземпляром "Ласарильо", "Пальмерином Английским" в том самом издании, в котором его, возможно, читал Дон Кихот, первым изданием "Галатеи", последующими дополнениями к грозному "Списку запрещенных книг", "Дон Кихотом" 1605 года и столькими другими испанскими книгами и рукописями, оказавшимися никому не нужными и за бесценок проданными человеку, который проехал на автомобиле по ужасным испанским дорогам, так и не выйдя из состояния восторженности по отношению ко всему испанскому, отдавшись безумной страсти приобретательства, — мультимиллионеру мистеру Хантингтону, с неистовой энергией американца объездившему всю страну, мертвые селения Кастилии, проделавшему путь Сида, покупавшему всякую всячину и отдававшему распоряжения об отгрузке в Америку картин, ковров, решеток, а то и целых иконостасов, — всего, что осталось от громкой испанской славы, церковного великолепия, — но также и свидетельств незатейливого народного быта, глиняных тарелок, из которых бедняки хлебали пшеничную кашу, и кувшинов, благодаря которым они могли отведать свежей воды в засушливых землях внутри страны. Он руководил археологическими раскопками в Италике и, не торгуясь, приобрел у разорившегося маркиза из Херес-де-лос-Кабальеро его коллекцию в десять тысяч томов. А чтобы было где хранить всю незаконную добычу, вывезенную из Испании, он построил дворец на том краю Манхеттена, куда так и не добрались ни экономическое процветание, ни лихорадка распродажи земельных участков, на что, вероятно, господин Хантингтон надеялся; в этом дворце все размещено на стенах, в витринах, расставлено по углам, каждый экспонат снабжен кратким пояснением с указанием даты и места находки, непременно на пожелтевшей бумаге: римская мозаика и масляные светильники, миски эпохи неолита, средневековые мечи, готические статуи Святой Девы, — словно сама река времени в беспорядке вынесла на Растро эти свидетельства и наследие прошлого: обломки домов богачей и бедняков, церков-

ное золото, мебель из гостиных, щипцы, которыми ворошили угли в камине, и гобелены, и картины, некогда висевшие на стенах церквей, ныне заброшенных и разоренных, и дворцов, возможно, уже не существующих, почти стершиеся плиты надгробий сильных мира сего и мраморные раковины, когда-то наполненные святой водой в прохладном полумраке часовен. Да еще имена, звучные названия испанских мест на этикетках в витринах, и вдруг среди них, рядом с зеленой глазированной глиняной миской, которую я тотчас же узнаю, — название моего родного города, где во времена моего детства еще существовал район гончаров, и печи там оставались все такими же, что и во времена мусульман; это была широкая солнечная улица, которая называлась улица Валенсии и выходила прямо в поле. Оттуда и попала сюда эта миска, которую я показываю тебе за стеклом в одном из пустынных залов Испанского общества Нью-Йорка и которая возвращает меня прямо в детство: в ее центре изображен петух в круге, и, рассматривая его, я почти ощущаю в кончиках пальцев глазированную поверхность керамики и выпуклые линии рисунка; это традиционный петух, и при этом он похож и на петуха Пикассо — он повторялся на тарелках и мисках у нас дома, а также на стенках кувшинов для воды. Я вспоминаю огромные чаны, в которых женщины перемешивали мясной фарш и специи для свиной колбасы, глиняные блюда, над которыми нарезали помидоры и зеленый перец для салата — натюрморты незатейливой и вкусной пищи простого народа. Эта посуда с незапамятных времен стояла на столах и полках домов и казалась неизменным атрибутом священного ритуала, тем не менее она исчезла очень быстро, за каких-то несколько лет, под натиском посуды пластмассовой и фабричной. Она исчезла, как и дома, в полумраке которых поблескивали ее широкие и округлые формы, как и люди, когда-то обитавшие в этих домах.

"У меня эта миска тоже вызывает воспоминания", — говорит рядом с нами женщина, которую мы видели курящей у входа. Она извиняется, что прервала нас, что слушала наш разговор: "Я узнала ваш акцент, когда-то давно я жила в этом городе". В ее голосе столько же молодости, сколько блеска в глазах, они никак не соотносятся ни с возрастом, зафиксированным чертами ее лица, ни с американской небрежностью манеры одеваться. "Я работаю в этой библиотеке, если вам интересно, с удовольствием покажу вам ее. Здесь столько сокровищ, а об этом знает так мало людей. Время от времени приходят преподаватели, ученые, которые занимаются испанистикой, но могут пройти недели, а то и месяцы, и никто не обратится ко мне за книгой. Кто поедет в такую даль, кто может вообразить себе, что здесь, в такой близи от Бронкса, хранятся картины Веласкеса, Эль Греко и Гойи, что у нас есть первое издание "Ласари-

льо" и "Дон Кихота" и "Селестина" 1499 года? Туристы доезжают до Девяностой улицы, чтобы побывать в центре Гугенхейма, и воображают, что дальше начинается мир неизведанный и опасный, словно сердце Африки. Я живу неподалеку отсюда среди кубинцев и доминиканцев, где не услышишь ни слова по-английски. Под моей квартирой располагается кубинский ресторанчик под названием "Цветок Бродвея". Они готовят "ropavieja"[1] и дайкири, как больше нигде в Нью-Йорке, и разрешают спокойно курить за столиками, покрытыми клетчатыми клеенчатыми скатертями, как когда-то в Испании, когда я была совсем девчонкой. Настоящая роскошь — выкурить сигарету за чашкой черного кофе в конце обеда. Вы же знаете, теперь нечасто здесь встретишь ресторан, где позволяют курить за столиком. Табак вреден для моих бронхов, посетители косятся, когда приходят сюда и видят меня с сигаретой у входа на улице, но я уже стара, чтобы меняться, сигареты мне очень нравятся, я наслаждаюсь каждой, пока курю, они составляют мне компанию, помогают мне поддерживать беседу или скоротать время, когда я одна. К тому же, когда я была совсем молода, мне хотелось убежать из Испании и добраться до Америки, потому что здесь женщины могли курить, носить брюки и водить автомобили, как показывали в довоенном кино".

Женщина говорила на четком и ясном испанском, какой можно услышать кое-где в Арагоне, но в ее акценте слышались карибские и американские интонации, а в голосе, звучал совершенно англо-саксонский металл, когда она произносила какое-нибудь слово по-английски. Она пригласила нас выпить чашку чаю у себя в кабинете, и мы приняли приглашение, отчасти потому, что уже чувствовали обычный при посещении музеев упадок сил, отчасти потому что в ее манере говорить и смотреть на нас было что-то завораживающее, особенно в этом безлюдном и тихом месте, в пасмурное утро последнего дня нашего путешествия. Эта женщина, так и не назвавшая своего имени, будила в нас какое-то беспокойство и одновременно притягивала к себе; испанский, на котором она с нами разговаривала, был голосом ее юности, а глаза, изучающие нас, были намного моложе ее лица и фигуры, не говоря уже о руках, покрытых пятнами и морщинами, с распухшими от артрита суставами, и о дыхании курильщицы, хотя табак не запачкал ей пальцев и не добавил хрипоты голосу. В небольшом кабинете царил беспорядок и пахло старой бумагой, он был обставлен конторской

1. Ropavieja — дословно "старая одежда", блюдо креольской, преимущественно кубинской, кухни (*исп.*). Приготавливается из мяса, которое варится в течение долгого времени, разбирается на волокна и тушится в томатном соусе со специями.

мебелью двадцатых годов, какую можно увидеть на некоторых картинах Эдварда Хоппера. Женщина достала из картотечного шкафа три чашки и три пакетика чаю, положила все это на стол прямо поверх бумаг, и, совершенно по-американски извинившись жестом, вышла за кипятком. Мы молча переглядываемся, обмениваемся улыбками, желая ощутить взаимную поддержку в столь необычной ситуации, а женщина почти тотчас же возвращается, пристально смотрит на нас своими живыми глазами, словно пытаясь угадать, не говорили ли мы о ней в ее отсутствие. Очки висят у нее на шее на черном шнурке. Она похожа на секретаршу в учебном отделе университета, которой осталось совсем немного до пенсии, но ее глаза изучают меня безо всякого стеснения, словно осмелев оттого, что лицо как бы прикрыто маской; женщина, которая смотрит этими глазами, вовсе не та, что наливает кипяток и выказывает предупредительность и учтивость, предписываемые строгим американским этикетом, небрежно закалывает седые волосы и носит брюки, джемпера и ботинки — не столько в силу практичности и непритязательности, сколько из-за безразличия к собственной внешности. Она смотрит на меня так, будто ей тридцать лет и она оценивает каждого мужчину, прикидывая, в какой степени он привлекателен, а также готов ли он к сексуальным отношениям; смотрит на нас, стараясь угадать, любовники ли мы или женаты, и что прочитывается в нашей манере обращаться друг к другу — признаки желания или охлаждения? И пока ее магнетический взгляд исследует малейшую деталь твоего и моего присутствия, наших лиц и нашей одежды, ее старческие руки совершают классический обряд гостеприимства, разливая чай и предлагая нам пакетики сахару и сахарину и пластмассовые палочки, к несчастью, заменяющие ложки в Соединенных Штатах, а ее звонкий, старинный испанский голос с кубинскими и саксонскими интонациями повествует нам о миллионере, который страдал манией величия и возвел здание Испанского общества на углу Бродвея и Сто пятьдесят пятой улицы в полной уверенности, что этот район Гарлема в скором времени войдет в моду среди богачей, и о его причуде: живя так далеко от Испании, он окружил себя таким количеством испанских предметов; так далеко от Испании и отовсюду, даже от самого Нью-Йорка, говорит она и показывает на окно, за которым видна противоположная сторона убогой и бедной улицы, хотя это Бродвей, — ряд краснокирпичных домов с зигзагом пожарных лестниц и высокими баками для воды на крышах, а за ним — серая даль горизонта и силуэты гигантских башен муниципальных жилых домов Бронкса.

"Вот уже больше сорока лет, как я приехала из Испании, никогда больше туда не возвращалась и не думаю возвращать-

ся, но я помню некоторые места в вашем городе, кое-какие названия: площадь Святой Марии, где так сильно дул ветер зимними вечерами, улицу Реал, она ведь так называлась? Хотя сейчас я припоминаю, что как раз тогда ее переименовали в улицу Хосе Антонио. И эту улицу, где располагались гончарные мастерские, у меня вылетело из памяти ее название, но, услышав, что вы рассказываете своей жене об улице Валенсии, я сразу поняла, что речь идет о той самой улице, и вспомнила песню, которую распевали в те времена:

На улице Валенсии
Гончары
Из воды и глины
Делают горшки.

Когда я была совсем молодой, мне удалось попасть в Колумбийский университет на курс испанской литературы, который вел Франсиско Гарсиа Лорка, и ему нравилось, когда я пела эти строки; он считал их удивительно точными и громко повторял их, чтобы обратить наше внимание на то, что в них нет ни одного прилагательного, все слова самые обыкновенные, и при этом результат, как он говорил, оказывается и поэтичным, и информативным, как фраза путеводителя, и это вызывает в памяти старинные романсы".

Она много говорит, завораживая нас своим рассказом, но, по сути, мы так ничего и не узнаём о ее собственной жизни, даже имя ее, к нашему удивлению, останется нам неизвестно, хотя это обстоятельство мы отметим позже, уже покинув Испанское общество. Как выглядит квартира, в которой она, без всякого сомнения, живет одна, или разве что в компании со своим котом, слушая кубинские голоса и мелодии, долетающие снизу, из "Цветка Бродвея", куда регулярно спускается ужинать, заказывая фасоль со свининой и, возможно, дайкири, который слегка ударяет в голову; в одиночестве сидит за столом, покрытым клеенчатой скатертью в клетку, курит, потягивая кофе, смотрит на улицу и разглядывает мужчин и женщин, безошибочно угадывая характер их отношений? Чем она занимается часы и дни напролет, когда никто не приходит за книгами в библиотеку, этими зарытыми здесь сокровищами, которые она систематизирует и пересчитывает с сосредоточенным выражением на постаревшем лице, полуприкрыв веки за очками на черном шнурке? Единственные экземпляры, которые можно найти уже только здесь, первые издания, целые подборки научных журналов, подшивки, автографы писем — вся испанская литература и всевозможные статьи и изыскания об Испании собраны в этой огромной библиотеке, куда почти никто не

приходит. Самой хранительнице уже нет надобности открывать тома поэтической серии "Классики кастильской литературы": еще в то время, когда она посещала занятия профессора Гарсиа Лорки, у нее вошло в привычку — к чему, по ее словам, именно он приохотил студентов — заучивать наизусть наиболее понравившиеся стихи, так что она знала на память большую часть "Романсеро", сонеты Гарсиласо, Гонгоры, Кеведо, всего Сан Хуана де ла Крус, почти всего Луиса де Леона, и Беккера, и Эспронседу; всем этим она зачитывалась в ранней юности — в пору мечтаний и увлечения литературой — на пару с братом, который был немного старше ее и с которым они поочередно декламировали то "Тенорио", то "Овечий источник", то "Жизнь есть сон". Вполне возможно, именно этому она и посвятила все годы своей работы в Испанском обществе — запечатлевала в памяти испанскую литературу, проговаривала выученное про себя или вполголоса, шевеля губами, словно молясь, пока шла на работу по этому карибскому Бродвею или добиралась до юга Манхэттена в ползущих автобусах или переполненных вагонах метро, когда маялась от бессонницы в своей одинокой постели или обходила залы музея, не задерживаясь ни перед одной из картин или экспонатов, расположение которых, равно как и сведения, напечатанные на табличках, знала уже назубок. Но была одна картина, перед которой она всякий раз останавливалась и даже присаживалась, чтобы рассматривать ее не торопясь; грусть, которую она при этом испытывала, никогда не притуплялась, а напротив, усиливалась, по мере того как проходили годы, а в этом месте все оставалось таким неизменным, словно в заколдованном королевстве. Таблички, стенды и каталоги желтели, сантехника в туалетах постепенно превращалась в музейную редкость, у кубинцев и пуэрториканцев, служивших привратниками, седели их жесткие курчавые волосы, карманы серых кителей, напоминающих форму университетских надзирателей, окончательно прохудились, и все больше обтрепывались обшлага рукавов, а ее саму время превращало в незнакомку каждый раз, стоило только посмотреться в зеркало; прежними оставались одни лишь глаза, чье сияние было таким же пронзительным и прекрасным, как тогда, когда ей исполнилось тридцать лет и она очутилась в Америке, впервые в жизни предоставленная самой себе и охваченная таким воодушевлением, которое, может статься, граничило с нервным возбуждением и безумием, вероятно, даже более неистовым, чем безудержная и безрассудная страсть господина Хантингтона к коллекционированию. "Мне нравится сидеть перед этим полотном Веласкеса, портретом смуглой девочки, о которой никому ничего неизвестно — ни кто она такая, ни как ее звали, ни почему Веласкес ее нарисовал, — сказала она нам. — Наверняка вы на него уже об-

ратили внимание, но не уйдете, не постояв перед ним еще немного, потому что, может быть, никогда сюда не вернетесь и больше его не увидите. С годами перестаешь обращать внимание на вещи, привыкаешь к ним и уже не глядишь в их сторону, не только потому что теряешь интерес, но еще чтобы не потерять рассудок. Смотрители любого музея посходили бы с ума, если бы постоянно разглядывали картины, которые их окружают, со всеми их подробностями. Я вхожу сюда и после стольких лет уже ничего не вижу, но эта девочка Веласкеса неизменно оказывается в поле моего зрения; она притягивает меня к себе и все время смотрит на меня, и, хотя мне до мелочей знакомо ее лицо, я всегда открываю в нем что-то новое — как отец или мать в лице своего ребенка или любящий в лице любимого человека". Обычно на картинах — взять этот или любой другой музей — изображают сильных мира сего или святых; это люди, переполненные сознанием своей значимости или пребывающие в ореоле святости или страданий мученичества; а эта девочка никого из себя не разыгрывает — ни Богоматерь в детстве, ни инфанту, ни дочь герцога, — она всего лишь она сама, просто девочка, серьезная и кроткая, словно погруженная в свои грустные детские переживания, потерявшаяся здесь, в пышных и слегка обшарпанных залах Испанского общества, как героиня сказки — в заколдованном дворце, внутри которого время остановилось сто лет назад. У нее доверчивый и вместе с тем робкий и сторожкий взгляд, и ее темные глаза сейчас, когда я пишу, устремлены на меня, хотя в этот момент я нахожусь далеко от нее и от пасмурного дня в Нью-Йорке накануне отъезда. Прошло всего лишь несколько месяцев, воспоминания пока ярки и отчетливы, но стоит мне только попытаться вспомнить подробности нашего посещения Испанского общества, лицо девочки Веласкеса, голос и горящий взгляд женщины, которая так и не сказала нам своего имени, все становится зыбким, словно размытым, и не знаешь, случилось ли это наяву. Я сохранил вещественные доказательства: проездной билет "Метрокард" на автобус, который завез нас так далеко, открытки, которые мы купили в киоске Испанского общества; ассортимент в нем был очень скудным: там до сих пор не распроданы запасы черно-белых "почтовых карточек" почти вековой давности, а также путеводители и каталоги изданий, которые можно найти разве что в витринах букинистических книжных лавок, где предлагают все самое потрепанное и замусоленное. Однако здесь, в этом месте, полном сюрпризов, магазинчик, со столь немудреным выбором товара — он смахивает скорее на скромную испанскую лавчонку, в которой продают табак и марки, и уж точно не идет ни в какое сравнение с торговыми заведениями других нью-йоркских музеев, эффектными, роскошными супермаркетами, — распола-

гается в необъятном зале, не поддающемся описанию с точки зрения организации пространства, заставленном громоздкими витринами из темного дерева, похожими на полки крупного магазина тканей начала века или гигантские комоды, в которых хранятся облачения священников в ризницах собора. Сам киоск ютится в темном углу, занимая часть прилавка, за которым восседает сеньора весьма почтенного возраста; кажется, стоит только нам уйти — двум странным посетителям, которые сейчас перебирают коллекцию выцветших открыток, — как она тот час же примется за вязание. Зато все стены от пола до потолка увешаны огромными картинами — а иногда одной единственной во всю стену, на которой изображены, словно занесенные сюда вихрем невиданного по размаху карнавала или застывшие в беспорядке на цветных вкладышах в энциклопедии, все национальные костюмы, ремесла, народные танцы и пейзажи Испании — романтическая фольклорная мишура, с размахом воспроизведенная Хоакином Сорольей; эта своего рода Сикстинская капелла, которая призвана прославить страсть мистера Хантингтона ко всему испанскому и увековечить в крупных цветных мазках каждый этнический тип, каждый давно вышедший из употребления костюм, или древний головной убор, или антропологическую особенность: андалусских объездчиков лошадей в широкополых шляпах, каталонцев в шапочках и альпаргатах, кастильцев с обожженными солнцем и изборожденными морщинами лицами, арагонцев с красными платками на затылке, танцующих хоту, а также апельсиновые сады, оливковые рощи, воды Бискайского залива, куда вышли на промысел рыбаки севера; галисийские зернохранилища и мельницы Ламанчи, андалусских цыганок в платьях с воланами, валенсийских красавиц в жестких накрахмаленных юбках, расшитых драгоценностями и с застывшими прическами, как у каменных изваяний иберов, сады и пустоши, фиолетовые небеса Эль Греко и яркий насыщенный свет Средиземноморья — здесь метры и метры живописи, обилие лиц, похожих на маски, и одежд, смахивающих на карнавальные костюмы; все это вызывает в памяти толчею и головокружение бала-маскарада, и в то же время — скучный подробный каталог или реестр, куда внесен житель любой местности со своими характеристиками и соответствующей формой одежды, намертво привязанный к вековым традициям и пейзажам своего края; каждый индивидуум подвергнут систематизации по принципу своего происхождения и малой родины, как птицы или насекомые у биологов.

А сейчас передо мной в рабочем кабинете рядом с клавиатурой компьютера и белой, отполированной морем ракушкой, которую Артуро позапрошлым летом нашел на пляже в Сааре, — од-

на из тех открыток, купленных нами в киоске Испанского общества. Это портрет смуглой нежной одинокой девочки на сером фоне, которая не сводит с меня взгляда, точно так же как в тот раз, когда мы пошли взглянуть на нее перед уходом — в день накануне нашего отъезда; мы уже почти покинули Нью-Йорк, несмотря на то что до вылета в Мадрид оставались еще сутки, и время утекало у нас между пальцев, так становится бесплотной сожженная бумага, по мере того как рассыпается пепел листа; эти минуты и часы были лишены покоя, словно мучительное и скоротечное время тайного свидания, когда любовники, едва увидевшись, знают, что для них уже пошел обратный отсчет времени — до расставания. Сочиняя, тешишь себя иллюзией, что описываемые тобой места, предметы и люди оказываются в твоей власти. Сидя в рабочем кабинете под лампой, отбрасывающей свет на мои руки, клавиатуру, мышь, раковину, желобки которой мне нравится рассеянно поглаживать кончиками пальцев, и открытку с девочкой Веласкеса, я порою ловлю себя на ощущении, будто ничего из того, о чем я размышляю или вспоминаю, не существует вне меня, вне этого замкнутого пространства. Но все же города и страны существуют, пусть даже меня там уже нет, и я туда не вернусь. Возможно, в чьей-то памяти хранятся прожитые мною жизни и те люди, которыми я успел побывать до того, как стать еще одним человеком — с тобой; и в этот самый момент, в шести часах и шести тысячах километров от этой комнаты, девочка, которая смотрит на меня с бледной репродукции на открытке, смотрит, слегка улыбаясь, в полумраке огромного зала музея, куда мало кто ходит, с подлинного и реально существующего полотна, написанного Веласкесом около 1640 года, привезенного в Нью-Йорк около 1900 года американским мультимиллионером. Кто знает — может, именно сейчас, когда в Нью-Йорке два с четвертью часа пополудни, а здесь вот-вот наступит декабрьская ночь, кто-то глядит на лицо этой девочки, кто-то угадывает или узнает в ее темных глазах печаль затянувшегося изгнания.

Рассказы

Река забвения

НИКТО не плавал на тот берег, хотя он маячил совсем близко, — возможно, потому что там, насколько хватало глаз, не обнаруживалось ничего такого, чего не было на этом, и потому что всякий, кто переплывает реку, вправе ожидать какого-нибудь символического вознаграждения, которое в данном случае исключалось из-за близости и схожести берегов. По обе стороны реки все было одинаковым — те же дюны и островки травы, пригибаемой к земле ветром с моря, тот же соляной блеск на гребнях песка. Пес Саул переплыл реку поутру, кинувшись вслед за каким-то предметом, который Маркес быстрым движением зашвырнул на тот берег — я не увидел в этом никакого умысла, чего не сделаешь от скуки. Саул, подгоняемый нетерпением, задрав нос, шумно баламутил воду, и, когда выбрался на другой берег, было похоже, будто он сбился со следа. Отряхивая намокшую шерсть, он бродил по берегу и какое-то время лаял с волчьими подвываниями, не обращая внимания на свист и крики Маркеса. Ближе к вечеру до меня вдруг дошло, что он так и не вернулся.

Тем утром, пока мы пили аперитив в полумраке библиотеки, Маркес сообщил мне, как называется река — Гуадалете — и прибег к свидетельству двух географических словарей, чтобы объяснить мне этимологию. Жаль, что я тогда плохо его слушал, впрочем, полагаю, я все равно не сумел бы ничего предотвратить. Маркес открыл один из словарей и отыскал слово, задержав на нем указательный палец, но меня больше занимали мой мартини, окно, выходящее на теннисную площадку, дюны на этом берегу и река. "Слово, состоящее из двух корней, греческого и арабского", — прочитал Маркес. В тот момент мое внимание было приковано к бедрам Ивонны, втиснутым в белые шорты, и точным движениям Чарли Гомеса, орудовавшего ракеткой внизу, на теннисной площадке. Время от времени они прерывали игру и беседовали, разделенные сеткой, приглушенно смеялись, бегло касались рук друг друга, передавая белый мяч. В какой-то момент Чарли Гомес погля-

© Antonio Muñoz Molina, 1993 used by permission of the Wylie Agency (UK) Limited

дел на окно библиотеки и заметил, что я за ними наблюдаю. Он послал мне какое-то нелепое спортивное приветствие, подняв кверху большой палец, и при этом сказал что-то Ивонне, которая тоже посмотрела в мою сторону и засмеялась.

У Чарли Гомеса была внешность красавчика, рекламирующего по телевизору одеколон. Высокий, неизменно загорелый, он, казалось, был увлечен Ивонной в меньшей степени, чем спортом и автомобилями, а играя в теннис, повязывал на лоб пеструю ленту — Ивонна наверняка находила это неотразимым. Во время завтрака, сидя напротив него, я подумал, что вполне можно без угрызений совести считать его дураком. А кем еще, скажите, считать человека, который позволяет, чтобы его звали Чарли Гомесом?

Как раз когда он послал нам приветствие с теннисного корта, Маркес, раскрыв второй словарь, произнес слово "племенной", печально глядя поверх очков. Это навело меня на сравнение Ивонны с коровой. Она станет ею через несколько лет, родив двух или трех детей. Она говорила, что ей нравятся дети и собаки, а когда узнала, что я пишу книги — в библиотеке их было три, но это была та комната, куда она почти никогда не заходила, — принялась отыскивать многочисленные параллели между материнством и литературой. Она с воодушевлением спросила, были ли у меня дети и сажал ли я деревья. Она сажала их в детстве, сообщила она нам, ее отец был крестьянином, поэтому мы должны извинить ее, если ее манеры не всегда строго соответствуют этикету. Когда я увидел, как она ярко накрашенным ртом откусывает кусок торта и с довольным видом расшалившегося дитяти без стеснения облизывает пальцы, перепачканные сахарной пудрой, я понял, что она невыносима и что Маркес любит ее, вопреки доводам рассудка, нелепости своего положения и даже откровенным издевательствам. Она сидела почти вплотную к Чарли Гомесу и наверняка их ноги под столом соприкасались. "Написать книгу, — спросила она меня, — разве не то же самое, что родить?" — "Ну как он может тебе ответить, Ивонна", — мягко возразил Маркес. Он все время смотрел на нее, словно ожидая, что она вот-вот что-то испортит и надо ее упредить. "Я много раз думала описать свою жизнь, — Ивонна повернулась к Чарли Гомесу. — Получился бы роман". — "А я бы не смог сидеть столько времени, ничего не делая", — откликнулся Чарли Гомес. Я подумал: "Сейчас он заявит, что он человек действия". Он так и поступил. Затем пояснил, что, если бы взялся писать, изложил бы все на одной странице, поскольку ему не нравятся всякие там красоты, — он всегда излагает самую суть. "Я тоже", — скромно сказал я, но ни Чарли Гомес, ни Ивонна этого не услышали, а Маркес был

слишком поглощен женой, чтобы на меня обратить внимание. У меня появилось ощущение, что моя лаконичность смахивает на невежливость. В конце концов, я был гостем, и если уж за завтраком заговорили о литературе, то это было проявлением внимания именно ко мне. В глубине души я сожалел, что принял приглашение Маркеса, и тут же начал прикидывать, под каким бы предлогом поскорее покинуть этот дом. Но было субботнее утро, и выходило, что раньше вечера воскресенья я не мог бы вернуться в город. Дело осложнялось еще и тем, что Чарли Гомес вызвался отвезти меня на своей машине. Я со страхом думал о том, с какой скоростью его кабриолет будет мчаться по прибрежному шоссе.

Кухарка, толстая молчаливая женщина, начала убирать со стола еще до того, как мы встали. Ивонна раздраженно отослала ее на кухню. "Она не умеет себя вести, — сказала Ивонна. — Вечно начинает психовать, когда в доме гости". — "Тебе следовало бы подождать до понедельника, прежде чем рассчитывать служанку, — осторожно напомнил Маркес, словно опасаясь ее разозлить. — И не говори так громко. Ей все слышно". — "Ничего, пусть послушает. Она такая же, как и та, — теперь она смотрела на меня и говорила со мной своим накрашенным ртом, набитым пирожным. — Знаете, почему я уволила ту, другую, вчера вечером? У нее все начало вылетать из памяти, может, обкурилась или не знаю еще что. Я попросила ее приготовить *ланч*, а она стала мыть тарелки, которые даже не были грязными. А поскольку вы с Чарли Гомесом должны были приехать, я распорядилась подготовить комнаты для гостей. И знаете, что она учудила? Уселась загорать на теннисном корте... Но я-то знаю, почему у нее с головой не все в порядке. Утром она бегала на свидание со своим любовником. В дюнах на другом берегу реки. Она вернулась вплавь, до того, как мы встали. Но я-то все видела. Видела, как она повесила сушиться купальник в окне своей комнаты..." — "В наше время проблема обслуги просто нерешима", — с серьезным видом произнес Чарли Гомес. "Неразрешима, — поправил Маркес и улыбнулся мне, не глядя в его сторону. "Вы играете в теннис? — спросила меня Ивонна. — С Чарли играть неинтересно: все время проигрываешь". — "У меня бы выиграли, — ответил я. — Я вообще не умею". — "Напрасно вы мне об этом сказали, — Ивонна грустно вздохнула и попыталась поискать утешения у Чарли Гомеса: она осмелилась дотронуться до его руки, лежавшей на скатерти между чашками, притворяясь, что старается проделать это незаметно от мужа. — Вы совсем, как мой Альваро. Только и интересуетесь что книгами. Но вы-то, по крайней мере, их пишете..."

Они с Чарли Гомесом вышли в коридор, ведущий к бассейну и теннисному корту, — оба в белом, в шортах, двигаясь с

подчеркнутой ловкостью, как будто демонстрируя нам с Маркесом пример благоприятного воздействия на организм прелюбодеяния и спорта. "Пойдемте в библиотеку, — предложил Маркес, поглощенный какими-то другими мыслями. — Вы подпишите мне свои книги, а я покажу вам свои словари".

Пес Саул вошел в столовую и, учащенно дыша, прильнул к его ногам. Маркес погладил его по голове и по спине правой рукой. В левой он держал какую-то увесистую деревяшку и задумчиво ее рассматривал, словно прикидывая что-то такое, на что ему еще надо было решиться. Собака вставала на задние лапы, чтобы дотянуться до деревяшки, и с беспокойством обнюхивала ее. Мы так и не поднялись в библиотеку. Прошли по всему первому этажу дома, увешанному картинами и заставленному антикварной мебелью — Маркес продемонстрировал мне все это накануне с удовольствием и пренебрежением, — и вышли к теннисному корту на берегу реки. Чарли Гомес и Ивонна заливались смехом, стоя вплотную друг к другу по разные стороны сетки. Увидев нас, они в знак приветствия одновременно помахали ракетками, с таким счастливым видом, как в кино часто бывает у тех, кто отправляется в круиз. "Саул!" — подозвал собаку Маркес. Он поднял деревяшку, размахнулся, выгнув спину, так, что чуть не опрокинулся, выбросил руку вперед, и предмет, который только что находился в ней, пролетел по воздуху над рекой и упал среди дюн. Одним прыжком собака бросилась в воду и поплыла к тому берегу. Когда она исчезла из виду, Маркес опять предложил мне подняться в библиотеку.

Надписывая свои книги, я постарался в каждом случае придумать что-то новое. В неподвижном летнем воздухе были слышны глухие удары мяча и взрывы смеха Ивонны и Чарли Гомеса, а я чувствовал, как моя признательность по отношению к Маркесу — он был богат, как-никак знаком с моими книгами, благодаря чему я и был приглашен в его дом, — волей-неволей постепенно сменилась жалостью. На столе, на полках стояли черно-белые фотографии Ивонны; на некоторых она была моложе и хуже одета и причесана: скорее всего, снимки были сделаны в то время, когда Маркес ее еще не встретил. Я спросил себя, где это произошло и почему уже ничего нельзя было изменить. "Люблю читать словари и вникать в этимологию, — говорил Маркес, глядя в окно на Ивонну, которая стояла к нам спиной. — Не обижайтесь, просто я не знаю ни одного романа, который увлек бы меня больше, чем чтение какого-нибудь словаря". — "Ничего страшного, — успокоил его я. — Со мной тоже такое бывает". — "Порядок и гармония. Не это ли вы ищете в словах? Там, где нам, не пишущим, видится чистая случайность, вы находите концы какой-нибудь истории. Но ведь самый непоколебимый порядок — словарный, а самая непро-

стая тайна в непосредственной близости от нас — происхождение каждого слова. Приведу вам один пример. Видите того типа, который с моей женой, будто бы играет в теннис? Определение, которое вы, скорее всего, для него найдете...” — “Конечно, — я с благодарностью ухватился за предоставленную возможность выказать ему мою солидарность. — Это негодяй”. — “... атлетический тип, — продолжал он, не обращая внимания на мои слова, — *атлетический*. Самое обычное слово, никакой тайны. А вам известно, что оно на самом деле означает и почему наш друг его не заслуживает? “*Атлетический*” значит похожий на атлета, человека, способного совершить “атлон”, то есть деяние, подвиг... Мы пускаем в ход слова, не задумываясь о том, что под их стершейся от употребления оболочкой скрыта золотая монета. Взгляните на эту реку там, внизу. Вы никогда не задавались вопросом, почему ее называют Гуадалете?”

Однако я не успел ему ответить, потому что как раз тогда мы и услышали собачий лай, принесенный ветром откуда-то издалека. Это были долгие жалобные стоны, которые с каждым разом звучали все отдаленнее, пока несколько минут спустя начисто не растворились в тишине, прерываемой лишь ударами мяча на теннисном корте.

Затем мы спустились в сад, прошлись по берегу реки в сторону моря, надеясь разглядеть пса Саула среди песчаных дюн, и вернулись домой, чтобы выпить мартини. Из окна столовой я увидел, как Ивонна и Чарли Гомес сплелись в бурном объятии, стоя за деревом и не выпуская из рук ракеток. В эту самую минуту Маркес приближался ко мне с двумя бокалами в руках. Чтобы он ничего не заметил, я с непонятной для него поспешностью переместился в противоположный конец комнаты.

Мартини, а затем обед повергли меня в непреодолимое сонное оцепенение. Только после двух чашек кофе ко мне вернулась способность мыслить, испытывать ненависть к Чарли Гомесу и при этом с предосудительным интересом разглядывать обтягивающую спортивную блузку Ивонны. Мы вяло беседовали о том, как трудно разбогатеть, занимаясь сочинением книг, о жаре, которая спадет к ночи, о преданности собак, о немецкой овчарке, в глазах которой Чарли Гомес обнаружил совершенно человеческое выражение. Ивонна не слишком настойчиво предложила прогуляться по пляжу, но желающих не нашлось. Маркес, уловив сон и усталость в моем взоре, предложил мне подняться наверх и вздремнуть. Для приличия я немного поупирался, а затем согласился, предвкушая — почти сгорая от нетерпения, — какое испытаю облегчение, когда останусь один и растянусь на кровати в полумраке комнаты. “Я пойду с тобой на пляж”, — сказал Чарли Гомес Ивонне. “У меня есть идея получше, — уже на выходе, до вре-

мени объятый сном, я с удивлением услышал голос Маркеса. — Сыграем-ка мы с вами партию в теннис, Чарли".

Сквозь сон я слышал их голоса, удары мяча, быструю россыпь шагов в парусиновых тапочках по цементной площадке, то удалявшуюся, то приближавшуюся, как и лай пса Саула — не знаю, раздавался ли он наяву или мне приснилось.

Я проснулся, когда почти стемнело. Во рту чувствовалась сухость и горечь, а в желудке тяжесть, словно я только что отобедал. Направляясь в библиотеку в поисках Маркеса, я обратил внимание на давящую тишину пустынного дома. Я сел за стол, на котором все еще лежал раскрытый словарь, и посмотрел на пустой корт, на дюны, на шелестящие кроны деревьев, на речной поток. *Гуадалете*, — прочитал я; это слово было подчеркнуто. Погрузившись было в чтение, я вдруг прямо перед собой увидел Ивонну. На ней все еще была спортивная блузка и шорты. Ивонна плакала. "Он уехал, — сказала она. — Не попрощался, ничего не объяснил, даже не посмотрел на меня. Закончил играть с Альваро, и... это был уже не он". — "Они о чем-нибудь говорили?" — "Нет, — Ивонна вытерла глаза и нос платком, перепачканным тушью. — Я смотрела, как они играют. Не знаю уж, почему Альваро на этом настоял, он ведь даже не умеет держать в руках ракетку. Он отбил мяч, и тот улетел на другой берег реки. А ведь мяч ужас какой дорогой. Чарли разозлился и..." — "Поплыл за ним?" — спросил я, хотя ответ был мне известен. Это было как озарение: в один миг я припомнил и уволенную служанку, и пса Саула. Все еще не веря, и при этом не испытывая удивления, я все понял; включая и степень мудрости Маркеса, и его план мести. "Он бросился в воду и в мгновение ока переплыл реку, — сказала Ивонна. — А когда вернулся, прошел мимо меня, не глядя. Переоделся и уехал. Вы мужчина, к тому же писатель. Можете мне объяснить, что я такого сделала? Почему Чарли вот так взял да и бросил меня? Ведь муж не догадывался..." — "Не догадывался? — повторил я и показал ей открытый словарь и подчеркнутое слово. — Он все знал. Даже я знал, хотя и дня еще здесь не пробыл. Думаете, он пригрозил Чарли? В этом не было необходимости. Ваш муж обнаружил способ, как сделать так, чтобы Чарли навеки забыл вас. Достаточно было заставить его переплыть реку".

Ивонна смотрела на меня, не понимая, не находя облегчения в моих словах. Сквозь открытое окно библиотеки я указал ей на реку и на дюны, уже погруженные в сумерки. "Служанка, которую вы рассчитали вчера, — продолжал я, — плавала за реку, а когда вернулась, ничего не помнила. Вы сами нам рассказывали, что велели ей подготовить комнаты для гостей, а она отправилась загорать, и принялась мыть уже вымытые та-

релки... И этот пес, Саул, вспомните: ваш муж отправил его за реку, и он так и не вернулся. Река называется Гуадалете. Это арабское слово, пришедшее из греческого. Древние называли ее Летой, рекой забвения, потому что по ней проходила граница между царством живых и царством мертвых. Кто ее переплывает, теряет память".

Я захлопнул увесистый словарь и взглянул на Ивонну с состраданием, не лишенным вожделения, спрашивая себя, чем это сейчас занят Маркес и где он. Ивонна то ли не понимала, то ли не хотела понимать моих объяснений. Она шагнула ко мне, прижалась, уткнувшись носом мне в грудь. Чтобы избежать ее взгляда, ищущего мои губы, я опять взглянул в окно. Какой-то мужчина в плавках, в светлых тапочках, с полотенцем через плечо шел по корту. Почти совсем стемнело, но я разглядел, что это был Маркес. Я видел, как он остановился на песчаном берегу, снял тапочки и аккуратно положил их рядом с полотенцем. Словно бы стряхивая волосы с лица, он откинул голову назад, а затем очень медленно вошел в воду, выставив вперед руки. Прежде чем сделать первый гребок, он повернулся к окну, откуда я на него смотрел, и помахал мне рукой, словно прощался.

Комната с привидением

ВЕРОЯТНО, этот энергичный молодой человек, Лоренсито Кесада, который так высоко держит марку нашего городка в печатном органе провинции, еще помнит тот вечер, когда наше сборище в кафе "Ройял" затянулось дольше обычного и завершилось за полночь, причем не по причине выпитого — тем более что никто из нас не питал склонности к бесплодному прожиганию жизни, — а потому что кто-то — может, как раз именно Лоренсито, любитель, по его собственному признанию, исследовать сверхъестественные явления, — начал рассказывать истории о привидениях. Вскоре у каждого из нас нашлась в запасе, по крайней мере, одна подобная история, и, когда Пласидо Салседо, который преподавал физику в школе, решил подрезать крылья нашей фантазии и установить научный подход, было уже поздно: юный Кесада просто засыпал нас сведениями о бог знает каких магнитных свойствах египетских пирамид и многочисленными доказательствами посещений нашей планеты кораб-

лями пришельцев. "Например, — сказал он, — огненная колесница, на которой вознесся Илия, была не чем иным, как летающей тарелкой, также как и Вифлеемская звезда..." В этом месте мой кузен Симон, весьма щепетильный в вопросах веры, попросил его не говорить того, чего не знает, потому как ни он, Кесада, никто другой, не наделенный должными полномочиями, не может толковать Писание как вздумается, и тогда Салседо, желая их примирить, только накалил страсти, потому что, когда Лоренсито сослался на него как на арбитра в том смысле, что его мнение как мнение ученого заслуживает доверия, он, в свою очередь, тоже попытался урезонить моего кузена, заговорив о свободе познания, а это было равносильно упоминанию черта. Мой кузен взвился и обозвал его лютеранином, а Салседо того — Торквемадой, а Лоренсито, и без того не закрывавший рта в течение всего вечера, в запальчивости воскликнул: "Уж не верите ли вы, что Искупление распространяется на обитателей других планет?!" Я утихомирил своего кузена и Сальседо и заставил их сесть. Тогда дону Палмиро Сехаяну, перед сединами которого мы все без исключения склоняли головы, пришлось объявить об окончании раунда. Он сказал: "Господа, соблюдайте порядок". — И мы тот час же замолкли. Поэт Хакоб Бустаманте, незадолго до этого получивший премию Совета провинции, воспользовался молчанием, чтобы запустить в моего кузена, а заодно и в меня, отравленную стрелу:

— Некоторые, — сказал он, — просто-таки упорствуют в своем нежелании что-либо знать о Втором Ватиканском соборе.

— У меня дома полное собрание соборных постановлений, — подскочил, как ужаленный, мой кузен, — и уверяю вас, ни в одном из них ничего не говорится о летающих тарелках.

— Друг мой Симон, — с отчаянием воскликнул Лоренсито Кесада, — не заводитесь, мы с вами нигде не *отмежевались* в вопросах веры.

Всем известно, что юный Кесада просто агнец божий, золотое сердце. Самоучка, бессменный вице-секретарь "Ночного поклонения"[1], вот уже двенадцать лет служащий универмага "Метрическая система" — разве можно упрекать его в том, что он говорит "отмежеваться" вместо "размежеваться" или "мирта" вместо "митра"? Настоящим подрывным элементом в нашем petit comité[2] был Хакоб Бустаманте — обладатель гус-

1. "Ночное поклонение" — ассоциация католиков, проводящая ночные богослужения. Испанская ассоциация основана в 1877 г. в Мадриде во время первой ночной службы в церкви Святого Антония. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Узкий интимный круг (*франц.*).

той бороды и гривы, ниспадающей на уши, ярый приверженец свободного стиха и гитарной музыки в богослужении. От успеха он заважничал: стоило ему пожать лавры в конкурсе Совета, как его имя все настойчивее стало называться среди финалистов конкурса, ежегодно проводимого Морским министерством...

— Господа, — дон Палмиро Сехаян был вынужден снова призвать всех к порядку, — если вы обещаете больше не спорить, я расскажу вам историю про привидения.

— Какую-нибудь легенду вашего народа? — осведомился Сальседо, сторонник скептицизма и холодного разума.

— Никаких легенд, мой дорогой профессор. То, что я собираюсь вам рассказать, произошло лично со мной. Если вы мне позволите...

— Минутку, дон Палмиро, — вскочил с места Кесада, — с вашего разрешения, я запишу вашу историю на магнитофон.

С присущим ему великодушием дон Палмиро согласился. Лоренсито Кесада уже как-то записал на магнитофон несколько его интервью, в которых дон Палмиро рассказывал о своей долгой и полной превратностей жизни, начиная с того дня, когда его еще ребенком вывезли из Армении, закатав в ковер. Кесада все обещал нам, что опубликует интервью в газете "Суточное плавание" — должностью ее корреспондента в нашем городе он гордился, — однако время шло, а приключения дона Палмиро так и оставались не увековечены печатными станками. "Потерпите, — просил нас Кесада, — в редакции говорят, что у них переизбыток рукописей". Салседо язвительно замечал, что задержка, вероятно, вызвана дипломатическим конфликтом с Отоманской империей, а Бустаманте за спиной Лоренсито Кесады высказывал предположение, что в "Суточном плавании" его считают мелкой сошкой. Один только дон Палмиро вел себя так, будто знать ничего не знает о бесплодности этой затеи, и с неизменной приветливостью, которая была самой яркой чертой его манеры общения, продолжал давать интервью из почтения к журналистскому призванию Лоренсито.

Кто же не помнит дона Палмиро Сехаяна? Кто забыл его величественную фигуру, не утратившую стройности, несмотря на возраст, его трости из Макао, его строгие траурные костюмы, простоту в обхождении с теми, кто по положению был ниже его, а это как раз и были мы все, потому что у дона Палмиро было самое значительное состояние в нашем городе, если не во всей провинции? Как сейчас вижу его сидящим на своем обычном месте в углу кафе: крепкого, как дуб, руки сложены на рукоятке трости, — вижу его орлиный нос и белоснежные усы, столь характерные для армянской расы, кото-

рая несправедливо — "не в пример прочим", говорил мой кузен Симон, — приговорена вечно пребывать диаспорой. Когда дону Палмиро было двенадцать или тринадцать лет, кому-то из родственников удалось спасти его от турецких ятаганов, посадив на пароход, который увез его в Вальпараисо. Не успел он сойти на берег по окончании плавания, длившегося целый год, как разразилось землетрясение такой силы, что едва хватило шкалы Рихтера, чтобы ее измерить, и дон Палмиро уже было решил, что наступил конец света. У него не было ни одной родной души, он познал голод, пережил наводнения, был засыпан лавиной в одном из горных ущелий Анд, попал в кораблекрушение в Карибском море, пару раз чуть не был расстрелян (что совсем не редкость в сумбуре, царящем в латиноамериканских республиках), но в конце концов сколотил себе состояние, продавая швейные машинки, сперва разъезжая по горным и лесным районам Перу, а затем наладив их производство в Лиме, жемчужине Тихого океана, — как он всегда ее называл, — где у него была фабрика, заслужившая добрую славу. Он был женат на испанке и, когда ему исполнилось семьдесят лет, весьма выгодно продал свое заокеанское предприятие, но, не имея возможности вернуться к себе на родину, томящуюся под турецким игом, остановил свой выбор на родине жены и приехал в Испанию, в наш город — туда, где она родилась; здесь он овдовел, а чтобы развеять печаль и чтобы ему, еще достаточно крепкому старику, было чем заняться, открыл электробазар "Гора Арарат", который до сих пор волей-неволей напоминает о Палмиро Сехаяне, будучи расположенным на самом бойком месте на площади имени генерала Ордунья. Уважаемый всеми — *и дунайцами, и троянцами*, как выражался юный Кесада, — дон Палмиро неизменно присутствовал на наших сборищах в кафе "Ройял", взяв на себя оплату поглощаемых нами швейцарских булочек, кофе или молочного коктейля, за что ему, как никто другой был благодарен редко чем довольный Бустаманте, и дело здесь не в бедности, а в жадности: ведь сам он так и не подумал угостить нас по поводу вручения той самой нашумевшей премии Совета провинции...

Однако я начал рассказывать, что Лоренсито Кесада пошел за своим магнитофоном — настоящим чудом японской техники, умещающимся в кармане пальто; в этом-то кармане он его все время и таскал на случай, если представится возможность "записать какую-то новость, живое свидетельство". С превеликими церемониями, он гордо водрузил его на стол перед доном Палмиро и, чтобы проверить качество записи — потому что по обыкновению все делал весьма тщательно, — сказал дикторским голосом "проверка, проверка" и только по-

сле того, как окончательно убедился в безупречности звука, предложил дону Палмиро поведать нам свою историю про привидения.

– Однако уже за полночь, друзья мои, – сказал дон Палмиро, сверяясь со своими великолепными карманными часами. – Уверен, вы уже изнываете от желания отправиться спать.

– Вы расскажите нам в общих чертах, – предложил Кесада, – не вдаваясь в детали, grosso modo...[1]

– Обещание равносильно долгу, – даже Сальседо, при всей своей учительской степенности, не смог скрыть нетерпения. – Вы же не оставите нас вот так – всего лишь помазав медом губы.

– Дон Палмиро, если вы сейчас умолкнете, это причинит нам огорчение, – сказал мой кузен Симон.

– ...*удар ниже спины*... – на сей раз это был голос юного Кесады.

Припертый нашим любопытством *к спине*, как выразился бы незадачливый Лоренсито, дон Пальмиро заказал молока для всех – Бустаманте тут же попросил присовокупить булочек – и, возложив обе ладони на рукоятку трости, отхлебнул молока, вытер губы белоснежным платком и начал свое повествование серьезным и неторопливым тоном, который нас всех всегда завораживал. Когда мы его слушали, собравшись вокруг и внимая его медлительным речам с почтительностью учеников, время пролетало незаметно. Благодаря его рассказам, мы узнали, сидя все за тем же столом в "Ройяле", названия стран и городов, о существовании которых, если бы не дон Пальмиро, мы бы до сих пор не знали ничего, не говоря уже о названиях животных и фруктов, туземных народов, не имеющих никаких представлений о цивилизации. После этого мы расходились по домам, размышляя об иньяме и гуарани, и, кутаясь от холода, проходили из конца в конец по крытой галлерее площади генерала Ордуньи, испытывая трепет при мысли об огромности мира.

"Это случилось, – начал рассказ дон Палмиро, – в конце двадцатых годов в забытой Богом деревне в отрогах Анд". Верхом на взятом напрокат муле дон Палмиро, в ту пору еще очень юный, путешествовал по тем пустынным местам, продавая за комиссию дамское и мужское нижнее белье и мелкую бижутерию. Он приехал в деревню как-то зимой под вечер, когда вот-вот должен был пойти снег, полумертвый от усталости, проведя много часов в пути, да еще и преодолевая ущелья

1. В общих чертах, приблизительно (*лат.*).

и обрывы верхом на муле. "Улицы не были освещены, — вспоминал дон Палмиро, — да и улиц-то не было, только топкие ложбины между глинобитными домами". В окнах были видны огни нефтяных факелов и непроницаемые лица индианок в шляпах котелком, которые захлопывали ставни, стоило ему подойти поближе.

— Индианки носят котелки, как англичане? — спросил Лоренсито, всегда жаждавший узнать что-то новое. Но дон Палмиро, который становился слегка невосприимчив, если ему доводилось рассказывать какую-нибудь историю времен своей молодости, не услышал его, а мы решительным жестом призвали его к молчанию.

Голос дона Палмиро словно обволакивал нас могильным покоем деревни... В зале "Ройяла" мы остались одни, и не было слышно даже позвякивания ложечек.

Усталый и голодный дон Палмиро попытался устроиться на ночлег в единственной местной гостинице, отложив до следующего дня визит к торговцу галантерейным товаром, первоначально намеченный на тот же вечер. Гостиница располагалась на площади, напротив церкви, погруженной в темноту. "Войдя в дом, — вспоминал он, — я сразу ощутил странный запах, запах сырости, как в домах, которые долго не проветриваются, вы понимаете, о чем я говорю". В передней с очень низким потолком, освещенной керосиновой лампой, пожелтевшей от дыма, шептались мужчина и женщина. Женщина была в трауре и казалась нездоровой. Мужчина небрит, в майке, лицо то ли испитое, то ли изможденное лихорадкой; во время разговора с доном Палмиро он стоял, облокотившись о грязную стойку. Он угрюмо отвечал, что не может предложить ему ужин, что у них нет ни свободных комнат, ни конюшни, ни корма для мула. Падая от усталости и голода, дон Палмиро настаивал: ему много не надо, довольно тюфяка в амбаре и горбушки черствого хлеба. Женщина скосила глаза на хозяина и проговорила, словно молясь, вполголоса, сложив при этом руки вместе (самое замечательное во всех историях дона Пальмиро — это то, что можно представить себе все до мелочей): "Скажи ему, чтобы ушел." Женщина вздыхала, по словам дона Пальмиро, как на панихиде — это слово мы тоже узнали от него. "Ради Бога, сеньора, — взмолился он, — вот-вот пойдет снег, и я околею, как собака..." Молодость напориста: пожав плечами, словно снимая с себя всякую ответственность, хозяин поскреб в своих нечесаных и жестких, как у индейца, космах, взял в одну руку керосиновую лампу, в другую — огромный ключ и сказал дону Палмиро, чтобы тот шел за ним. Отвернувшись к стене, женщина всхлипывала, зажав рот рукой.

По неосвещенной лестнице со стершимися ступенями они поднялись в кривой и темный коридор, в который выходило три двери. Из-под двух из них пробивался свет, и доносились храп и сонное бормотание. Хозяин открыл третью дверь и, подняв вверх керосиновую лампу, оглядел комнату, не переступая порога. Он удалился с такой поспешностью, что даже не заметил монету, протянутую ему доном Палмиро.

В комнате был глинобитный пол и стояли только узкая кровать, тумбочка с подсвечником голубого цвета и плетеный стул. Дон Палмиро услышал, как ветер стучит в окно, и с беспокойством подумал о том, что мул проведет ночь на улице, привязанный к решетке. Потом снял брюки и куртку и аккуратно повесил их на стул. В темноте, уже лежа в кровати, он услышал где-то под боком равномерные, повторяющиеся и словно бы осторожные постукивания, "вот так: тук, тук, тук", — показал он, тихонько постучав костяшками пальцев по мраморной столешнице. "Крысы или тараканы", — решил он и, закрыв глаза, поглубже зарылся под одеяло, но, услышав шум, похожий на шелест одежды, понял, что не заснет, и зажег свечу.

— Хотя я смертельно устал, сон мой улетучился, — сказал дон Палмиро. — Тогда, чтобы не терять времени понапрасну, я вытащил гроссбух и решил проверить кое-какие расчеты. В этот момент я увидел, что мои брюки валяются на полу. Я встал и подобрал их, потому что это были мои единственные брюки и я берег их как зеницу ока. Не успел я снова лечь, как опять услышал те же постукивания, которые уже начали мне надоедать. Они исходили не от двери, а откуда-то совсем рядом со мной, словно кто-то на первом этаже стучал палкой в потолок. Я подумал: "Коли этому уголовнику хозяину вздумалось попугать меня, то он напрасно старается", — и, вновь закутавшись в одеяло, погрузился в усердное изучение секретов двойной бухгалтерии. И тут же — опять постукивания, словно вода капает из крана, "вот так: тук, тук". Взгляд мой упал на стул, и я увидел, что мои брюки начали потихоньку соскальзывать, словно к ним привязали нитку и тянули за нее. Мне не потребовалось много времени, чтобы заметить, что стул покачивается. Неужели землетрясение, как тогда, в Вальпараисо? Но нет, двигался только стул, кровать и подсвечник оставались на месте. Тогда я обратил внимание на ножки: одна из них слегка приподнималась и опускалась — вот откуда были звуки. Потом немного приподнялись обе ножки с левого боку, и моя куртка, которая висела на спинке, начала соскальзывать; потом стул отклонился в другую сторону, и брюки вместе с курткой свалились на пол. Стул где-то с минуту стоял спокойно. А потом опять закачался, вначале очень медленно,

казалось, вот-вот упадет, но нет, не опрокинулся; когда же я встал, он начал отодвигаться от меня, слегка подпрыгивая, как человек, у которого не гнется нога, и, достигнув противоположного края комнаты, остановился напротив меня, словно бы чего-то выжидая, при этом одна ножка стукнула три раза — тук, тук, тук, — и стул замер.

— И что же вы предприняли, дон Палмиро? — спросил Кесада.

— Вы поверите, если я скажу, что меня опять потянуло в сон? Я загнул страницу, на которой прервался, и положил тетрадь на тумбочку. Подобрал брюки и куртку, однако, вместо того чтобы снова развешивать их на стуле, аккуратно свернул, чтобы на следующий день у них не было помятого вида, и положил на чемодан. Приличный внешний вид — обязательное требование для коммерсанта, и я взял это за правило. Потом лег, потушил свечу и заснул...

Дон Палмиро замолчал. Он допил свое молоко, вытер губы и усы и подозвал Себастиана, официанта, который постоянно обслуживал нашу компанию. Расплатился, оставив на тарелке царские чаевые, и сказал нам, что пора сворачивать заседание. Один только Бустаманте отважился спросить о том, о чем мы все подумали.

— И вы заснули, дон Палмиро? Как ни в чем не бывало? Словно стул и не двигался?

— Друзья мои, — дон Палмиро улыбнулся всем нам, как старый добрый отец, уже встав и пряча в карман свои серебряные часы. — Я видел, как турецкий солдат отрезал голову моему отцу. Я думал, что море поглотит всю землю во время землетрясения в Вальпараисо. В трюме корабля, в котором я провел два месяца, прячась среди ковров, меня будили крысы, грызущие мои уши... И вы полагаете, что какой-то там стул, только потому что он подпрыгивает, лишил бы меня сна?

В молчании, все еще оставаясь сидеть за столом, мы смотрели на дона Палмиро, подавленные его ростом и долготой его жизни. В этот момент пленка закончилась, магнитофон автоматически остановился, и в тишине неожиданно раздался такой резкий щелчок, что все мы, за исключением дона Палмиро Сехаяна, вздрогнули.

“Для меня не существует ничего само собой разумеющегося”

Интервью с писателем

Запись беседы и перевод Татьяны Родименко

Татьяна Родименко. Вы родились в Убеде, изучали историю искусства в Гранадском университете, а журналистику — в Мадриде. Кем вы себя ощущаете: убедцем, андалузцем, мадридцем?

Антонио Муньос Молина. Никем. Никем из перечисленного. Есть такой писатель, который мне очень нравится, — Клаудио Магрис, он как-то сказал о непостоянстве личностных характеристик. Так вот, я думаю, что каждый из нас — сплав многих составляющих, одна из них — те места, где ты жил или побывал, и даже те места, где тебе не удалось побывать. Я себя считаю, если на то пошло, испанским гражданином Европы, и это мне по душе. К тому же у меня есть мои собственные корни и мои воспоминания, а вот всякие географические привязки меня не слишком-то волнуют. Знаете, когда задали подобный вопрос Даниэлю Барембойму, дирижеру и пианисту — он родился в Аргентине, его родители были русские евреи, а учился в Израиле, — так вот его спросили: “Кем вы себя ощущаете?” Он ответил: “Когда я исполняю итальянскую музыку, я чувствую себя итальянцем, когда немецкую — немцем”.

Т. Р. Считаете ли вы себя человеком, который сам себя сделал?

А. М. М. “Сам себя сделал” звучит несколько самонадеянно, не правда ли? Человек не делает себя в буквальном смысле. Многое из того, что мы приобретаем, предопределено не нами, у нас нет осознанного намерения, мы не отдаем себе отчета в том, что делаем себя, для этого мало одной только воли.

Каждый из нас — результат главным образом генетического предопределения, а также исторического и географического, в силу места нашего рождения. Не то чтобы ты сам себя создавал по собственной воле — это жизнь тебя создает. Думаю, самое разумное — это постараться понять, как именно жизнь тебя меняет, и прилагать все свои усилия в этом направлении, принять посильное участие, оставаясь в рамках,

навязанных нам, начиная с генетики и кончая историей. Это как раз то, что прежде называли судьбой, не так ли?

Т. Р. Божественным провидением.

А. М. М. Провидением, чем угодно. В основе понятия "провидение" или "судьба" лежит глубоко верная идея, и она заключается в том, что нашей воле не подчиняется большая часть того, что мы собой представляем.

Т. Р. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, ваших родителях.

А. М. М. Моя собственная жизнь во многом отражена в моих книгах. Что до моей семьи — это была типичная крестьянская семья, не то чтобы совсем бедная, но жившая очень-очень скромно. Мои родители были не слишком образованны, а их родители вообще с трудом могли читать и писать — но при всем при этом в них жила тяга к знаниям, культуре, печатному слову. И когда я начал приобщаться к чтению, они отнеслись к этому очень одобрительно. Человек, владеющий словом, умеющий складно говорить и грамотно писать, вызывал их восхищение и представлял для них неоспоримую ценность. Конечно, на судьбы моих родителей в значительной степени повлияла Гражданская война. Моя мать родилась в 1930 году, отец — в 1928-м, и обоим пришлось бросить школу, когда началась война. Они туда уже не вернулись. Мать, правда, пошла снова учиться, когда ей было около шестидесяти лет. Вот в такой семье я родился.

Т. Р. Расскажите об Убеде — вашей "малой родине". Каким этот город, знаменитый своими памятниками эпохи Возрождения, представлялся вам тогда, в вашем детстве?

А. М. М. В те времена я не знал города — у меня перед глазами была только небольшая окраина, где жили мы и мои друзья. Все, кто там жил, работали на земле, это были трудяги, а в их семьях было много детей. Вот это и был мой мир. А тот факт, что город изобиловал памятниками архитектуры, тогда меня совершенно не волновал.

Т. Р. А когда вы открыли для себя Убеду Возрождения?

А. М. М. Это произошло намного позже. Будучи ребенком, я почти не выходил за пределы своего квартала. Мне было страшно, потому что в то время город был территориально поделен в соответствии с общественным положением людей и родом их занятий. То есть люди, которые занимались одним делом, принадлежали к одной социальной группе. Мы, землепашцы, например, жили внутри своего круга, не поддерживая никаких отношений с жителями других районов. Повзрослев, я мало-помалу начал открывать для себя город, и он мне очень понравился, особенно когда я стал изучать историю и историю искусств. Но меня всегда интересовала и до сих пор инте-

ресует традиционная народная архитектура, без нее не было бы этого города. То, как дворцы и церкви (которые сами по себе безусловно красивы) сочетаются с простыми домами, с этими белыми улицами, трогает меня сильнее всего.

Т. Р. В некоторых романах – в "Карлоте Файнберг", например, или "Польском всаднике" – вы затрагиваете тему определения личности, утраты ею корней, а в "Сефарде" – это вообще главная тема.

А. М. М. Это то, о чем я, так или иначе, размышляю постоянно. Я исследую проблему идентификации личности с разных – практически со всех возможных – точек зрения. Прежде всего, я рассматриваю идентификацию как определение, которое каждый дает себе сам, и как определение, которое дают ему окружающие. Это контрапункт, образованный собственным представлением каждого из нас о себе, представлением о том, кем ты мечтаешь быть, и о том, кем, по-твоему, ты не являешься и кем тебя считают остальные. Возникает жуткое недоразумение, когда ты считаешь себя одним человеком – и вдруг какой-нибудь закон или граница или что-то еще превращают тебя в другого.

Т. Р. Как это случилось с Жаном Амери, когда он вдруг узнал, сидя в венском кафе, о новых расовых законах, только что провозглашенных в Германии; в то время его звали Гансом Майером[1].

А. М. М. Мир, который он считал своим, перестал существовать. Я рассказываю в романе истории людей, которые неожиданно столкнулись с тем, что их стали считать евреями. Примо Леви и Жан Амери много писали об этом – что превращает людей в евреев, если они даже не знакомы с иудаизмом, не ходят в синагогу, не знают иврита, не чувствуют никакой связи с еврейской историей и культурой? Они становятся евреями лишь в силу того, что их начинают преследовать как евреев.

Т. Р. В "Сефарде" звучит то голос рассказчика, то голоса героев, повествование ведется то от третьего, то от первого лица...

А. М. М. Потому что так происходит в жизни. Мне было интересно не только рассказать саму историю, мне было важно – **как** ее рассказать. Манера изложения сама становится частью этой истории. Голосов много, потому что каждый рассказывает о своей жизни. Все мои персонажи – реальные люди, их рассказы настолько хороши, что у меня было ощуще-

1. Жан Амери (наст. имя Ганс Майер; 1912–1978) – австрийский писатель, журналист, кинокритик, мыслитель-эссеист; один из героев романа "Сефард". (*Прим. перев.*)

ние, будто я выиграл в лотерею. Можно десять лет просидеть на диване, и ничего подобного не придет тебе в голову.

Т. Р. Кроме того, "Сефард" автобиографичен.

А. М. М. Это естественно, ведь я прибегаю к собственному жизненному опыту. В книге есть что-то от исповеди. Однако когда я описываю людей, которые не являются известными личностями и у меня нет необходимости подстраиваться под их историю, тогда то, что взято из жизни, — всего лишь отправная точка для воображения. Тогда я рассказываю не то, что было, а придумываю то, что могло бы быть.

Т. Р. Вы тоже, как и герои "Сефарда", чувствуете себя вырванным из почвы?

А. М. М. Да, и так всю жизнь. Я никогда не считаю надежным место, в котором нахожусь, для меня не существует ничего само собой разумеющегося.

Т. Р. Биральбо, главный герой романа "Зима в Лиссабоне", говорит: "Музыка, которую я исполняю, ничего для меня не значит, если ее не слушаешь ты", на что Лукресия ему отвечает: "Я только предлог". А что для вас послужило предлогом, чтобы начать писать? Как вы почувствовали призвание писателя?

А. М. М. Не знаю. Что-то такое я всегда чувствовал, но что это именно призвание писать — не осознавал. С ранних лет мне нравилось читать, нравилось писать, и я занимался этим, не задумываясь, как делают многие. Мне кажется, существует возраст, когда людей тянет вести дневник, сочинять поэмы, выражать словами то, чем они хотят стать... тянет придумывать самих себя. В ранней юности мы очень часто придумываем себя, отражая собственные черты в литературном персонаже. Это увлечение ведет к писательству, но тут многое зависит от обстоятельств. Я не очень-то верю в то, что писатель с самого детства знает о своем предназначении и преодолевает на пути к нему все трудности. Все определяется чередой случайностей. Но что я знаю точно, так это то, что, начиная с ранней юности, я воображал себя писателем. Это было. А, кроме того, писатель ты или нет — решают другие. Когда другие говорят о тебе: "Он писатель" — ага, значит, я писатель.

Т. Р. Историю испанской литературы обычно делят по поколениям: "поколение 1898 года", "поколение 1927 года", "послевоенное поколение". Считаете ли вы, что принадлежите к определенному поколению?

А. М. М. Совершенно очевидно, что существует биологическое понятие поколения, и я думаю, что принадлежу, строго говоря, не к литературному поколению, а к поколению тех, кто успел пожить в двух мирах. В старом, патриархальном, при диктатуре Франко, и в современном, когда в Испании

произошли экономические преобразования и установилась демократия. Полагаю, в России произошло нечто подобное, поскольку ваше поколение родилось при коммунизме, а сейчас живет в другом обществе. Это поколение, оказавшееся на стыке двух эпох, особенное, потому что память этих людей многое сохранила, потому что для этих людей нет ничего раз и навсегда установленного. Например, мои дети родились при демократии, в развитом обществе и считают, что демократия — нечто само собой разумеющееся, а я — нет. Я родился при диктатуре. Я не считаю данностью экономическое процветание, так как жил в бедной отсталой стране. Мои дети думают, что техника существовала всегда. Я же смотрю на ваш магнитофон и вспоминаю, как выглядел первый, который мне довелось увидеть. Думаю, это подходящий материал для романа — смена эпох. Меняются времена, и это несет с собой изменение человеческих судеб.

Т. Р. В испанском школьном учебнике, в главе, посвященной современной испанской литературе, вас характеризуют как автора "поэматического, детективного, исторического, реалистического романа". Каково ваше мнение об этом определении?

А. М. М. Оно мне кажется абсурдным. Я не знаю, что значит "поэматический роман".

Т. Р. Я тоже впервые сталкиваюсь с таким определением.

А. М. М. Поэматический... это, видимо, означает, что ты тщательно работаешь над языком. Но язык не самоцель, он является инструментом. Подобно тому, как ваш магнитофон служит для записи голоса, язык служит для того, чтобы рассказывать истории, он не есть абсолютная ценность. Так что не знаю... Детективный? Наверно, когда-то в каком-нибудь рассказе или романе я обыгрывал элементы детективного жанра, но всего лишь обыгрывал.

Т. Р. А вы испытывали на себе влияние каких-либо литературных произведений?

А. М. М. Очень часто. Я сформировался под воздействием любимых книг. Одна из них — "Дон Кихот". Другая — "Письма Асперна" Генри Джеймса. Еще на меня повлиял Росс Макдоналд, он создавал детективные романы, в которых раскрывается преступление, совершенное за двадцать-тридцать лет до событий, описываемых в романе.

Также очень важным считаю влияние на себя Пруста, Фолкнера, Борхеса и Толстого.

Т. Р. Вам нравятся фильмы, поставленные по вашим книгам?

А. М. М. Ну, одни больше, другие меньше, но лучшим я считаю "Полнолуние".

Т. Р. И последний вопрос. Как вы представляете себе "своего" читателя? Есть ли у вас свой читатель?

А. М. М. Я этого не знаю. Думаю, прежде всего, это внимательный читатель. Вот вы мне говорили, что, читая "Блажен тот...", словно вошли в книгу. Как будто вошли в дом и там поселились. Мне хочется, чтобы читатель вот так жил в моих книгах. Мне не нравится слишком восторженный читатель, потому что восторженность может привести его к разочарованию. Мне не нравится чрезмерное восхищение, что-то вроде религиозного поклонения, которым иногда оборачивается увлечение литературой.

Т. Р. Фанатизмом...

А. М. М. Да, это мне не нравится. Иногда встречаются люди, которым очень хочется сказать: "Да не восхищайся ты мной так, не стоит". Я хочу быть читаемым, хочу, чтобы меня читали внимательно, но мне не нравится читатель, который пишет или говорит: "Вы оправдали мою жизнь" — вот этого не надо.

Т. Р. Чувствуете слишком большую ответственность?

А. М. М. Вот именно, ответственность. Читатель, который думает, что установил личную связь со мной, потому что прочитал то, что я написал, на самом деле устанавливает связь лишь с моей книгой, а вовсе не со мной, это существенная разница. Поэтому не люблю братания с читателем. Каждый на своем месте. Я сам по себе, и он сам по себе.

Т. Р. Чтобы вы писали, а он читал?

А. М. М. Вот именно.

Два голоса с разных краев

Стихи Андреса Санчеса Робайны и Андреса Трапьельо

Перевод и вступление Бориса Дубина

Андрес Санчес Робайна и Андрес Трапьельо — имена для читающих по-русски новые, поэтому позволю себе несколько коротких пояснений. Они — погодки и принадлежат как будто бы к одному поколению. Тем не менее поэты они совсем разные, и, насколько знаю, критики никогда их рядом не ставили.

Трапьельо — уроженец севера, он из небольшого селенья в провинции Леон и отмечен в испанской лирике последних десятилетий редким по нынешним временам вниманием к традиции (книга его стихов 1982 года так и называется — "Традиции"). С середины 70-х годов он живет в Мадриде, но его мир — глубинка, где время как бы остановилось, его поэтическая мысль чаще всего и движется внутрь, вглубь, в дом, к его мелочам. Один из любимых жанров его поэзии — эстамп, картинка такой замершей жизни. В его стихах часто слышны поэты начала XX века, связанные с провинцией, — галисиец Густаво Пиментель, баск Унамуно, скитавшийся по стране и умерший на чужбине Антонио Мачадо. Воспоминания о Гражданской войне, участником которой был его отец, много значат для Трапьельо и как поэта, и как историка национальной словесности.

Санчес Робайна — человек юга: он родился в небольшом городе на крупнейшем из Канарских островов. Его мир — атолл посреди синего океана и такая же синева над ним: его взгляд прямо-таки взмывает со скалы ("Скала" — название одной из его книг). Вместе с тем сквозной мотив у него — след, отпечаток на этой покинутой ради неба земле (Трапьельо же чаще привлекает, напротив, пыль, осевшая на вещах). Один из таких отпечатков для канарского поэта — слово, одинокое, затерянное, особенно в его ранних книгах, близких к графической поэзии, на несоизмеримых с мелкими литерами пространствах белой страницы. Достаточно взглянуть на географическую карту Канарских островов, чтобы понять, откуда у Санчеса Робайны этот мотив щепотки букв посреди смыкающихся вокруг пус-

© Andrés Sánchez Robaina, 2004
© Galaxia Gutenberg, 2004
© Andrés Trapiello
© Pre-Textos
© Борис Дубин. Перевод, вступление, 2011

тых и бесконечных просторов. Сам поэт не раз говорил о давлении окружающего пространства как постоянном чувстве островитянина и вместе с тем о всегдашней тяге островного узника к другому — ввысь, к небу, и вширь, к другим берегам и языкам (отсюда его тяга к переводам).

Если Трапьельо, условно говоря, традиционалист, то Санчес Робайна — опять-таки вполне условно и прежде всего в ранних книгах — скорее авангардист с тягой к предельному минимализму предельно же сконцентрированного выражения, а вместе с тем, как чаще всего и бывает в минимализме, поэт-метафизик. Трапьельо последовательно сторонится любой музыки и метафизики, предпочитая звуку и знаку вот эту осязаемую вещь, а в одном из стихотворений ("Предпочтения") и вовсе демонстративно заявив, что для него куда привлекательней "музыки и танца с их жеманными жрецами" попросту гигантская городская свалка. Тогда как для Санчеса Робайны разреженное, бестелесное и вместе с тем максимально насыщенное смыслом пространство музыки — это всё, и один из его любимцев здесь — Веберн, вместивший двухчастную симфонию в 10 минут звучанья.

Как видим, оба наших поэта — люди окраин, но окраины эти не спутаешь. Оба, как и вся поэзия, как искусство в целом, стремятся преодолеть бег времени, но опять-таки по-разному. Один — чтобы упразднить время, остановить его, замуровав в предмете, другой — чтобы стать самим временем, музыкой, открытой, говоря его словами, "как рана".

Андрес Санчес Робайна

Из цикла "Книга за дюной"

III

Оттуда, со страниц
книги, которая приоткрывается
в памяти, до меня долетает
шум деревьев в распадке между
отвесными склонами, где я бежал
по каменистой тропе
на закате, один, уходя все дальше от дома,
чтобы выцарапать на камне
под заговорщицким небом
собственные инициалы
и этим оставить знак
имени с его тайной.

А небеса повторяли
цвет земли.

VI

Босыми ногами идя по земле, ступая
по лозам будущего ноябрьского вина,
по каменистому дну сухого распадка,
по лучам, которые впитывала земля.

Нога оставляла след
на поверхности мира, мараясь
в залитой светом глине. И окуналась в канаву,
чтоб слиться в одно со светом.

Ноги впечатывались в лучи.
Солнце было не больше
стопы человека.

VII

Сириус или Капелла, Поллукс или Вега?

Сколько раз я видел ее, подрагивающую в высоте,
над горами, которые уже покрывала
ночная чаща, или, с руками под головой,
откинувшись навзничь
на августовский песок
неторопливой дюны, еще хранящей тепло,
и сколько раз мне хотелось
приоткрыть ее именем
азбучную тайну небес
и узнать то слово, которое выводили
снова затепленные светильни, ясную как день
тайну, начертанную запредельным огнем
на лучезарном выгибе подрагивающего неба.

М*адригал*

Голоса в просеках света ниспадающие в средоточие
медлящих просек в глубине только этот свет
чеканящий неподвижные очертания только
сплетенные нити света живая скала в глубине голосов
неподвижных как скалы свет распластывается в
полете свечение соли и ожившей скалы
отшлифованных незамутненными голосами голосами
в новых просеках ego dormio полет купальщицы
между скалами медлящего звучанья это запел сам
полдень проблеск в морской глубине соткавший из
света глазок между скалами отшлифованных
очертаний каждый шаг был как голос каждый глаз
был как голос вздымая иссеченную светом воду ego
dormio над светом в хордовой лаве взморья голоса
словно те же хорды контур перехлестнутый край
исполинской чаши ego dormio земноводное которое

дышит светом голосом света тем временем как в
морской глубине свет вздымает кораллы скал
вздымает хоралы скал вычерченных голосами et cor
meum и вот et cor meum горы в расщелинах
хордовых голосов горы в расщелинах света
незамутненные воды простерты над узким
пространством в ловушках солнца которое полнит
высокие голоса а те рассекают воду за выгнутыми
горами висящими силой света купальщица застывает
над скалами задохнувшимся земноводным ego dormio
ego dormio et cor meum vigilat[1]

Томасу Таллису[2]

1

Еще раз эти голоса с их темной
и ясной песней. Как они смогли
с такой неукоснительностью снова
вернуться к средоточью — ликованью,

которому конца нет? Вновь и вновь
я ставлю ту же запись "Spem in alium" —
напев, преображенный высотой
в прозрачный голос, словно веет просто

дыханье, поглотив людскую страсть,
и словно голос просто отдается
течению, и это говорят
земля и небо, растворясь в звучанье.

Теперь ты знаешь: музыка открыта,
как рана, вознося тебя волной
неиссякающего к средоточью
тебя и мира, растворенных песней.

Неосязаемо сквозят миры,
как раны, и волна спадает с неба

1. Цитируется латинский текст Песни Песней (5:2) — "Я сплю, а сердце мое бодрствует". Его перекладывали на музыку многие композиторы барокко, в данном случае имеется в виду мотет Клаудио Монтеверди. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Томас Таллис (1505/1514–1585) — английский композитор и органист, речь идет о его латинском мотете для сорока голосов на слова библейской Книги Иудифь.

на землю, от которой вновь и вновь,
восходит музыка, не иссякая.

2

Но, может быть, он все же иссякает,
хор этих звуков? Может ли иссякнуть
источник всякой ясности, откуда
до нас доходит всякий свет? Да, запись

заканчивается, но в нас гудит
беззвучная волна, и мы в потемках
квартиры словно слышим тишину
иную, тишину намного глубже,

волну истока в высоте миров.
Лишь тут я молча говорю: спасибо
за осязаемый, за несказанный
небесный хор, спасибо, Томас Таллис.

Эпилог

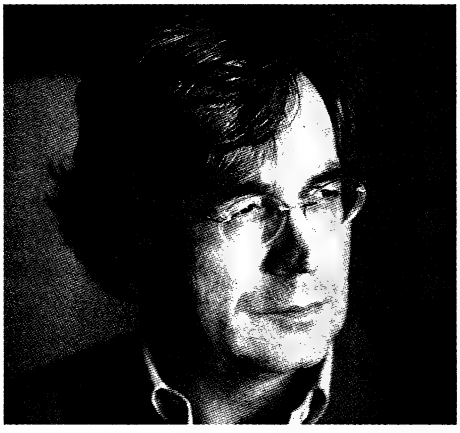
И так миновали дни. И годы.

И явилась Смерть, и прошла своей губкой
вдоль зарослей, и не осталось
никого из живых и даже полслова
ни об одном из живших.

Но в глубине все опять бурлило и закипало,
и вставали другие деревья,
и в пещерах роился свежий приплод,
и тканина не распускалась.

И они опять были здесь, со своей борьбой
и любовью, своей печалью
и радостью, и каждый считал их единственными,
сотворенными для него одного,
а это было все то же, ведь жизнь на земле
появилась только из крика боли,
который издал Господь,
и, когда крик повторялся,
строй этой жизни воссоздавал не новый Голос,
а отзвук,
блуждавший туда и обратно,
от бездны к бездне.

Андрес Трапьельо



Юноша

Жаркое лето, дубы,
поля золотого жита.
Главный колокол пробил
к вечерне. Под небесами грает
стайка средневековых ворон,
и один за другим собираются клирики
в крестьянских одеждах. Запах воска
в храмовых нефах, холод
старых камней.

Ты грустишь на плите,
юноша, словно рядом с тобой
подруга — не умерла, не спит,
просто ушла в себя, в свою тайную,
на тебя одного обращенную нежность.
Читать, мечтать, следить, как проходит время,
а мысли бегут как вода.
Вот она, вечность. Жить не живя.
Умереть не умирая. И слушать
далекий, как сердцебиение дня,
перезвон бубенцов в темнеющих тополях
и ручей в осоке.

Наставники ушли

Я вспоминаю шляпы с широкими полями,
ленты из черного и лиловатого шелка.
В высоких зеркалах со снятой фаской рам —

агония черных небес
над взморьями и городами,
сиротство в неприкрытом смысле слова.
Ни богов, никаких высоких материй.
Европа в мыслях занята другим.
Рим, Париж, Мадрид, Лиссабон,
провинции роз, —
царством смерти стал для них этот вечер
в тебе.
Они ушли, все старшие
собратья. По ним осталось поле,
рисунок лёта
и зазор в пространстве.
Они теперь в тебе, занозы, шип любви,
эти тени между тенями.
Оливы, пальмы, кипарисы,
наставники, наш родословный ствол.

E. D.

Вот я, взгляни. Мой рот затянут мхом,
крутой зимой здесь только снег бывает —
сядь рядом, путник.
Когда на плитах ливень
чеканит серебристые короны
и в кипарисах молча гаснет день,
мне снишься только ты. Но ты далёко.
Вот имя, прикоснись к нему, смахни
с померкших букв нападавшие листья
и скрюченные лепестки давнишних
цветов. Окликни же меня, скажи мне:
что́ ветер — неужели всё унес
или над полем вправду чем-то веет,
как будто розмарин зазеленел?

Бойцу на Эбро[1]

Посвящается Соледад

Что мы знаем
о вековых дорогах сквозь грязь и жижу?

1. Осенью 1938 г. в долине у этой реки на севере Испании войска республиканцев потерпели сокрушительное поражение.

Что мы можем вспомнить
о прошедшей войне,
о тех деревушках среди виноградных садов?
О тех деревенских плясках
на зеленых полях и о свете карбидок,
когда лишь святая вечерняя синева
остается меж старых, перезабытых надгробий?

Осень, ты моя осень.
Что мы знаем о той войне?
Скажи, почему синева, священная синева
напоминает о тех, кто уже никогда не вернется,
тех, кто ушли
стародавним утром
по вековым дорогам сквозь грязь и жижу?

Розы на День святого Сильвестра[1]

Шестьдесят лет назад, ровно в этот же день,
в Саламанке скончался дон Мигель де Унамуно.
Говорят, та зима была крайне жестокой,
хоть и не такой, как в следующем, тридцать седьмом
(Теруэль, перебои с едой, температура ниже нуля),
или еще через год, в феврале и марте
тридцать девятого, та, оставшаяся в памяти
беззвучным застенком страха,
когда каждый, босой, бездомный,
в отчаянье ждал конца,
а тот был только началом еще горших мучений.
Всего минуту назад, через шестьдесят лет
после той смерти, про которую ты не вспомнил,
ты принес из сада несколько роз,
если такое имя подходит
вот этим крохотным, эмалевым цветкам,
почти белым, одним бутонам,
еще не нашедшим форму.
Опускается вечер, голубоватый,
как дымка в глазах грудничка,
как призрак умершего,
в чьих глазницах — заледеневший пруд
со вмерзшими в него конькобежцами.
Тянется путеводная нить,

1. День святого Сильвестра — 31 декабря.

соединяя тот тридцать шестой, Унамуно
и эти крошечные цветы. Тайный путь,
проходящий через твоего отца, ту войну,
снег и вьюгу тридцать девятого,
и снег, который сейчас посыпает сад,
но так и не ляжет жестоким, жестким покровом
под ледяной рукой, пытающейся из этих роз
смастерить хоть маленький праздник,
единственную надежду.
Тайный путь, похожий на тебя самого,
пришедшего вот сейчас,
под вечер святого Сильвестра
в этот дом, который ты донимаешь расспросами
и который рассказывает о давнишнем,
об умерших, предчувствиях, озареньях
безо всякого вывода,
просто чтобы ты почувствовал:
жизнь — словно этот снег,
который еще не лег, а уже растаял.

Вот она...

Вот она,
пугающая смерть.
Конец подступил,
а у тебя так и нет ответа.
Хрустальный стакан,
цветок на столе
и боль, что уходишь,
а сердце не понимает
смысла трех этих
простейших
вещей.

Ана Мария Матуте

Рассказы

Перевод Надежды Мечтаевой

Тот, кого нет рядом

ВЕЧЕРОМ они поссорились. Легли в постель злые друг на друга.

Такое бывало с ними и раньше, но в последнее время ссоры вспыхивали особенно часто.

В деревне все — а уж о соседке, Марии Лауреане, и говорить не приходится — знали, что в семье у них неладно, и от этого было еще горше — не любила она сор из избы выносить.

Она лежала без сна, глядя в стену. Нарочно отвернулась от него — не хотела на него даже смотреть. Его тело тоже потихоньку отодвинулось, и сейчас он лежал на самом краю кровати. "Того гляди, на пол свалится", — встревожилась было она, но потом услышала, как он захрапел, и ненависть вспыхнула с новой силой. "Вот он всегда такой. Дикарь неотесанный. Бездушный грубиян". Он спал, а она все никак не могла уснуть. Лежала, не сводя глаз с беленой стены, отделявшей ее от всего мира — словно она сама себя заключила в тюрьму.

© Ana María Matute, 1961
© Надежда Мечтаева. Перевод, 2011

Несчастная она. Да, несчастная! Хотя бы сейчас, самой себе, признайся, наконец. И сама виновата — зачем вышла замуж без любви? Ее мать, простая женщина, крестьянка, не раз говорила, что выходить замуж без любви — грех. Но она была гордячкой. "Гордость всему виной. Хотела отомстить Маркосу, только и всего". Сколько себя помнила, она всегда была влюблена в Маркоса. Луиса почувствовала, как глаза наполняются горячими слезами. Она закусила губу. Ей вспомнилось время, когда она была юной и счастливой, несмотря на бедность. Лето... Сбор урожая... "Маркос". Вот они стоят возле окружающей сад стены — она и Маркос. Солнце сияет, слышно, как в канавах за стеной журчит вода. "Маркос..." Почему же все так вышло? Почему? Маркос женился на старшей дочери судьи — неуклюжей, туповатой девице, да еще и не первой молодости. А Маркос на ней женился. "Никогда не думала, что Маркос так поступит. Никогда". Но почему же, почему ей до сих пор так больно? Ведь столько лет миновало! Она уже, кажется, все забыла — все равно прошлого не вернуть. Да и не мудрено забыть — время, бедность, заботы и не такое из головы выбивают. "Из головы-то они выбивают... но старая боль еще таится где-то в душе, в самом потаенном уголке. И выплескивается наружу в такие минуты, как эта..." Потом она и сама вышла замуж. За Амадео. Он был нездешний. Нанялся работать на шахту. Бедняк из бедняков. На таких даже последние поденщики смотрели свысока. Плохое это было время. Она раскаялась уже в день свадьбы. Не любила она его и знала, что никогда не полюбит. Никогда. Ничего с этим не поделать. И вот что из всего этого вышло. "Неладно мы живем. Ох, неладно! У этого человека нет сердца. Бездушный, черствый, неотзывчивый. Можно быть бедным, но... Я сама из крестьянской семьи, но мы, крестьяне, люди воспитанные, чуткие друг к другу. Сердечные и участливые".

Да, сердечные и участливые. "И только этот!" В последнее время она часто ловила себя на том, что называет мужа "этот", вместо "Амадео". "Если бы у нас хоть ребенок был..." Но детей не было, хотя жили они уже долгих пять лет.

На рассвете она услышала, как он встает с постели. Услышала шаги на кухне, звяканье посуды. Подумала злорадно: "Завтрак себе готовит. Вот и пусть готовит сам. Не буду вставать". Ужаснулась: "Неужели я его ненавижу?" Думать об этом не хотелось. И она закрыла глаза. Мать всегда говорила: "Ненавидеть — грех, Луиса". С тех пор как мать умерла, ее слова, которые она прежде пропускала мимо ушей, стали казаться исполненными особого смысла, новыми и пугающими.

Амадео ушел на работу. Как всегда. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Потом поудобнее устроилась под одеялом и уснула.

Проснулась поздно и в плохом настроении. Кое-как прибрала в доме. Когда вышла во двор покормить кур, в дверь курятника просунулось лицо — "Вылитый хорек!" — Марии Лауреаны.

— Слышишь, соседка, у вас вчера опять крик стоял...

Луиса кинула на нее гневный взгляд: "А твое какое дело?"

Мария Лауреана довольно улыбалась: "Да ладно, брось. Мы тут все тебя понимаем. Все, поверь. Он тебя не стоит..."

Соседка еще долго что-то говорила тоном притворного сочувствия. Луиса стояла нахмурившись. Она не вслушивалась в слова Марии Лауреаны, но слышала ее голос, который вливался в уши, словно яд. Она знала все, что ей скажут. Она уже привыкла.

— Брось ты его, брось... Уходи к своим сестрам, и пусть живет, как хочет.

Эта мысль раньше не приходила Луисе в голову, но сейчас она ухватилась за нее: "Вернуться домой!" Снова взяться за крестьянский труд? А что? Разве она к нему с детства не привыкла? "Освободиться от 'этого'. Уйти от него". Ее захлестнуло странное чувство: она торжествовала победу, но радость была горькой. "Надо подумать", — сказала она сама себе.

Однако все вышло совсем по-другому: домой не вернулся он.

Сначала Луиса не придала этому значения: "Вернется, куда денется". Но прошло уже два часа с того времени, когда он обычно входил в дом. Два часа — а его нет как нет. Она уже давно приготовила ужин и теперь сидела у двери и лущила фасоль. На бледно-голубом небе сияла прекрасная бездушная луна. Гнев Луисы превратился в тоску, и тоска эта проникала все глубже в сердце. "Несчастная я, несчастная!" В конце концов, она поужинала одна. Подождала еще немного и легла спать.

Проснулась Луиса на рассвете от вдруг охватившего ее страха. В постели рядом с ней никого не было. Она поднялась и босиком прошла на кухню. Ужин Амадео стоял нетронутый. В домишке царила тишина. В груди у Луисы похолодело, но она лишь пожала печами и сказала сама себе: "Ну и черт с ним! Пусть убирается со своими причудами!" Потом снова легла в постель и подумала: "Он всегда ночевать приходил". В деревне редко кто из мужчин всякую ночь проводил дома: все пили в таверне, иногда напивались до бесчувствия. Но "этот" — что правда, то правда — так не поступал никогда. Да что там говорить: странный он, и весь сказ.

Она попыталась уснуть, но это ей не удалось. Слушала, как бьют часы на церкви и думала о небе, залитом лунным светом, о реке, о себе. "Несчастная. Несчастная, и все!"

Наступило утро. Амадео не возвращался. Не вернулся он и на следующий день. И через день. Острая мордочка Марии

Лауреаны возникла в дверном проеме: "Эй, соседка, что происходит? Люди говорят, будто Амадео на шахте не появляется. Ох, дождется — уволят его!"

Луиса побледнела. Почувствовала, как слабеют ноги. "Это от ненависти, — подумала она. — Только от ненависти". И, глядя в глаза Марии Лауреане, пожала плечами: "Я про то не знаю. И знать не хочу". Повернулась спиной к соседке и снова принялась за работу.

— Может, оно и к лучшему, — не унималась соседка. — Сколько ты с ним горя хлебнула!

Мария Лауреана ушла, и Луиса снова осталась одна. Совсем одна. Силы покинули ее, и она опустилась на стул. Нож выпал у нее из рук и глухо стукнулся о пол. Ей было холодно. Очень холодно.

За оконцем кричали стрижи, журчала по камням река. "Это ты виноват, Маркос, ты! Потому что Амадео..." И вдруг ей стало страшно. Так страшно, что у нее задрожали руки. "Амадео меня любил. Да, любил". Разве могли быть в этом сомнения? Амадео был грубым, молчаливым, мрачноватым... Нежностей от него ждать не приходилось. Он не любил рассказывать о прошлом, но из тех немногих фраз, что он обронил, она поняла, что у него было тяжелое детство и безрадостная юность. Амадео был беден и зарабатывал на жизнь — себе, ей и детям, которых они могли бы иметь — непосильным трудом, подрывавшим его здоровье. А она? Была она ласкова с ним? Пожалела его хоть раз? Понимала его?

Она посмотрела на его стул, на его нестираную одежду, на стоявшие в углу ботинки с налипшей на них грязью и почувствовала, как к горлу подкатывает комок: "Если он меня любил... А вдруг он себя жизни лишил?" Кровь прилила к вискам. "А что, если и вправду?" И она больше никогда о нем не услышит? Никогда не увидит его? Никогда не будет он сидеть, задумавшись о чем-то, рядом с ней у огня — огромные руки сцеплены в замок, черные волосы упали на лоб. Усталый, печальный... Печальный! Как же она раньше об этом не задумывалась? По ее щекам покатились слезы. Она думала о сыне, которого у них не было, о склоненной голове Амадео. "Он всегда был печальный. Печальный и неразговорчивый. И в детстве был такой же — грустный, забитый мальчик. А я? Кем я была для него?"

Она вскочила со стула и бросилась к двери. Со всех ног побежала к шахте. Добежала, задыхающаяся, потная. Нет, никто его не видел. Никто ничего не мог сказать. Мужчины смотрели на нее сурово, в их глазах она читала упрек. Ей было стыдно.

Луиса вернулась домой, бросилась на кровать и расплакалась: она потеряла своего спутника жизни. "Он — единствен-

ное, что у меня было в этом мире". Так что же: выходит, его присутствие было для нее важно? Очень важно?

В отчаянии прижимала она к груди грязную одежду и испачканные ботинки мужа. "Его присутствие. Его молчание. Его склоненная голова, полная воспоминаний. Его взгляд". Его тело рядом с ней в постели ночью. Большое темное тело, полное жажды, которой она не понимала. Это она была бессердечной и грубой. Это она думала только о себе. Его присутствие рядом... Ладно, пусть. А любовь? Разве она не важна? "Маркос..." Снова нахлынули воспоминания. Но сейчас они стали бледными, расплывчатыми, холодными... Так что ж любовь? Важна она или нет? В конце концов, она сказала себе: "Да кто его знает, что такое любовь! Выдумки это все!"

В доме было пусто. Она была одна.

Амадео вернулся. Было уже совсем поздно, когда она увидела его, устало шагавшего к дому. Луиса бросилась к двери. Лицом к лицу застыли они на пороге, глядя в глаза друг другу, не в силах вымолвить слова. Он был грязный и усталый. Наверняка голодный. Она думала лишь об одном: "Он хотел уйти, бросить меня, и не смог. Не смог. И вернулся".

— Входи, Амадео, — сказала она со всей нежностью, какую способна была вложить в свой грубый крестьянский голос. — Входи, а то я тут уже вся извелась.

Амадео сглотнул, обнял Луису за плечи, и они вошли в дом.

Сокровище

МАРСЬЯЛЬ арендовал землю у Лукаса Медиодиа. Участок был далеко, за рекой, на границе с землями Пинаресов. Было Марсьялю лет сорок. Он жил холостяком, с матерью, пока та не умерла, в старом полуразрушенном домишке у дороги.

Он слыл весельчаком и любителем выпить, хотя, по общему мнению, "не злоупотреблял". Без него не обходилось ни одно торжество, а в мае, в День Святого Креста, его не раз выбирали *качибиррио* — предводителем праздника, и мы до сих пор помним, как он танцевал: красный шелковый платок на поясе, в руках украшенный разноцветными лентами посох.

Марсьяль был трудягой, но зарабатывал мало.

К нам, детям, он относился с трогательной нежностью. У него всегда находилось для нас угощение — терн, сливы, соты диких пчел: он знал, что это были запретные и оттого еще более желанные лакомства. Он помнил бесчисленное множество историй про лиса и кролика. Он умел плести силки и де-

лать дудочки из конопли. Мы его очень любили и частенько прибегали в домишко у дороги, когда Марсьяль приходил с работы.

Он встречал нас приветливо — жители гор всегда по-особенному вежливы друг с другом, и мы хорошо понимали эту вежливость, хотя она и отличалась от той, которой учили нас. Пока Марсьяль, голый по пояс, мылся у колодца, растираясь куском холстины, он здоровался с нами, обращаясь к каждому по имени, ни разу не забыв и не перепутав ни одного и строго соблюдая порядок: начинал всегда с самого старшего и заканчивал самым маленьким.

Иногда он расспрашивал нас о городе и, выслушав наши невнятные ответы, некоторое время сидел задумчиво, покачивая головой.

— Ты хотел бы жить в городе? — спросил его однажды мой старший брат.

— Не знаю, — отвечал Марсьяль, почесывая бровь. — Там, поди-ка, все не как тут.

И вдруг Марсьяль переменился. Мы узнали об этом в начале лета, когда вернулись в деревню после долгой зимы, проведенной в городе. Первые сведения поступили, как водится, из кухни. Стоило переступить ее порог, и ты оказывался во владениях Марты и служанок, а выйдя за калитку и спустившись к конюшне и коровнику, понимал, что ты в другом мире — в мире гор. Тому, кто преодолел эти два рубежа, открывались все тайны и разгадки всех загадок.

И о переменах, происшедших с Марсьялем, мы узнали там же.

— Он теперь не тот, что был, — говорил старшина арендаторов Марино. — От прежнего Марсьяля и следа не осталось. Ходит мрачный, невеселый. Точно сглазили его.

— Ничего и не сглазили, — возразила Марта. — Это его жадность сгубила.

Мы навострили уши. И вскоре уже знали: у Марсьяля появилось сокровище, и он боится, что это сокровище у него украдут.

— Сокровище?! — мы рты раскрыли от изумления. — Какое сокровище, Марино? Расскажи!

— Большое сокровище, — назидательным тоном произнес Марино, сворачивая папироску. — А нашел он его, когда землю копал.

— А тебе откуда об этом известно? — недоверчиво спросил мой брат.

— Да уж известно, — медленно, глядя прямо ему в глаза, ответил Марино. — О таком люди всегда узнают, паренек. Гово-

рят, Марсьяль откопал горшок, полный золотых монет, и вот с тех пор он и лишился покоя. Наверное, спрятал горшок где-нибудь у себя дома, и теперь у него вся радость пропала: живет в страхе, что его ограбят. Всем повторяет, что у него ничего нет, и приходит в бешенство, стоит кому хоть слово сказать. Как примет пару рюмок, так и начинает твердить: "Ничего я не нашел, отвяжитесь от меня! Ничего я не нашел!" И вот это-то хуже всего: никто его не спрашивает, а он все о своем талдычит. И с каждым днем все хуже. Это уже не тот Марсьяль, какого вы знали, детишки. И лучше вам к нему не ходить — добром он вас не встретит.

Мы были поражены рассказом Марино, но все же не последовали его совету и на следующий же день, едва дождавшись часа, когда Марсьяль обычно возвращался с работы, отправились в домишко у дороги.

Поднимаясь по склону, мы, как обычно, громко звали старого друга. Марсьяль сидел у двери своей лачуги. И первое, что нам бросилось в глаза, было хмурое и серьезное выражение его лица. Оробев, мы остановились, а он сказал нам: "Шли-ка бы вы домой, мелюзга. Некогда мне с вами возиться".

Да уж, Марсьяль изменился сильно. Огорченные, мы зашагали обратно.

Еще пару раз мы пытались возродить былую дружбу с Марсьялем и каждый раз возвращались домой ни с чем. Мои братья вскоре забыли обо всем этом и занялись другими делами, а я не могла забыть, меня эта история тревожила. Я все время думала о Марсьяле и донимала Марино расспросами:

— Почему он говорит, что никакого клада он не нашел? Почему, Марино?

— Потому как нашел он его на земле Лукаса Медиодиа и теперь, видно, боится, что хозяин у него это сокровище потребует.

— А он требовал?

— Лукас-то? Да нет, Лукас в клады не верит, — в голосе Марино прозвучало некоторое пренебрежение.

Несколько раз я видела Марсьяля в таверне и не могла не заметить, что пил он куда больше, чем прежде. И что, как говорила Марта, "вино обратилось против него". Из таверны он выходил злым и раздраженным. Цеплялся к встречному и поперечному, и дело не раз кончалось потасовкой.

А раньше, бывало, выпив вина, он пел песни. Очень красивые, хотя и немного грустные.

И вот однажды случилось то, чего опасалась Марта: ночью в дом к Марсьялю забрались какие-то люди, оглушили его ударом по голове и перерыли весь дом. Весть об этом разнеслась по округе мгновенно. И вскоре перепуганная Марта рассказы-

вала: "Помнишь беднягу Марсьяля? Ну, того, что клад нашел? Вот беда-то с ним приключилась! Забрались к нему воры, стукнули палкой по голове, чуть не убили! Все перерыли, все перевернули. Даже кирпичи из пола вывернули!

— А сокровище нашли?

— Не знаю. Никто не знает. А он только плачет и все клянется, что никакого сокровища у него нет. А уж правда то или неправда — кто знает!

Из-за разбитой головы Марсьяль пролежал несколько дней, и дедушка, зная, что тот живет один, поручил Марте наведываться к нему и снабжать всем необходимым. Я упросила Марту брать меня с собой, хотя и знала, что дедушка рассердится, если узнает.

Мы каждый день приходили в домишко у дороги и помогали Марсьялю чем могли, а он лежал с перевязанной головой и, пока Марта прибирала в доме и готовила ему еду, все жаловался, словно ребенок. В те дни он и впрямь походил на ребенка. Или на птицу.

Воров вскоре нашли: ими оказались сыновья Марии Антонии Луке — двое мальчишек четырнадцати и шестнадцати лет. Они во всем признались. Сказали, что хотели украсть сокровище Марсьяля, но не нашли его. Жандармы забрали их и увезли, а Марта все рассказала Марсьялю. Он к тому времени чувствовал себя уже намного лучше и, когда Марта умолкла, сел на кровати и заговорил:

— Марта, закрой хорошенько дверь. Я хочу кое-что сказать тебе и девчушке. Вы ко мне обе были добры.

Марта, сгоравшая от любопытства, сделала, как он просил, и мы обе уселись и приготовились не пропустить ни слова из того, что услышим.

— Сокровище существует. Я и вправду нашел клад, — начал Марсьяль. — Чертов клад! От него мне одни несчастья! Так вот, Марта, это свое сокровище я отдаю тебе. Чтоб ты им распорядилась, как посчитаешь нужным.

— Да ты что! Что ты такое говоришь? — Марта в испуге закрыла лицо фартуком. — Как я могу его взять? Да и боюсь я твоего сокровища.

— Не будь дурой. Сделай, как я прошу. Ты ведь наверняка знаешь, кому оно могло бы пригодиться...

— Тогда расскажи все хозяину. И пусть он распорядится. А мы в денежных делах ничего не смыслим.

— Хозяин! — произнес Марсьяль таким тоном, словно говорил о солнце, дожде или о бескрайних чужих землях. — Для хозяина никакое сокровище не сокровище.

Он поднялся. Подошел к комоду и выдвинул один из ящиков. Засунул в него руку, пошарил там и вынул дощечку — у

ящика было двойное дно, под ним-то Марсьяль и хранил свое сокровище.

Он еще раз пошарил в ящике, потом погрозил нам кулаком:

– И поклянитесь, что никому не расскажете!

Марта перекрестилась, и я сделала то же самое.

– Клянемся, – дрожащим голосом произнесла Марта. – Клянемся и обещаем раздать все тем, кто нуждается.

Марсьяль медленно разжал кулак – и на его широкой загрубелой ладони блеснула золотая монета.

Праздник

ОНА была дочерью одной из служанок алькальда и какого-то угольщика, из тех, что незаконно жгут в лесу уголь и портят деревья. Угольщик сбежал после того, как подрался на ножах со своими дружками, а бедная женщина, с малюткой на руках, снова пришла в дом алькальда.

– Возьмите меня, возьмите ради Бога, – молила она. – Возьмите хотя бы только за харчи.

Алькальд не сразу, но – недаром он слыл в округе человеком мягкосердечным – все же согласился принять бывшую служанку обратно на предложенных ею условиях. Его жене очень понравилась девочка – крепенькая улыбчивая кроха, которой было в ту пору всего-то месяцев восемь. Своих детей у хозяев еще не было, и появление в доме малышки было им в радость.

Девочке дали красивое имя – Элоиса – в честь святой, в день которой она родилась. Жена алькальда приходила навещать ее на гумно во время обмолота: мать работала, а девочка лежала под раскрытым зонтиком рядом с корзинкой, в которой дожидались обеденного часа еда и вино.

– Элоиса, Элоиса, – повторяла жена алькальда – ей нравилось произносить красивые слова. Она смотрела на босые ступни девочки, на ее слюнявый рот и гладила ее по головке.

Когда Элоиса уже бегала на своих коротких крепких ножках, жена алькальда забеременела. Зимой, сразу же после Рождества, у нее родился сын – крупный мальчик с красноватой кожей. По всему было видно, что он станет таким же славным парнем, как и его отец. Крестины устроили самые пышные. Крестными стали барон и баронесса – специально приехали для этого из своего поместья в красной двуколке. Угощение было на славу, а всех детей из школы напоили горячим шоколадом с булочками. Мальчика назвали Элеутерио Рамиро Грасиан, и он затмил для алькальда и его жены весь мир.

Элоиса теряла одну привилегию за другой. Через месяц после рождения Элеутерио ей запретили подниматься в покои хозяйки — теперь все свое время она должна была проводить на кухне или в чулане, где хранился инвентарь. Если погода была хорошая, она бегала по огороду — тогда хозяйка не могла ни видеть ее, ни слышать ее криков. Мать смотрела на девочку с порога долгим задумчивым взглядом, опустив усталые руки и прислушиваясь к звукам, доносившимся с верхнего этажа.

— Потише, Элоиса, хозяева услышат!

Мариано, старшина арендаторов, хмурился и укоризненно качал головой: "Это у собак хозяин, а ты не собака!"

Но она только виновато улыбалась.

Элоиса росла быстро. В десять лет ей давали четырнадцать. У нее было крупное тело и толстые ноги, большая голова на массивной шее и ярко-синие, как цветы гелиотропа, глаза. Ее толстые губы всегда были растянуты в улыбке.

— Бедная девочка, — жалели ее кухарки, арендаторы, сезонные рабочие и даже старьевщики, что заходили с черного хода передохнуть и выпить стаканчик вина.

Элоиса говорила мало и очень медленно. Смотрела пристально и доброжелательно и не умела ни читать, ни писать.

Мариано, старшина арендаторов, не раз говорил ее матери: "Отвезла бы ты ее к врачу. Люди говорят, в Миланийо есть один, хороший..."

Женщина молчала, уставясь в пол. Потом пожимала плечами и отвечала: "Нельзя ее вылечить, потому что она не больная. Она просто глупенькая, вот и все".

Мать Элоисы простыла и тяжело захворала. У нее был сильный жар, ей нужно было лежать в постели — но кто же будет за нее работать? И она работала из последних сил — коса кое-как заплетена, глаза лихорадочно блестят... С каждым днем ей становилось хуже, и через два месяца, в самом начале весны, она умерла.

После похорон Мариано обратился к алькальду: "Надо бы подумать о девочке". — "О какой девочке?" — "Я об Элоисе говорю, дочке умершей служанки". — "А, да! — припомнил алькальд. — Поговорите об этом с моей женой. Она что-нибудь придумает".

Жена алькальда долго размышлять не стала: "Не знаю я, что с ней делать! У меня своих детей полно, и с ними забот хватает. До чужих ли мне?" — и, рассудив, что неуклюжая, бестолковая и грубоватая Элоиса не сможет быть ни кухаркой, ни швеей, но что, с другой стороны, она сильнее и выносливее любой из ровесниц (в свои двенадцать лет Элоиса выглядела как взрослая женщина, и поднимала тяжести наравне с

мужчинами), приняла решение: "Определим ее в пастушки. Пусть пасет овец".

Ее отправили со стадом в горы. И Элоиса была счастлива. Она часами лежала на траве, глядя в небо. Новое занятие она освоила быстро. Вот только разговаривать ей было совсем не с кем. Впрочем, она и когда в доме жила, почти всегда молчала.

Каждую неделю парнишка посыльный приносил ей провизию, а один раз в три месяца она сама спускалась в деревню.

Прошло время. Элоисе исполнилось пятнадцать. Было начало мая, и в деревне готовились к празднику, который проводился в это время каждый год. Элоиса в очередной раз спустилась в деревню. Она сидела на кухне и ела похлебку, когда вошел хозяин. Заметив Элоису, он улыбнулся и некоторое время с видимым удовольствием разглядывал ее.

— Это Элоиса, — сказала Мануэла, одна из работниц.

— Да-да, Элоиса, — подтвердил хозяин. — Когда-то я держал тебя на руках, и ты была совсем крошкой. А теперь вон какая вымахала. Боже мой! Совсем большая! — он погладил Элоису по голове, и та заулыбалась, покраснев от смущения.

— Ты уже взрослая теперь. Пора и о женихе подумать. Мануэла, какое у нас сегодня число?

— Пятнадцатое. Через четыре дня праздник.

Элоиса быстро подняла голову и уставилась на хозяина, раскрыв рот.

— Послушай, девочка, что я тебе скажу: в этом году ты тоже пойдешь на праздник. Спустишься в деревню накануне вечером. Ты любишь праздники?

Элоиса сидела красная, как мак. Она только кивнула в ответ. А Мануэла засмеялась: "Да что она знает о праздниках, если ни на одном не была? Разве что когда была совсем маленькой. Так с тех пор она все позабыла".

И вдруг Элоиса заговорила. Отчетливо и медленно, словно сама себе удивлялась: "Не позабыла. Я помню. Приезжали старьевщики и тележки с персиками. И были сладости. И еще — музыка".

Алькальд кивнул, подтверждая: "Все так. Значит, договорились: будут тебе музыка и танцы, Элоиса. Глядишь, и жениха себе хорошего найдешь. А коли так — то скоро свадьбу сыграем. Обещаю устроить тебе хорошую свадьбу, Элоиса. Твоя мать была добрая женщина".

Глаза Элоисы наполнились слезами. Алькальд вышел, а Мануэла повернулась к девушке и, всплескивая руками, принялась повторять: "Ай, детка! Ай, детка!" — и она хлопнула Элоису по спине ладонью, не зная, как еще выразить свою радость.

С этого момента Элоиса жила как в счастливом сне. Она собрала все, что должна была взять с собой — уложила в ко-

томку смену белья, хлеб, вяленое мясо, чеснок, — тщательно расчесала жесткие и непослушные черные, как уголь, волосы, надела белые шерстяные носки и новые башмаки, и все это словно во сне, словно овеваемая легким ветерком, одновременно ласковым и враждебным. В груди ее разгоралось чувство, которое лишало ее покоя. Оставшиеся до праздника три дня она пролежала на траве, глядя в небо, бросая ввысь один за другим мелкие камушки, которых у нее были полные горсти, и широко, счастливо улыбаясь. "Праздники, праздники, свадьба, праздники..." — думала она. Ее словно жгло изнутри огромное колючее солнце. Оно причиняло боль, наполняло сердце тревогой, но открывало новый мир — незнакомый и странный. "Как девушки из деревни. Как все девушки из деревни. Будет большой праздник на мою свадьбу. Как я люблю праздники". Ни о чем другом она думать не могла. Прежде с ней такого никогда не случалось.

Вечером девятнадцатого она спустилась в деревню. На небе уже зажигались звезды, когда она подходила к дому. Разрумянившаяся, сияющая, вошла она на кухню, где ее радостно встретили Мариано и служанки.

— Вот и наша красавица, о которой завтра будет говорить вся площадь! — воскликнул Мариано и осушил за здоровье Элоисы стаканчик душистого красного вина.

— Да уж, на нынешнем празднике в танцах тебе равных не будет! — подтвердила Маргарита, кухарка. — Только вот просьба у меня к тебе, детка. Завтра в доме яблоку негде будет упасть: все родственники алькальда соберутся и еще тысяча всяких дармоедов, что притаскиваются сюда каждый праздник. Выручишь меня? Весь день и весь вечер — твои, а утром, будь добра, помоги мне на кухне.

Элоиса кивнула:

— Танцы — это я хочу. Я хочу танцы.

И все рассмеялись.

Утро следующего дня выдалось солнечным и жарким. Колокольный звон разбудил Элоису часов в шесть. Она босиком прибежала на кухню, где уже вовсю трудились женщины.

— Прикройся, бесстыдница: не ровен час мужчины зайдут!

Элоиса весело протопала к умывальнику и долго терла себя мочалкой. Переоделась в чистое. Подошла к зеркалу, которым пользовались служанки. Стояла перед ним, раскрасневшаяся, нескладная. Глядела в собственные синие глаза.

Утро, как и обещала Маргарита, было суматошное. Элоисе пришлось переделать кучу дел: она носила воду и дрова, чистила картошку, следила, чтобы не подгорели хлеб, лепешки и пирожки, мыла посуду, убирала, приносила и уносила... Потом помогла накрыть в саду большой стол на двадцать семь чело-

век гостей. Конечно, ей помогали Мануэла и ее четырнадцатилетняя дочь Филомена, и все же, когда, наконец, прислуга села обедать — было уже часа четыре пополудни, — Элоиса выглядела усталой, а от ее румянца не осталось и следа.

Мариано, взглянув на нее, покачал головой: "Ой, дочка, боюсь, на танцы тебе силенок не достанет".

— Да будет тебе, — махнула на него рукой кухарка. — А то ей привыкать туда-сюда бегать! Небось, когда стадо пасет, целый день по горам носится. Она женщина, и ей нужно учиться делать домашнюю работу. Хотя бы и раз в год.

— Хорошая сиеста — и к вечеру будет свежее розы, — посоветовала Мануэла и положила в рот большой кусок.

Элоиса улыбнулась. Ей не хотелось есть, хотя соблазнительные ароматы праздничных кушаний щекотали ей ноздри все утро. В висках у нее беспокойно стучало: "...Сегодня праздник. ...Сегодня праздник..." Утром она не смогла пойти в церковь — слишком много было работы, — но колокольный звон слышала. Ей казалось, что он до сих пор отдается у нее в ушах.

Обедали на кухне шумно и весело. Вино текло рекой, и Элоиса тоже его попробовала. Вино ей понравилось: от него внутри делалось так же приятно, как от слов хозяина, когда он говорил о празднике. "Уже скоро. Уже совсем скоро".

После обеда женщины принялись мыть посуду — возле моек высились уже целые горы. Мужчины устроились в патио — курили, потягивали анисовую настойку. Хозяева уже давно поднялись к себе поспать часок-другой.

Элоисе тоже хотелось спать. От усталости у нее слипались глаза, и кухарка, посмотрев на нее, сказала: "Поди приляг, девочка. Ты за сегодня уже наработалась. Поспи немного, а то как вечером танцевать будешь?"

— Нет, нет! — мотала головой Элоиса, но кухарка уже легонько подталкивала ее к двери.

— Давай, ложись на мою кровать. Раньше шести музыка все равно не начнется.

Уже в полусне добрела Элоиса до комнаты служанок. Воздух здесь был спертый, не такой, как в пастушьей хижине в горах. Не раздеваясь, упала она на железную кровать и заснула. Сон ее был глубокий и тяжелый — сон дикого зверя или ребенка, чье детство затянулось на долгие годы.

В шесть часов служанки пришли к себе принарядиться перед праздником. Элоиса спала. Она дышала ровно, грудь ее медленно поднималась и плавно опускалась.

— Не трогайте ее, — сказала кухарка. — Пускай себе спит.

— Интересно, сколько она проспит? — засмеялась дочка Мануэлы Филомена.

— Посмотрим!

Когда служанки вышли из дома — волосы еще влажные после мытья, каблуки начищенных туфель вразнобой весело стучат по камням мостовой — и повернули на улицу, что вела к площади, до их слуха донеслись первые звуки музыки. Будто свежий ветерок охладил лица, разгоряченные вином и работой.

Вечер пролетел незаметно. Когда служанки вернулись домой, чтобы приготовить ужин, было уже часов десять. И только тут Мануэла вспомнила об Элоисе.

— Пресвятая Дева! А девчушка-то!..

Женщины переглянулись — всем стало неловко. Только Филомена прикрывала рот рукой, чтобы не засмеяться. Она на цыпочках вошла в комнату, где спала Элоиса, и вскоре вышла: "Спит! Еще не проснулась".

Некоторое время все молчали. Потом кухарка пожала плечами: "Оставьте ее в покое. Чего уж там. Пусть хоть выспится".

После ужина все снова вернулись на площадь. Праздник закончился далеко за полночь.

Элоиса проснулась часов в пять утра. За окном было уже почти совсем светло. Она села на кровати и испуганно огляделась по сторонам. Набухшие красные веки нависали над синими гелиотропами ее глаз.

— Маргарита... — позвала Элоиса кухарку, которая похрапывала рядом с ней.

Та лишь что-то пробормотала во сне, и Элоиса принялась трясти ее за плечо.

— Маргарита! Уже пора идти на праздник! — голос у нее дрожал.

Кухарка открыла один глаз и сонным голосом проговорила: "Какой еще праздник! Праздник давно кончился. Ты проспала весь вечер и всю ночь... Кончился праздник!"

Элоиса застыла неподвижно, уставясь в стену. Маргарита приподняла голову с подушки и посмотрела на нее ласково:

— Ну, дочка, не расстраивайся! Через год праздник вернется. Поспи. У тебя еще час есть.

Но Элоиса уже медленно поднималась с постели. Она обулась, накинула на голову платок и ушла к себе в горы.

Два дня спустя мальчик, который принес Элоисе провизию, нашел ее мертвой. Она лежала на траве, и глаза ее были устремлены в небо.

Доктор сказал, у нее что-то случилось с сердцем. Наверное, слабое было. Но Мануэла всем, кто ее об этом спрашивал, отвечала: "Бедная девочка! Ее сгубила тоска-кручина".

Хуан Хосе Мильяс

Рассказы

Перевод Марины Киеня

Незримый ущерб

Ну, дела. Здесь, совсем неподалеку, за два дома от того особняка, в котором недавно поселились мы с женой и детьми, мне довелось тридцать лет назад пережить неповторимое любовное приключение.

Я был весьма своеобразным юношей, поскольку ни минуты не сомневался, что стану сказочно богат, как только пожелаю (так оно, собственно, и вышло), и уверенность эта давала мне возможность свободно распоряжаться своим временем не в пример моим друзьям и приятелям, трудившимся в поте лица во имя довольно утомительного будущего. Я же шел по жизни легко, учился тому и сему: играть на бильярде, например, или готовить коктейли — и надо сказать, приобретенные навыки в дальнейшем здорово мне пригодились.

Одним из таких занятий, призванных скрасить мой досуг, являлось воровство в крупных универмагах. Булавки для галстуков, запонки, брошки, ремни, ручки, носки, книги, пластинки, иногда пара ботинок — подобные мелочи я предпочи-

© Juan José Millás, 1994
© Марина Киеня. Перевод, 2011

тал более ценным, но более труднодоступным вещам. В этих вылазках меня меньше всего привлекала добыча: ее я потом щедро раздаривал направо и налево. Куда интереснее был сам риск, возможность бросить вызов закону и противопоставить свой скромный талант мощной империи, по чьей территории, точно обезумевшие муравьи, сновали туда-сюда сотни людей, нагруженных пакетами.

А я не спеша бродил по галереям, насквозь пронизанным эскалаторами и шахтами лифтов, и чувствовал себя бесконечно далеким от законов рынка, поработивших всех этих мужчин, женщин и детей. С диким выражением на лицах ощупывали они товары, изучали ценники — непонятно, как такие вещи могли кому-то нравиться и, главное, зачем за них столько платить! По-моему, если уж тебе что-то приглянулось, лучше добыть это менее обременительным способом.

Ну да, я не похож на других и всегда получаю желаемое без особых усилий. Такая природная легкость неизменно порождала между мною и окружающими некую отчужденность, которая мало способствовала созданию доверительных отношений. Помнится, в школьные годы одноклассники с ума сходили по каким-то забавным перьевым ручкам. Они месяцами откладывали деньги, терпеливо дожидаясь возможности приобрести вожделенную вещицу — удивительно, и как им только не перехотелось? Я поступил куда проще: пошел в субботу в универмаг и эту ручку стащил.

Многие могут счесть подобное увлечение опасным, но уверяю вас, они заблуждаются, по крайней мере, в моем случае. Я лично всегда пребывал в абсолютной уверенности, что все обойдется, и, действительно, никаких неприятных сюрпризов жизнь мне до сих пор не преподносила.

Тем не менее однажды, во времена далекой юности, на втором этаже крупного универмага со мной приключилось-таки одно необычное происшествие. Я только что сунул в карман булавку для галстука, как вдруг затылком ощутил чей-то внимательный взгляд и насторожился. Обернулся и увидел ничем не примечательного типа в сером костюме. Сквозь толстые роговые очки он пристально следил за каждым моим движением. Ну конечно, охранник, догадался я и решил потихоньку сматывать удочки.

Однако же очкарик оказался не промах и не отставал ни на шаг, стараясь при этом не привлекать внимания многочисленных покупателей. В отделе сантехники мне удалось было оторваться, но через пару минут его силуэт вновь замаячил за пластиковой занавеской для ванны. Я-то знал, что меня так просто не поймаешь, и кинулся удирать по узкому проходу между развешенными коврами, пока не очутился в отделе мебе-

ли. Там стоял огромный трехстворчатый гардероб сложной конструкции, в который я, не задумываясь, и вошел, точно к себе домой.

Просторное чрево шкафа состояло из нескольких темных отсеков, соединенных между собой гулкими переходами. По этим переходам долетали до меня неясные звуки извне, повисали ненадолго в воздухе, отражались от стенок и, наконец, затихали, опустившись на пол. Но в целом, за деревянными дверцами было довольно спокойно и уютно, они словно защищали меня от царившего кругом безумия.

Я наслаждался уединением, оценивал акустические и оптические особенности своего нового убежища, как вдруг шкаф закачался, и снаружи послышались реплики, из которых стало ясно, что его собираются куда-то перевозить.

Затем раздались крики грузчиков, пол ушел у меня из-под ног, гардероб накренился, вздрогнул, тревожно задышал, и я понял, что мы находимся в грузовике и направляемся неизвестно куда. Судя по разговору, приглушенному шумом мотора, в кузове ехали, по меньшей мере, еще двое рабочих.

Я был совершенно оторван от внешнего мира и потому не могу сказать, сколько длилось путешествие, но вот машина остановилась, шкаф снова затрясся, а грузчики опять загалдели. Только теперь к хору мужских голосов присоединился женский — видимо, хозяйка давала указания рабочим, советуя аккуратнее обходить углы и не задевать дверные косяки. Еще несколько резких толчков, и шкаф водворился на место, а голоса стали удаляться и, наконец, стихли совсем.

Пожалуй, пора сматываться, решил я, приоткрыл дверцу и сквозь щелку разглядел супружескую спальню, обставленную скромно, но элегантно. Почти в ту же секунду все мое существо охватило какое-то сладострастное томление и, повинуясь необъяснимому порыву, порожденному смутными эротическими фантазиями, я поспешил закрыть дверь и затаился в темных глубинах шкафа, точно тромб в теле великана.

Тем не менее свет вернул мне ощущение времени. Не сомневаюсь, что прошло минут десять, прежде чем мое уединение было нарушено звуком легких шагов, приближавшихся к шкафу. Пришлось поскорее забиться в дальний угол и спрятаться за внутренним выступом — гардероб, как вы помните, был непростой конструкции. Вот центральная дверца отворилась, и в проеме показалось лицо хозяйки: я успел разглядеть густые волосы и, кажется, довольно красивый профиль. Потом женщина скрылась из виду, но тотчас же появилась снова. Внутрь просунулась тонкая изящная рука без колец и браслетов и повесила на длинную перекладину, насквозь пронзавшую сумрачные недра шкафа, плечики с костюмом.

Когда центральная секция заполнилась до отказа, хозяйка открыла боковую дверь как раз с той стороны, где притаился я. Ничего не оставалось, как вжаться в стенку — хрупкая рука едва меня не задела. Теперь к содержимому шкафа добавилось длинное шелковистое платье; мое дыхание колыхало тонкую ткань и насыщалось от нее искусственным ароматом духов и живым ароматом человеческого тела. Сладостное волнение, о котором я уже говорил, усилилось.

Еще несколько минут — и в шкафу не осталось места, а меня снова окутала уютная темнота, только теперь пространство дробилось на множество частей, разделенное перегородками всевозможных нарядов; оно стало куда уютнее, наполнилось самыми разнообразными запахами. Я спокойно уселся в уголке и, поглаживая подол платья, попытался мысленно воссоздать образ женщины, исходя из двух мельком подмеченных деталей: руки и прически. Разгоряченное воображение нарисовало невысокую хрупкую фигурку с широкими бедрами и маленькой грудью, увенчанную красивой головой, лицо, на котором выделялись темные глаза и пухлый ротик. Когда все черты этого прелестного существа предстали перед моим внутренним взором, я чуть было не расплакался: так велика была любовь к прекрасной незнакомке.

Однако же время шло, а я все никак не мог решить, что же делать дальше. Наконец, где-то между семью и десятью вечера (в шкаф я попал не раньше пяти), вновь послышались шаги и голоса. В комнату опять вошла женщина, а с нею супруг — видимо, он только что вернулся с работы.

Несколько минут я слушал восторженные рассуждения хозяйки о красоте и удобстве шкафа. Но муж особого энтузиазма не проявлял и отвечал односложно.

Затем они удалились — вероятно, пошли на кухню ужинать — и вернулись в спальню через пару часов. Я услышал, как зашуршала одежда, скрипнула кровать. Несколько раз женщина пыталась завести разговор, но тщетно. Супруг вяло реагировал на ее реплики, а потом и вовсе включил радио. Больше ничего интересного не произошло, так что я поудобнее устроился у себя в уголке и быстро заснул. Разбудило меня жужжание будильника — не знаю уж в котором часу. В комнате тут же послышались скрип и шуршание, потом шаги, и я снова втиснулся в щель за внутренним выступом гардероба, который за десять минут открыли несколько раз подряд.

Наконец, где-то вдалеке хлопнула дверь, и в доме воцарилась тишина. Наверное, ушли на работу, подумал я и, не таясь, вышел из шкафа. Часы показывали половину девятого, в квартире никого не было. Не спеша обошел я все комнаты, пытаясь по деталям обстановки понять, что это за люди, но ниче-

го примечательного не увидел. Самая обычная пара, живет в небольшом одноэтажном доме — судя по виду из окна, в каком-то пригороде (сейчас он превратился в чрезвычайно дорогой жилой район, где у меня много недвижимости).

Но владелица шкафа и вправду оказалась потрясающе красивой, куда красивее, чем мне представлялось. Я понял это сразу, взглянув на фотографию в гостиной. Любовь в моем сердце разгорелась с новой силой; поистине достоин презрения бесчувственный чурбан, доставшийся ей в мужья.

Вскоре голод заставил меня заглянуть на кухню. В холодильнике было всего вдоволь — и колбас, и сыров. Так что я не спеша сварил себе кофе и плотно позавтракал, прикинув, что если уж суждено мне и эту ночь провести в шкафу, то ужинать не придется. Наевшись досыта, я вымыл свою посуду, а заодно и ту, что оставили в раковине хозяева после ужина и завтрака. Потом, подремав на довольно удобной софе в гостиной, принялся читать какой-то шпионский роман и так зачитался, что не заметил, как пролетело несколько часов.

Около четырех я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ, и вернулся в шкаф.

Так, день за днем проходило время. Муж и жена жили по расписанию, к которому мне не составило труда приспособиться. По вечерам женщина сидела дома одна, занималась домашними делами или болтала с матерью по телефону, стоявшему на ночном столике. Супруг возвращался к ужину, и вскоре они ложились спать, послушав радио и обменявшись парой фраз — в основном о всяких повседневных хлопотах.

Я быстро привык к такому распорядку. По утрам выходил из шкафа, приводил себя в порядок, завтракал, дремал на софе и читал. Мыл посуду, скопившуюся в раковине, пылесосил и через день вытирал пыль, особо при этом не усердствуя. Хозяйка вскоре поняла, что в доме что-то происходит, и однажды вечером, перед сном, сказала супругу:

— У меня такое чувство, будто о нас заботится какая-то неведомая сила.

— Не выдумывай, — буркнул он с обычным безразличием.

— Иногда, — продолжала женщина, — я думаю, что это мой покойный брат, который умер вскоре после моего рождения.

— Ты не в своем уме, — только и был ответ.

На следующий день я услышал, как она по телефону делится своими предположениями с матерью. По всей видимости, реакция на том конце провода мало отличалась от реакции мужа, так как женщина поспешила перевести разговор на другую тему, точно и вправду сказала какую-то глупость. Больше бедняжка ни с кем не пыталась поделиться своим удивительным открытием, но стала ежедневно готовить изысканные

блюда и оставлять их на кухне, на самом видном месте. Я же старался съедать все до крошки, а если не было аппетита, остатки спускал в унитаз, чтобы не показалось, будто я не ценю ее забот настолько, насколько она ценит мои.

Однажды, когда этот обмен угощений на услуги зашел дальше некуда, муж отбыл в командировку.

В ту ночь любовь и желание — или, возможно, их таинственный безымянный сплав — не давали мне сомкнуть глаз. Прошло довольно много времени, прежде чем я решился выбраться из шкафа, ступая беззвучно, точно обитатель склепа. Тихо скользнул я под простыни и принялся ласкать спящую с такой тоской и нежностью, с какой старик, должно быть, лелеет в памяти образ ребенка, которым был когда-то. Женщина не сопротивлялась, она лишь замерла и застонала — казалось, будто стонет каждая клеточка ее тела, влажного, как своды таинственного грота, теплого, мягкого и податливого, как пучок птичьих перьев. Жадно исследовал я все уголки этого тела, а когда насытился запахами, прикосновениями, нежностью и соками, взял любимую на руки и унес в шкаф, затворил дверцу, и мы вместе рухнули в бездну, в пустоту, где не было ничего — только ее крики, мои крики, эхо, отражавшееся от деревянных стенок, да шелест одежд, успокоительный и зловещий одновременно.

Ни одного слова не слетело с наших раскрытых уст, взгляды не касались того, что видели руки, и тела соединялись в немыслимых сплетеньях, образуя сложные скульптуры, вечное воплощение страсти.

Наконец, желание улеглось, и пробудилась нежность, точно тонкий аромат сломанного лепестка. Я отворил дверь деревянного храма, поднял женщину на руки и уложил в постель. Оставил рядом коротенькую ночную рубашку, изорванную в клочья, а сам вернулся в гардероб и заснул так глубоко, что никакого будильника не слышал. Встал поздно, совершенно счастливый, и довольно долго возился с кафелем в ванной: его давно не мешало как следует почистить. А ночью опять покинул свое убежище, и все повторилось сначала.

В общем, сейчас я преуспевающий бизнесмен, отец семейства, вполне счастливый человек — по крайней мере, в пределах той шкалы, по которой принято оценивать чужое счастье. Но, увы, я не философ, не писатель и не поэт, а потому не в состоянии с необходимой точностью описать, какую роль сыграли в моей жизни те ночи, какой отпечаток они оставили у меня в сердце. Могу сказать лишь одно: весь свой дальнейший сентиментальный опыт я строил на их основе, и не проходило дня, чтобы я не думал о незнакомке, чей дом покинул, когда вернулся из командировки бесчувственный муженек.

Так или иначе, давнее приключение сильно изменило мой характер: в нем навсегда поселилась тоска, печаль, присущая людям, чьей душе нанесен незримый ущерб, причинен такой непоправимый урон, что только смерти под силу хоть немного облегчить боль утраты. За последнее время я сколотил капитал, достаточный, чтобы скупить весь квартал, где стоял тогда ее дом и где теперь мне хочется установить огромный гранитный памятник, в мельчайших деталях воспроизводящий тот самый шкаф. Если она еще жива, то непременно поймет, в чем дело, и станет, подобно мне, с нетерпением ждать кончины.

Человек, который любил ночную жизнь

ВОЗВРАЩАЯСЬ на рассвете домой в изрядном подпитии, он увидел в мусорном контейнере голый мужской манекен. Тут ему взбрела в голову одна дикая мысль, и находка перекочевала в багажник автомобиля, стоявшего в гараже.

На следующий вечер супруга начала хмуриться уже заранее: приближалось время, когда он обычно отправлялся по барам. Но мужчина притворился, будто никуда не собирается, и гроза прошла стороной. До половины двенадцатого они смотрели телевизор, а потом улеглись в постель. Когда дыхание жены стало ровным и глубоким, он тихонько приподнялся и, убедившись, что благоверная крепко спит, осторожно встал с кровати. Прокрался в гараж, взял манекен и уложил его на свое место. Не просыпаясь, женщина повернулась на бок и обняла пластмассовое тело за талию.

Стараясь не шуметь, он оделся, выскользнул на улицу и с удовлетворением отметил, что ночь выдалась самая подходящая — жаркая, как во времена его бурной молодости. Мужчина глубоко вздохнул и зашагал по направлению к своим излюбленным барам. На душе сделалось легко, чувство вины растаяло без следа. Осушив вторую рюмку, он вспомнил о манекене и ощутил странный укол ревности, но потом подумал, что совсем не плохо иметь такого вот пластмассового заместителя: можно избежать скандалов, сопровождавших его поздние отлучки.

Так или иначе, на этот раз он вернулся домой несколько раньше обычного, где-то в половине третьего. На цыпочках подошел к двери в спальню и убедился, что все в порядке: жена безмятежно спала, обнимая манекен. С предельной осторожностью отодвинув ее руку, он вытащил пластмассового истукана из-под одеяла, но по пути в гараж зашел в ванную умыться, а манекен усадил на унитаз. И вдруг, должно быть,

под действием винных паров, ему почудилось на лице заместителя какое-то новое, довольное выражение, которого там, в мусорном контейнере, не было. Мужчина спрятал манекен в багажник, вернулся в спальню и лег, а жена инстинктивно прильнула к нему, так и не заметив подмены.

На следующее утро супруга приготовила ему великолепный завтрак, словно хотела отблагодарить за то, что накануне он остался дома. А поскольку его пристрастие к ночным вылазкам было единственной причиной семейных неурядиц, с появлением манекена в доме воцарился мир. И все бы хорошо, но теперь мужчина почему-то не испытывал былой радости. Мрачный и хмурый, ходил он из бара в бар, садился в углу и, распевая песни о неразделенной любви и ревности, пил в одиночестве: прежние собутыльники начали его сторониться. В определенный момент — или после определенной рюмки — навязчивый страх гнал любителя ночной жизни домой. Он отпирал дверь, снимал ботинки, на цыпочках подкрадывался к двери в спальню и стоял некоторое время, напряженно прислушиваясь. Потом входил, извлекал заместителя из объятий жены и шел с ним в ванную. Он готов был поклясться, что выражение облупленной физиономии постепенно менялось. Раньше губы растягивались в нелепой гримасе, а теперь на них расцвела настоящая улыбка. Да и все тело как-то расправилось, точно манекен обрел, наконец, дом, где исполнялись его самые неожиданные желания. Правда, всякий раз, разглядывая пластмассовое лицо, мужчина бывал сильно нетрезв, и все это вполне могло померещиться ему с пьяных глаз. Хорошо бы как-нибудь собраться с духом и посмотреть на манекен при дневном свете, да смелости не хватало.

Тем временем жена заметно повеселела, а он неуклонно погружался в беспросветную тоску. Стало мучить недомогание, появились какие-то странные боли. По утрам ночные излишества давали о себе знать самым непривычным образом. Наверное, старею, надо меньше пить, думал мужчина, но от подобных мыслей мрачнел еще больше, чувствуя, что теряет одновременно и любовь, и молодость.

И вот однажды он, как всегда, вернулся домой пьяный, убрал манекен в багажник и улегся в кровать. Странное дело: постель показалась ему какой-то холодной. Не открывая глаз, он потянулся, чтобы обнять жену — рука наткнулась на что-то твердое; поползла выше и вместо груди нащупала два жестких гладких кругляша, как будто рядом положили пластмассовую куклу. Мужчина отпрянул, хотел вскочить, но сдержался и, зажмурившись, замер, да так и уснул, придавленный грузом выпитого. А наутро все пошло своим чередом.

Однако же ночи сменяли друг друга, и у него все чаще возникало ощущение, что вместо жены в постели лежит манекен. Наконец, как-то раз он проснулся и заметил, что супруга не шевелится. Может, несчастная умерла и уже успела окоченеть? Но приглядевшись внимательнее, он убедился, что живая плоть превратилась в твердый материал вроде пластика или папье-маше. Содрогаясь от ужаса, слегка приглушенного похмельной мутью, он встал, оделся и пошел в гараж. Принес манекен, положил его рядом с недвижной фигурой жены, и два пластмассовых тела тут же перекатились к середине кровати, протягивая друг к другу свои пластмассовые руки. Мужчина заботливо прикрыл их одеялом, вышел из дома и навсегда затерялся в уличной суете.

Почтальон всегда звонит дважды

Он вошел в гостиничный номер и, не распаковывая багажа, повалился на кровать, свесив ноги, чтобы не пачкать ботинками покрывало. Закрыл глаза и попытался сообразить, почему чувствует себя таким уставшим. Вроде бы не с чего, хотя, с другой стороны, он уже столько лет в разъездах. Сначала нарадоваться не мог, а потом возненавидел и отели, и рестораны, и машины, и поезда — словом, все, что было связано с работой.

Не меняя позы, он открыл глаза и осмотрелся: комната так себе, две звезды, не больше. Да и городишко маленький, туристам в таком делать нечего. Телевизор без пульта, мини-бара нет. Надо бы пообедать, а заодно опрокинуть стаканчик виски — первый за день. Выпью в ресторане, решил он. Но вставать что-то лень, может, сперва вздремнуть?

И вдруг его точно током ударило: он не мог вспомнить, зачем вообще сюда приехал. Полистал записную книжку, но никакой записи не нашел. Судя по размерам багажа — один небольшой чемодан — поездка рассчитана максимум дня на два. Да, но с какой целью? Никогда раньше с ним такого не случалось. Он попытался собраться с мыслями: с какой стати торговцу медицинской техникой ехать в захолустье, где крупных больниц, конечно же, нет и в помине? Или была договоренность с частным специалистом? В провинции встречаются иногда частные клиники, оснащенные куда лучше, чем государственные.

Тут зазвонил телефон, и незнакомый голос сообщил, что его ожидают в холле гостиницы. Он поправил галстук и умылся, не переставая мучительно соображать, какого черта здесь

делает. Ладно, может, удастся выведать что-нибудь у тех, кто назначил ему встречу.

У стойки администрации его ждали мужчина и женщина средних лет, а точнее, вообще без возраста. И внешность такая неприметная, даже странно. С улыбкой пожали ему руку, спросили, хорошо ли добрался, предпочитает ли на обед рыбу или все-таки мясо? Видимо, о встрече действительно договорились заранее. Оставалось только надеяться, что после какой-нибудь фразы, сказанной за столом, шестеренки памяти, наконец, заработают.

Но этого не случилось. Разговор вышел пустым и ничем не примечательным, под стать его новым знакомым. А после кофе они вдруг заторопились, проводили его до гостиницы — "наверное, ты хочешь сначала поспать?" — и сказали, что непременно зайдут ближе к ужину. Он снова улегся на кровать, свесив ноги, чтобы не пачкать покрывало ботинками, и принялся старательно и по-прежнему безрезультатно рыться в памяти. Собрался даже позвонить жене или в контору, да передумал: вдруг он завел здесь какую-то интрижку, а им соврал, что едет в командировку? Раньше-то у него случались такие вот рискованные и захватывающие эскапады, но все это осталось в прошлом, хотя кто его знает. Нет, пока что-нибудь не прояснится, лучше помалкивать.

Он встал, отдернул занавеску и увидел за окном узкий переулок в старой части города. Казалось, протяни руку — и коснешься дома напротив. За оконными стеклами можно было отчетливо разглядеть чужие квартиры; похоже на игрушечные домики с откидной крышей и крошечной мебелью. Зрелище жутковатое и притягательное одновременно — смотришь и оторваться не можешь, совсем как в тяжелом сне.

Тут снаружи послышалась какая-то громкая возня, и он подошел к двери. Осторожно приоткрыл ее и обнаружил, что все постояльцы высыпали в коридор. На вопрос, что случилось, ему ответили, что в соседнем 434-м номере скончался мужчина. Вскоре оттуда вытащили что-то тяжелое, завернутое в простыню, — должно быть, труп. Он поспешил ретироваться, почувствовав, как к горлу подступает ком, но мельком успел заметить среди людей, выносивших тело, ту самую пару, с которой только что обедал.

Остаток вечера он просидел в отеле, надеясь, что кто-нибудь все-таки позвонит и объяснит, как его занесло в этот крошечный городишко. Но напрасно: никто не позвонил и не пришел, а сам он так и не вспомнил, что собирался здесь делать. Ближе к ночи его опять пригласили в ресторан неприметные мужчина и женщина, но вели за ужином все те же бессодержательные разговоры. А потом проводили до дверей

гостиницы и сказали, что в десять утра машина отвезет его на вокзал.

Он приехал домой, по-прежнему пребывая в полном неведении относительно цели своей странной поездки. Жалоб ни от кого не поступало, но почему-то им овладело глубокое беспокойство. Непременно надо вернуться и все выяснить, хотя, возможно, где-то в глубине души он и так понимал, в чем дело. И потому однажды собрал небольшой чемоданчик и снова отправился в тот маленький город, где у него — ну, конечно же! — была назначена тогда встреча со смертью, которая просто ошиблась дверью. На перроне его встречала уже знакомая неприметная пара. Только на этот раз они спешили и ни в какой ресторан не пошли.

Сержи Памиес

Рассказы

Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен

Оригами

В детстве я как-то раз начал читать книжку, которая начиналась так: “Когда мне было шесть лет, в книге под названием ‘Правдивые истории’, где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку”[1]. Книжка называлась “Маленький принц”, и дальше этой фразы продвинуться мне тогда не удалось. В десятилетнем возрасте я сделал вторую попытку, но опять не смог преодолеть страницу, где рассказчик повествует о пищеварительном процессе удавов. У меня не слишком хорошая память, но, если я не ошибаюсь, именно в начале семидесятых годов всех нас охватила эпидемия экзюперизма. “Маленький принц” считался самой подходящей книгой для пробуждения детской фантазии. И если в англоязычных странах все дети непременно должны были приобщиться к “Алисе в стране чудес” и “Питеру Пэну”, то “Маленький принц” стал эталоном для наших современных родителей.

© 2010 by Sergi Pamies
© 2010 by Quaderns Crema, S.A.U., Barcelona, Spain
© Нина Аврова-Раабен. Перевод, 2011

1. Антуан де Сент-Экзюпери “Маленький принц”. Все цитируемые фрагменты книги приводятся в переводе Н. Галь. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я с некоторой тревогой отмечал, что мои приятели эту книгу читали, но еще больше меня беспокоило то, что знакомые девочки были от нее в восторге. Чтобы получить о книжке хоть какое-то представление, я решил пойти не совсем честным путем и просмотреть только картинки. Однако иллюстрации меня не вдохновили. Я был воспитан на энергичных линиях комиксов об Астериксе и братьях Дальтон, и посему этот бесцветный принц, работавший садовником на планете, где надо было чистить вулканы, точно печные трубы, не произвел на меня никакого впечатления. То ли дело Астерикс — герой непобедимого народа, черпавший силы в наркотиках, чтобы одним ударом отправлять на тот свет вепрей или римлян, или развеселое и непохожее на традиционную модель ячейки общества семейство Дальтон. Но поскольку герой Экзюпери пользовался успехом у моих друзей, я решил просто не хвастаться тем, что не читал этой замечательной книги. Это оказалось совсем нетрудно: надо было только не говорить о своей неспособности оценить метафизическое измерение этой истории. Обычно я не стеснялся и открыто заявлял о своем отказе читать то или иное произведение, однако, когда речь шла о Сент-Экзюпери, мною овладевало чувство вины. Мне было немного стыдно, и я надеялся поправить положение в будущем, не сомневаясь в том, что когда-нибудь найду ключик, который открывает дверь в этот мир, столь же невероятный, сколь волшебный.

Прошло много лет, на протяжении которых слава маленького героя продолжала расти (восемьдесят миллионов проданных экземпляров, переводы на сто пятьдесят языков). Как-то раз, придя на ужин в гости к родственникам, я обнаружил, что они оклеили комнату своего шестилетнего сына обоями, рисунок которых воспроизводил приметы мира маленького принца: барашек, географ, баобабы, роза, лис, уж и, конечно, сам отрок в длинном шарфе. Мне вспоминается, что я сначала подумал: "Родители настолько одурманены этой книжкой, что даже спальню сына так украсили". Однако когда передо мной предстал их сын, я все понял: он сам *был* маленьким принцем с картинки. Волосы ребенка растрепались, а рисунок на пижаме был поэтико-космическим. С тех пор я неоднократно убеждался в том, что самым восхитительным достоинством книги была способность создавать живые воплощения его главного героя.

Такое случалось с другими литературными героями и раньше. Все мы сталкивались в жизни с воплощениями Алисы (эти ангелоподобные девочки становятся нервозными в подростковом возрасте, отличаются испорченностью в юности, а в зрелом возрасте переигрывают, изображая сексуальные восторги, — и не от необходимости, а от желания развить у любовников комплекс неполноценности) или Питера Пэна

(эти индивиды страстно коллекционируют переломы, не всегда способны контролировать свой адреналин и столь же смелы, когда хотят соблазнить свою жертву, сколь трусливы, когда решают ее покинуть). Маленькие принцы, которые, как мне казалось, встретились в дальнейшем на моем пути, — наклеивать ярлыки оказалось гораздо легче, чем прочитать книгу, — развивали в себе под влиянием родителей повышенную чувствительность, отличались рассеянностью и прихотливостью, их богатой внутренней жизни хватило бы с лихвой на двоих. Однако потрясшие меня обои и мальчуган в пижаме настолько меня поразили, что в тридцать пять лет я сделал еще одну попытку прочитать книгу.

После истории с удавом летчик, выступавший в качестве рассказчика, терпел аварию в пустыне, словно нарочно, и встречался в песчаных дюнах с маленьким героем своей истории. "С меня хватит!" — подумал я и, хотя мой поступок не делает мне чести, бросил книжку об стену (на штукатурке до сих пор можно видеть след). Повинуясь предубеждению, затмившему мой рассудок, я принял неверное решение о том, что продолжать чтение мне было ни к чему. На прочитанных страницах я успел почувствовать снисходительное отношение к читателю и воспринять идею автора, которую не мог разделить: все дети априори наивны и чутки, а взрослые черствы. Детская литература нередко спекулирует на этой мысли, и я, мысленно вступая с автором в спор, развлекался тем, что воображал, как бы поступили Астерикс и братья Дальтоны, если бы какой-то пришелец с другой планеты во имя фантазии попытался приобщить их к своей жидкой и псевдодуховной философии. Уверенный в своей правоте, я испытывал почти болезненное желание высказать свою точку зрения. Однако меня останавливало одно сомнение: не следует ли все же объективности ради сначала прочитать книгу целиком, а уж потом критиковать неугодные мне идеи и высказывать свои контраргументы? Кроме того, само желание вступить с автором в полемику уже казалось мне не вполне здоровым.

В тот день, когда я твердо решил осилить это произведение, супруга довела до моего сведения — мне не приходит в голову никакое другое выражение, — что она беременна. Близнецами. В результате я попал в водоворот домашних обязанностей, и на протяжении последующих десяти лет у меня не было ни одной свободной минуты — да и сил тоже, — чтобы размышлять о Сент-Экзюпери. Жизнь в нашем доме неслась в бешеном ритме — представьте себе переполненное событиями десятилетие, снятое в режиме убыстренной съемки, — и, поскольку всегда находились дела первостепенной важности, я совершенно забыл об этой книге; до того дня, когда близняшки рассказа-

ли мне, что ходили с классом в театр и смотрели спектакль под названием "Маленький принц". Я подождал, чтобы они проявили свою детскую сущность (ведь в моральном отношении дети превосходят взрослых) и с присущей им непосредственностью объявили, понравился им спектакль или нет. Однако они ничего не сказали, и я, заподозрив, что в этом сказывается дурная наследственность, посоветовал им прочитать книжку. Девочки не стали откладывать дело в долгий ящик и взялись за чтение, но ровно через пять минут, когда мне казалось, что им уже удалось преодолеть песчаные дюны, обе заявили: "Посвящение нам понравилось, но в этой истории есть что-то странное. Мы ее лучше потом прочитаем".

Я не помнил ни о каком посвящении и тут же проглотил его целиком, даже не присев на стул: "Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый — мой самый лучший друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение: Леону Верту, когда он был маленьким". Посвящение мне, в общем-то, понравилось, потому что эти рассуждения теперь показались мне не лишенными некоторой логики. Может быть, раньше, когда у меня не было детей, я просто не смог понять всю эту игру со взрослыми, которые когда-то были детьми, и детьми, которые вырастут, но по-прежнему останутся детьми (или что-то в этом роде).

Я устроился в том самом кресле, где в прежние годы прочитал особенно запомнившиеся мне произведения ("Треску" Марка Курлански[1] или "Как написать серьезный роман о любви" Дианы Шемперлен[2]), и стал продвигаться вперед. Мне удалось добраться до четвертой главы, где автор говорит: "Дети должны быть очень снисходительны к взрослым". На протяжении десяти лет я не прикасался к этой книге, кружась в водовороте домашних дел и профессиональных обязанностей, но с первой же минуты во мне ожило с прежней силой неприятие тона маленького героя, который требует снисходительности по отношению к взрослым, хотя сам он, в действительности,

1. Марк Курлански (р. 1948) — американский журналист и писатель.
2. Диана Шемперлен — канадская писательница; речь идет о рассказе, опубликованном в сборнике "Все привязанности: рассказы и картины" (1998).

является созданием взрослого человека. А этот взрослый, благодаря придуманным им персонажам, пользуется общепризнанной славой человека, который как никто другой понимает детей. К счастью, поток семейной жизни снова увлек меня, и прошло еще десять лет. Наступил день, когда профессиональные обязанности привели меня в Монпелье, где проводился круглый стол, в котором принимали участие второстепенные европейские писатели. Во время беседы один из ее участников с едким презрением отозвался о Сент-Экзюпери, обвинил его в самовлюбленности и заявил, что значение его произведений сильно преувеличено. Другие мои коллеги встретили это заявление улыбками превосходства, а я присоединился к ним, не желая выдать своего невежества. После этого эпизода я твердо решил, что в моем солидном возрасте, которого Сент-Экзюпери никогда не суждено было достичь (мне исполнилось сорок шесть), назрела необходимость закрыть, наконец, эту тему. Сразу после окончания круглого стола я отправился в книжный магазин и приобрел две биографии писателя, которому только что предъявили обвинение в самовлюбленности.

В моей памяти сохранилось странное воспоминание об этом чтении — словно в лихорадке, я пытался удержать в голове огромное количество новых сведений, и одновременно меня раздирали противоречия: личность автора вызывала у меня живой интерес, но предубеждение к его творчеству не исчезало. Я понял, что Сент-Экзюпери искал детской неискушенности, которой сам с годами лишился, и оказался достаточно храбрым (или безрассудным — он рисковал стать всеобщим посмешищем), чтобы из мрака своего существования написать — по мнению исследователей — поэтическую притчу, которая, казалось, излучала свет. Замысел книги родился в тысяча девятьсот сорок втором году во время обеда в кафе "Арнольд". Издатели Сент-Экзюпери, сытые по горло тем, что их автора постоянно раздирали психологические противоречия, предложили ему написать рождественскую сказку. Таким образом, они пытались заставить писателя забыть о своей судьбе изгнанника, бежавшего из коллаборационистской Франции и нашедшего приют в Соединенных Штатах, и рассеять его убежденность в том, что жестокость рода человеческого неисправима.

В тот день за обедом издателям удалось увлечь его своей идеей, которая была призвана стать противовесом естественным наклонностям этого человека — нетерпеливого, эмоционально неустойчивого и не умевшего держать в узде свою сексуальность. Ему ничего не стоило обзвонить всех своих любовниц и всех своих друзей в самое неподходящее время, чтобы прочитать им какой-нибудь абзац своего нового произведения или рассказать об очередной сердечной драме. Ино-

гда он приглашал их в свою квартиру — с видом на Центральный парк, — чтобы разглагольствовать перед ними об энергии города и ночи или чтобы пить без меры, учиться делать фокусы или складывать из бумаги вертолетики.

Все, что мне удалось прочитать о Сент-Экзюпери — даже его исполненное отчаяния возвращение в армию и его последний полет, закончившийся исчезновением писателя, и фраза из повестки, выписанной дежурным офицером, звучавшая, как эпитафия: *Pilot did not return and is presumed lost*[1], — заставляло меня сделать один и тот же вывод. Мне было уже сорок девять лет, и, поговорив с близняшками, я обещал им, что в день своего пятидесятилетнего юбилея отправлюсь в какую-нибудь гостиницу и прочитаю "Маленького принца" от корки до корки (девочки к этому времени уже исполнили свой долг: обе прочитали книгу с восторгом, которому я — по причине своего малодушия — не сумел порадоваться). Наконец, знаменательный день наступил. Ночь, проведенная в гостинице своего родного города, вызывает в душе странные чувства. А пятьдесят лет — достаточно знаменательная дата, и близкие тебе люди бывают достаточно снисходительны, каким бы способом ты ее ни отмечал. Оставив в стороне предубеждения невежества и смирив гордыню, я медленно продвигался, ощущая под ногами сыпучий песок дюн (и слов), преодолевая старые и новые преграды, скользя по этой детской сказке, исполненной символизма. Иногда я подчеркивал какую-нибудь фразу, как например: "Самого главного глазами не увидишь" — наиболее известную и неоднократно использованную авторами книг по саморазвитию.

Когда я закрыл книгу, меня охватило желание писать, хотя я, исходя из личного опыта, с большим недоверием отношусь к подобным порывам, а также к сопровождающему их ощущению своей исключительности. У меня не возникло никакого особенного чувства, когда я дочитал историю до конца: для меня ничего не изменилось. В этот особый день, без торта и без свечек, я вспомнил о мальчике в поэтико-космической пижаме и спросил себя, как сложилась его жизнь. Потом я принялся писать и провел за этим занятием почти всю ночь. Из-за двери до меня доносились звуки, присущие жизни гостиницы: торопливые шаги, смех и стоны (а за ними, на втором плане, я ощущал энергию всего города). Если бы у меня были любовницы и вид на Центральный парк, я, наверное, обзвонил бы их, обуреваемый чувством собственной исключительности, чтобы прочитать мною написанное. Однако я предпочел дождаться рассвета, ощущая прикосновение чужих простынь и наслаждаясь то тем, то дру-

1. Пилот не вернулся и считается погибшим (*англ.*).

гим эпизодом книги (например, историей пьяницы, который пьет, чтобы забыть, что ему совестно пить).

Я отключил будильник, встал, принял душ — как же мне нравится напор воды в гостиничных душах! — расплатился и пошел домой пешком. Когда я открывал входную дверь своей квартиры, мне показалось, что я вернулся из долгих странствий. И путешествие это утвердило меня в убеждении, что игра воображения может быть одновременно восхитительной и обманчивой и что, на наше счастье, с книгами дело обстоит проще, чем с поездами, — здесь можно опоздать, а потом, некоторое время спустя, войти в тот же самый вагон (или уже не входить). Кроме того, я еще раз удостоверился, что — по крайней мере, на планете, где живу я, — самое главное прекрасно можно увидеть глазами. Да и что является самым главным? Притворство женщин, которые делают вид, что не замечают, когда на них смотрят; цвета такси; настойчивость юноши, разучивающего гаммы на контрабасе; правдоподобие лжи взрослых, когда они обманывают детей, и бутылки, летящие в контейнер для стекла, которые в этот миг уже ни наполовину пустые, ни наполовину полные.

Любимые песни Ленина

КОГДА приходишь в опустевшую квартиру родителей, чтобы в последний раз навести в ней порядок, перед тобой открывается мир, чуждый тебе и одновременно до боли знакомый. В самом начале этой операции возникает альтернатива: сохранять эти вещи или же ликвидировать. Если ты отъявленный консерватор, тебе остается лишь снять помещение для хранения этого скарба или же заполнить им свой дом, пожертвовав обликом собственного жилища. Если же ты сторонник радикальных решений, то в первый момент испытаешь ощущение легкости, освободившись от этого бремени. Однако очень скоро у тебя возникнет желание посмотреть старые фотографии в альбоме, вернуть назад сковородку, на которой тебе когда-то жарили самые лучшие в мире яичницы с картошкой, или послушать одну из пластинок с народными мелодиями Северной Кореи. И ты пожалеешь, что выбросил их: они казались тебе балластом, от которого следовало немедленно освободиться, а в действительности были якорем, удерживавшим тебя в бурном море. Каждый из детей возвращается к чему-то давно забытому и никак не хочет с этими воспоминаниями расстаться. Все внуки заявляют, что ничего выбрасывать нельзя, а кое-кто из родственников даже с неуместным пафосом провозглашает, что все вещи необходимо передать в музей. Пока длится спор, отмеченный отсутствием реализма и определенной долей непо-

рядочности, ты успеваешь заметить жир на кухонном кафеле, торчащую из стены проводку на месте электрического счетчика, который сняли техники компании, россыпь канцелярских скрепок на полу и разноцветные разводы на потолке — застывшие свидетельства наводнений у соседа сверху. Если тебе не надо ни с кем спорить, ты можешь спокойно приняться за работу. У тебя будет достаточно времени, чтобы рассмотреть сокровища, о которых ты почти совсем забыл; ты сможешь аккуратно убрать фотографии сестры, чьего голоса ты никогда не слышал, как не слышал и упоминаний о ней. Ты впервые — с удивлением и волнением — увидишь ее на этих глянцевых прямоугольниках, таких же черно-белых, как форма монашек Красного Креста, которые заботились о ней до самого конца: вот она стоит в окружении деревьев Чехословакии[1] или судорожно сжимает пальцами какую-то веточку. Губы растянуты в бессознательной улыбке, на лице застыла гримаса — печать синдрома, известного в любом уголке земного шара, а взгляд устремлен куда-то вдаль, за низкие холмы на равнине. И несмотря на то что тебе будет приятно провести это свидание с прошлым в одиночестве, одновременно ты пожалеешь о том, что рядом нет близкого человека, с которым можно поделиться воспоминаниями, или брата или сестры — если они у тебя есть, — чтобы посмеяться вместе. Послушайся моего совета: если тебе когда-нибудь придется разбирать вещи в опустевшей квартире родителей, забудь о городских нормах сортировки мусора. Если ты примешься отделять стекло от рамочек и от картонных паспарту, обрамлявших все фотографии, которые сейчас превратились в семьдесят восемь гвоздиков с подвешенными на них прямоугольниками темной пыли, тебе грозит помешательство. Круглое отверстие контейнера для стекла слишком узкое и в него нельзя запихнуть слишком крупные предметы, а потому тебе придется разбивать стекла на мелкие кусочки, рискуя при этом пораниться или даже остаться без пальца, если ты не слишком ловок. Больше всего эмоций в таких случаях вызывает приговор, выносимый каждому предмету в отдельности: отправится ли он в контейнер для мусора или в коробку с вещами, заслужившими помилование, — ведь на самых важных корридах отличившихся особой храбростью быков не убивают. Тебе снова и снова приходится принимать решения и перед тобой возникают совершенно очевидные вопросы, над которыми ты никогда не задумывался. Что в этих стенах осталось тебе в наследство от родителей, всю жизь снимавших квартиру? Можешь ли ты ощущать свои

1. Родители автора провели долгие годы в эмиграции и несколько лет жили в Праге.

корни здесь, если ты был воспитан на убеждении, что частная собственность губительно действует на личность? И вдруг, неожиданно, у тебя возникает воспоминание из твоей собственной жизни и ты читаешь наизусть строчки Габриэля Ареста[1], которые выучил, когда служил в армии, вместе с друзьями-баскаами, в те далекие годы, когда тебе начинало казаться, что, может быть, в будущем ты станешь писателем: "Я защищу / Дом своего отца. / От волков, / От засухи, / От ростовщиков, / От правосудия. / Я защищу / Дом своего отца. / Я потеряю скот, / Огороды, / Сосняки; / Я потеряю / Проценты, / Ренты, / Дивиденды, / Но я защищу дом своего отца"[2]. В осиротевшей квартире, однако, волки лишены метафорического величия. Вместо них на тебя набрасываются мухи, осатаневшие от духоты. Вместо хищников — сбережения ради сбережений, во имя неправильно понятой осторожности. И никаких дивидендов нет. Вместо скота, огородов и сосняков у тебя хватило духу защитить только тысячи книг — и среди них томик Ареста — да кучи бумаг и документов. Сомнения, возникающие у тебя, когда надо принять решение о помиловании или обречь очередной предмет на исчезновение, связаны с прозой жизни и глубоко личными воспоминаниями, которыми ты всегда стыдился делиться с кем-нибудь. Градусник в форме ледоруба, привезенный когда-то из Крыма? Пощадим его. Мрачная литография Антони Тапиеса[3]? В помойку. Кольцо, сделанное из обломков американского бомбардировщика "Б-52", который был сбит во Вьетнаме? Помиловано. Пластинка "Любимые песни Ленина"? На свалку. Этой фазе работы предшествовал длительный процесс сортировки вещей. В коробки были упакованы письма, экстракты банковских счетов, удостоверения личности — как действительные, так и фальшивые, — и ворох прочих бумаг, которыми оформляется существование любой семьи, — и нашей тоже. На самом первом этапе все вещи, которые еще могли пригодиться кому-нибудь в хозяйстве, были оприходованы — а иногда и просто растащены — родственниками, друзьями, соседями и представителями некоммерческих организаций. Этой участи удостоились не только тарелки, кастрюли, столовые приборы, фартуки, халаты, пластмассовые лотки и покрывала, связанные крючком, но и брошюры времен первого или второго подполья (этот период всегда воспринимался как величина геологическая: плейстоцен, голоцен, подполье). Одежду уже отдали благотворительным обществам, которые ныне, благодаря семантической трансформации, превратились в центры солидарности.

1. Габриэль Арести (1933–1975) — баскский драматург и поэт.
2. Перевод Р. Серрано и Р. Игнатьева.
3. Антони Тапиес (р. 1923) — каталонский живописец, скульптор и график.

Самое главное — не потерять присутствия духа. Некоторые воспоминания обладают невероятно разрушительной силой. Они захлестывают тебя и выбивают почву из-под ног. Этой ловушки надо во что бы то ни стало избежать, даже если ради этого придется напиться, — лучше всего в таких случаях действует сливовица из бара в шкафу: после нее испытываешь не просто похмелье, а полную балканскую потерю памяти. Надо забыть условности и освободиться от угрызений совести, которые способны помешать тебе выполнить намеченную программу (три похода на помойку в обмен на каждую коробку с помилованными вещами можно считать достаточно разумной пропорцией). Мебелью займется бригада грузчиков, присланная муниципальными службами. Ни в коем случае не следует упускать возможность понаблюдать за их действиями: на протяжении пяти часов они будут слаженно исполнять сложнейшие фигуры на лестнице и в лифте, разбирать книжные стеллажи, протискивать в дверные проемы вещи, которые когда-то были втиснуты в комнаты с такими же усилиями. Весь этот спектакль будут сопровождать всхлипы рвущейся упаковочной ленты и посвист бригадира грузчиков, исполняющего целый репертуар песен — совсем непохожих на любимые песни Ленина. И когда квартира опустеет, тебе станет ясно, что никому не пришлось отнимать у тебя оружие, чтобы ты голыми руками защищал дом своих родителей. Ты увидишь, что никто не заставлял тебя ставить на карту свою жизнь или судьбу детей, чтобы сохранить отчий дом от разрушения. И даже присесть будет некуда, потому что в комнатах не останется ни стульев, ни кроватей, а пол будет слишком грязным и пыльным. И неожиданно тебе откроется некая истина, внезапное ощущение завершившегося этапа, сданного формально экзамена, который на самом деле ты завалил (и у тебя возникнет вопрос, не является ли твоим поражением необходимость закрыть дверь дома тех, кого уже с нами нет, или тех, кому пришлось его покинуть из-за своей немощи). И ты почувствуешь себя игроком команды, потерпевшей поражение в финале чемпионата, которому по протоколу полагается оставаться на поле и ждать рукопожатий организаторов соревнований и медали, призванной служить тебе утешением. Утешением, которое ты заслужил, закончив наконец все хлопоты с оставленной родителями квартирой и совершив последний шаг на пути исполнения их последней воли. Утешением в твоей глубокой безутешности — ты испытаешь это чувство еще более остро, закрывая за собой дверь в последний раз, — потому что у тебя не хватило ни силы духа, ни упорства, чтобы воздать должное ни отчему дому, ни твоим родителям.

Альмудена Грандес

Песня над балконами

Рассказ

Перевод Юлии Лариковой

Но вспомни, если духом пал:
С тобою рядом тот,
Чей взгляд тебя так долго ждал,
Кто неустанно ждет.

Луис Гарсиа Монтеро
Раздельные комнаты[1]

1

КАНАРЕЙКА в птичьей клетке, на пугале — ботинки в сетку, такая в те годы ходила присказка, но еще бóльшую жуть, чем эта бурая вязь кожаных тесемочек, избороздившая ему подъемы ступней, наводил грубый перестук каблуков — тук, тук, тук — у меня за спиной утром и вечером, по дороге из дома в школу, из школы домой и обратно, по четыре раза на дню, изо дня в день. Порой, переходя дорогу на красный свет, чтобы хоть как-то помешать преследова-

© Almudena Grandes. Published by arrangement with Tusquets Editores, S.A., Barcelona, Spain and ELKOST Intl. Literary Agency, SCP, Barcelona, Spain.
© Юлия Ларикова. Перевод, 2011

1. Настоящее заглавие стихотворения Гарсиа Монтеро — "Посвящение". (*Прим. перев.*)

телю, я спрашивала себя, зачем так упорно он обувает на занятия эти выходные ботинки, всегда безупречные, надраенные до блеска, неважно, что полопались швы. Ни к чему были ему каблуки, нелепое дополнение к его вечным спортивным штанам из синей синтетики, потому как парень был очень высокого роста, но одного этого недостаточно, чтобы захотелось проникнуть в тайну его заурядного бытия.

Где рев и слезы, там ребенок, как говорится, где пугало, там и его приёмник, — и, разумеется, он не расставался с радиоприемником, прижатым к уху и включенным на полную мощь, пока он дожидался меня в засаде за углом моего дома. Иной раз, вечерами, старинный, жалобный мотив песни, которая так ему нравилась, подсказывал мне, что он рядом, раньше даже, чем тень его фигуры, узкой в кости и какой-то грустной, рослой и в то же время на удивление беззащитной. Затем каблуки — тук, тук, тук — встревали, как лишняя нота, в приторное псалмопение этой обреченной и жестокой любви, сопровождавшее нас, *ты поймешь однажды, мне уже не важно*, вверх по Сан-Бернардо, вниз по Сан-Бернардо, *и всему коне-е-ец*, точно несбыточное пророчество.

— Как ты вообще его терпишь, — корила меня кузина Анхелес, которая уже успела добиться, чтобы друзья звали ее Ангелиной, очень изысканно, как ей казалось, на мадридский манер, тогда как дома, как бы ее это ни бесило, она оставалась Анхелитой еще многие годы. — Не хватало только, чтобы этот субъект слушал "Модулей".

Я молча соглашалась и иногда, почти безотчетно, напевала эту пошлость, не разжимая губ, *настанет день и час, ты от меня уйдешь*, ведь родилась я, в отличие от Анхелиты, не в пригороде Хаэна, а в образцовой клинике старого Мадрида, в роддоме Милагроса, в самом сердце Чамбери, и потому могла позволить себе пристрастие к фольклору, в чем ни за что бы не решилась признаться вслух. И тем не менее в простоте своей Анхелита была права. Гопник — такое мои братья дали ему прозвище, обязанное не столько его внешности, сколько твердости его эстетических отклонений, — то еще пугало огородное. Точка.

Нам так и не пришлось перемолвиться словом, я даже не знала, как его зовут — наверняка Абенсий или Акилино, по смелому предположению кузины, или вообще Дионисий, точно тебе говорю, — да и не восстановить уже в памяти миг, когда я впервые ощутила на своих плечах тяжесть его взгляда, твердого, непроницаемого, словно поверхность волшебного зеркала, мутного и горячего, глядясь в которое я становилась тринадцатилетней, затем четырнадцатилетней, затем пятнадцатилетней и шестнадцатилетней. Парень не из нашего квартала, это я знала, как и то, что он жил на "Вальдеаседе-

рас", это такая станция метро, очень далеко от нас, где-то в районе Тетуан. Притом, слава о ней достигала и наших пределов, примиряя мою мать с тем, что вся ее жизнь протекла на непримечательной улице Сан-Димас.

— Погляди-ка, — указывала она пальцем вдаль с балкона, заставляя гостя выворачивать шею под невозможным углом. — Вон там башня Союза и Феникса. Да ведь мы почти что на Гран-Виа! Я же тебе говорила...

Говорить она могла сколько влезет, но, разумеется, жили мы не на Гран-Виа, а в маленьком старинном квартале: кругом монастыри и дома без портье, без лифта, без центрального отопления — и с вековой историей за плечами, — пятачок в центре Мадрида, для одних это Новисиадо, для других — Маласаниа, Сан-Бернардо, Конде-Дуке, а для таксистов и вовсе Агуэйес — ему до сих пор не дали названия. Здесь вырос мой отец, здесь выросла моя мать, здесь они познакомились, приглянулись друг другу и начали встречаться. Здесь же, в церкви Святого Иакова, они повенчались и сняли квартиру в большом и ветхом доме с кровлей, провисшей под покрытием из старой, сухой щепы, и полом в мелкую красно-белую шашечку, что ходил ходуном под ногами, в доме, которого я так и не узнала, потому как мамой овладела горячка ремонта, прежде чем я покорилась власти рассудка. Разделенный на равно несуразные части, коридор оставался бесконечно длинным и тесным, а спальня моя, за которой сохранилось гордое название кабинета, была на самом деле каморкой без окон, но при всем при том богатых и бедных еще никто не отменял. Не хватало опять поругаться, для полного счастья.

— Вальдеаседерас? — мать выразительно насупила бровь. — Ха! Это ужасный квартал, считай, одни лачуги.

— Вальде... как бишь его? — как обычно, не удержалась бабушка. — Это не в Мадриде.

— Это как это, бабушка? Там ведь есть даже метро и вообще.

— Ну и что, что метро! Само собой, там должно быть метро, поезда теперь ходят, наверное, до Толедо... Тоже мне!

Послушать сеньору Камилу, как неизменно обращались к бабушке жители квартала, границы Мадрида по сей день пролегают строго в пределах города ее юности, разве что с поправкой на Вентас, и то потому, что там площадь быков, а все, что дальше, дескать, что твоя Сеговия. С ней лучше было не спорить: при первой возможности она норовила тебе рассказать, как ее единогласно избрали "Мисс Чамбери-1932", как через грудь ей повязали зеленую ленту с вышитыми на ней золотыми буквами, как тем же вечером она с этой лентой зашла в таверну своего отца и про то, как мой прадедушка залепил

ей пощечину — за Мисс — и подтек на щеке не рассасывался неделю, так что я промолчала и никогда больше не упоминала об этом неловком и тайно влюбленном призраке, который, казалось, живет лишь затем, чтобы на меня смотреть. Время и булочница Кончита, действуя сообща, воздали мне за терпение, и мне удалось кое-что выяснить. Гопник был внук сеньоры Фиделы, неотесанной, нахрапистой старухи, отличавшейся дурным нравом и еще более скверным языком; она жила на углу Монсеррат и Акуэрдо, в двух шагах от моего дома. Ее муж, незавидный, зато покладистый мужичонка, имени которого, конечно, не знал никто, — в моем квартале привилегией имени пользовались одни женщины: так, о сеньоре Таком-то говорили не иначе, как о муже сеньоры Такой-то, — всю жизнь прослужил помощником учителя в школе Кардинала Сиснероса и добился для этого школяра места на его отделении на улице Рейес, несообразно далеко от дома. Я же, за неимением лучшего, училась в школе Лопе де Вега, и вот, когда я была уже готова оценить по достоинству эти глаза, в которых, возможно, моя жизнь обрела бы смысл, Анхелита вдруг сделала поистине ошеломляющее открытие, и подвиг этот довершил ее превращение в Ангелину.

В миг, когда я переступила порог "Топаза", мне показалось, что я очутилась в другом мире. Эта шикарная дискотека — всюду, даже в туалетах, затемненные окна, в коридорах — высокие зеркала в золоченых рамах, диваны, широкие, как супружеская постель, полумрак комнат и, главное, официанты в смокингах: последнее, признаюсь, я в те годы считала высшим пилотажем изящного вкуса, — она не имела ничего общего с дешевыми барами района Сентро, которые, будто вехи крестного пути, отмечали паломническую череду моих поздних пятничных и субботних часов. Конечно, у нас с Ангелиной тоже было не так много общего с отборными стадами Чамартин-де-ла-Роса, что паслись в этом заведении. Никогда не забуду этой страшной неловкости, неприкаянности, язвой расползшейся по моим щиколоткам: стыд, как проказа, грозился выдать меня на каждом шагу, пока я искала себе подходящее место, место, где бы я с моей внешностью не выделялась из массы блондинок с круглыми попками в импортных джинсах в облип и с тысячью серебряных колечек на обеих руках и верзил с залаченными волосами, плотно затянутых в синие блейзеры с золотыми пуговицами, на каждой — гравировка в виде якоря. Флотская мода, несколькими годами позднее всколыхнувшая этот город, столь радикально чуждый всем морям, тогда еще лишь подступала, как смутная угроза, но я не умела шнуровать ботинки морским узлом, и трагичнее

этого было лишь то, как на мне сидели левайсы, которые моя мать исправно покупала мне в те годы. Однако пижоны, похоже, были генетически запрограммированы на обнаружение круглой попки даже в крайне неблагоприятных условиях: довольно скоро ко мне подошел первый, еще страшнее меня, еще ниже меня, еще толще меня — и намного глупее меня, — с которым, однако, был друг, знакомый с двоюродным братом одного действительно классного парня, блондина в неизменных хлопковых теннисках очень ярких тонов с белым воротничком и номером на спине: потом выяснилось, что все они были регбисты. Блондина звали Начо, он учился на факультете управления Католического университета, ему было девятнадцать и у него был "форд-фиеста" последней модели, цвета металлик, со множеством прибамбасов, кроме того, за парнем водилась славная привычка оплачивать столько джин-тоников, сколько я пожелаю между одним засосом и другим, как у нас тогда назывались поцелуи. Когда мы начали встречаться, он первым делом втолковал мне, что "Топаз" — образцово провинциальное место.

— Тут неплохо оттянуться, баб много, но, как бы это сказать, обстановка пошлее, чем маков цвет.

Тогда я стала заглядывать в бар поблизости, вниз по улице Оренсе, притом что тот, как две капли воды, походил на самые вульгарные кабаки моего квартала. Заведение очень маленькое, на пару столиков, у барной стойки — баррикады, так что большинство посетителей выходили выпить в мрачный подвал с бетонными стенами. Названия у бара не было, но все называли его "Пичурри" в честь игрока регби, его основателя, и в скором времени я изобрела достаточно аргументов, чтобы в собственных глазах упрочить славу этого места для избранных. И вот там-то, на пике самообольщения, куда я загнала себя, случилась неизбежная развязка.

— Я тебя предупреждаю, этот чувак меня уже затрахал...

Я притворялась, будто ничего не замечаю, неукоснительно держась этого правила, с тех пор как поняла: как бы я ни старалась оставить позади свое прошлое, мне не отделаться от его тени, но рядом со мной Ангелина так истово потирала ладонью о ладонь — можно подумать, собралась содрать с них кожу, — и пускай меня подмывало вмешаться, напрячь тело и волю — и раз в жизни вклиниться в ясный ход событий, здравый смысл подсказал мне, что Начо прав, что, может, хватит, каждый вечер одно и то же: таинственное появление одинокого и мимолетного призрака, которого мне никак не удавалось сбить с пути, его хрупкой фигуры, что ищет убежища за углом каждого дома: руки плетьми повисли вдоль тела, плечи поникли, голова понурая, весь облик его — идеальная ширма для глаз, чье выра-

жение не менялось никогда, глаз, твердых, как камень, глубоких, как колодец, блестящих и жестких, как два ножа.

— Чего, дебил, пялишься на меня? Чего пялишься, я тебя спрашиваю? А? Я тебе посшибаю рога!

Я спряталась в туалете, чтобы не присутствовать при избиении, но мой слух успел различить глухие звуки ударов и сдавленный стон. Когда я вернулась, мой парень все еще бесился, визжал, как недорезанная свинья, а Гопник, у которого рассечена была бровь и кровь пошла носом, пустился прочь по подземному лабиринту АСКА, однако медлил, прежде чем скрыться совсем, на мгновение даже остановился, рискуя схлопотать запоздалую затрещину, обернулся и посмотрел на меня, и я уловила его последний взгляд, и мне до жути захотелось плакать.

В тот вечер не было прощания, потому что я не чувствовала в себе сил поцеловать Начо, дотронуться до его пальцев в ответ на робкую ласку. Я не сказала ему ничего, потому что знала — он не поймет. Я и сама мало чего понимала, но на другой день я все равно его бросила.

Спустя пару месяцев я познакомилась со своим вторым парнем, Борхой, владельцем парусной яхты, пришвартованной на Мальорке, чьим особым предпочтением пользовались террасы Посуэло, на одной из которых я повстречала Чарли. Чарли забросил учебу ради того, чтобы открыть спортивный центр, и это он познакомил меня со своим двоюродным братом Хакобо. Отец Хакобо, бессменный кандидат в президенты клуба "Реал Мадрид", как-то раз пригласил меня на летние каникулы в свой громадный особняк с видом на изумительный пустынный белый пляж на побережье Кантабрии, где я за весь месяц так и не решилась искупаться, так как, едва я заходила в воду, от холода синели пальцы ног, что, по всей видимости, не должно было меня беспокоить, поскольку летний отдых на Средиземноморье — "не катит", за исключением более-менее сносного варианта Балеарских островов.

Ни за Хакобо, ни за Чарли, ни за Борху, ни за Начо я замуж не вышла, зато с Мигелем дело шло к свадьбе, и я бы пошла за него, не тяни он столько времени со знакомством с родителями, дипломатом с супругой, к которым питал уважение, граничащее с нескрываемым страхом, отнюдь не делавшим чести тридцатилетнему мужчине. Я же в те годы училась на химическом, и, вопреки энтузиазму матери, которой не терпелось увидеть меня в белом халате на улице Иеронимос, каждое утро просыпалась с чувством, что все больше похожу на свою бабушку, так мало-помалу я сознавала, что все эти отпрыски обеспеченных семей, родом, как правило, из Сантандера, в глубине души такие же провинциалы, как Анхелита, которая

в конце концов сошлась с замечательным парнем из города Акала-Реаль и без тени страха обдумывала возможность отдохнуть пару месяцев в родном пригороде своего отца, точно так же, как в свое время ее мать, не внявшая зловещим пророчествам моей матери, когда та узнала о ее планах.

— А тебе там не тесно? — как-то раз спросила я ее.

— Да нет, — отвечала она. — По-любому, я не встаю с постели...

— А вот ты встанешь, — настаивала я. — И тебе придется мириться со сплетнями соседок, что, де, у тебя слишком короткая юбка...

— На себя посмотри! — отрезала Анхелита. — В этой части Араваки каждый божий день барбекю, то да се, а твой муж сколько зарабатывает, а мой муж столько зарабатывает, и тебе партия в сквош, и нате, пожалуйста, спортзал с Менганитой, и телефон клоуна на детский утренник, и чтоб не хуже, чем у Пилуки с ее фокусником... Потом, мне надоест, мы соберемся и вернемся обратно, а ты... ты-то куда подашься из своей Араваки? Сегодня, солнышко, я еще добрая, мы закроем глаза на то обстоятельство, что мой жених намного лучше твоего.

В этом она была права, как и во всем остальном. Мигель отказывался жить в городе, называя провинцией отвратительное нагромождение городских застроек с претензией, тогда как я ничуть не стыдилась, что у меня за душой нет ни дома с каменными стенами и садом, ни рыбацкой деревушки, ни пастбища, ни лужайки, ни пляжа, чтобы заехать туда на каникулах, что пепелище мое — мой балкон, облицованный пятачок, куда летними вечерами можно вынести табуретки, подышать с бабушкой свежим воздухом, наблюдая за тем, как летят дни и от патио подымается извечный дух тушеных бобов, растворяется во всеобщем и слаженном утреннем гуле зимнего города, раскрытого, подкрашенного пенкой, расцвеченного лампочками, внезапно переодетого в сад, разбитый на необъятной, необозримой террасе. Я еще не уехала, а уже скучала по всему этому — подкачал, однако, не только пейзаж моей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, вернее отметить, эту легкость в плечах при ходьбе, будто мои ноги ничего не весят, будто тело не в состоянии придавить их к земле, по которой они ступают. Я перебирала, как мне самой казалось, проходные варианты, действуя по примеру утопающего, что хватается за соломинку, но почва дала трещину тогда, когда я меньше всего этого ожидала.

Мигель вез меня к своим родителям: те, наконец, пригласили меня на ужин. Из окна мне предстало однообразное зрелище Капитана Айа, одинаковые по обеим сторонам улицы, застекленные башни сменяли друг друга, мелькали гаражи, са-

ды и пальмы у крыльца, спесь нуворишей не впечатляла, как прежде. На повороте машину резко повело вправо, и мы вырулили на улицу, где я никогда раньше не была, только мне все равно, потому что она такая же, как и все остальные, и снова налево, все дальше, вперед, и потом медленнее, потому что мы искали, где припарковаться, и не могли найти, все улицы, все фасады, переулки — неотличимы, но вдруг, на двадцатом повороте, на обочине блока элитных домов, я очутилась дома, в особенном, старом квартале с налетом сельской старины — казалось, по прихоти судьбы он вырос из-под земли, дешевые магазины, здания в пару этажей, с балконов срываются звуки румбы, женщины в халатах, стоящие за хлебом, станция метро со знакомым до боли названием, пять слогов, как удар камнем меж глаз.

— Останови, — говорю. — Я выхожу.

— Ладно, как хочешь... Родители живут сразу за углом, через дорогу, подожди меня...

— Ты меня не понял, — объясняю, открывая дверцу машины. — Я не пойду к твоим родителям, я возвращаюсь домой, на метро.

Я твердо ступила на бетонный тротуар, осязая его под подошвами, и у меня мелькнуло странное ощущение, будто за то, что я разгадала тайну двуликого города, тот дал мне ключ к моей собственной жизни, и тогда только я наклонилась вперед, к опущенному стеклу, попрощаться.

— Ты не смотри на меня, Мигель, — произнесла я с расстановкой, уверенная, что он все равно не поймет. — Потому что ты не умеешь смотреть на меня.

А потом станция "Вальдеаседерас" сомкнула за мною объятия, как смыкаются в объятии лишь материнские руки.

2

Не мое это дело, скидки.

Как сейчас помню: эскалатор дал передышку моим ногам, а тем временем я размышляла об этой своей неспособности откопать в куче барахла заветную вещицу, помню также, что сначала увидала ее, зарекалась попадаться на эту удочку, нет, чтобы я еще хоть раз отстояла очередь в примерочную, как вдруг заметила молоденькую брюнетку, чьи волосы были заплетены в длинную и густую косу, такую же точно, как та, что носила я девочкой, и потом уже, в пролете между третьим этажом — мужской отдел — и вторым — все для женщины — заподозрила типа, поднимавшегося на третий, в том, что тот не сводит с нее глаз, и взбесилась, и тут же взбесилась, что меня это взбесило, потому что моя реакция, естественная и все же

мелочная, в сущности, нелепая, свидетельствовала о том, сколько мне лет, куда красноречивее зеркала в ванной по утрам с похмелья, и тогда я решила, что он, наверно, осел, и подняла глаза, чтоб посмотреть ему в лицо, и мало того, что он был непохож на осла, вдобавок это был он.

Его глаза встретились с моими, он нахмурил нос, но не захотел смотреть на меня, он меня не узнал, и, как бы я ни боялась ответа, разумеется, я спрашивала себя, не изменилась ли я так же сильно, как он, с того самого лета 77-го или, может, 78-го. Я уже и не помнила даты, но с тех пор прошло больше пятнадцати лет, и при взгляде на него никто бы не догадался, какое бесславное прозвище пристало к нему в отрочестве. Его осанка хранила печать преждевременного уныния, отмечавшего некогда каждый его жест, при ходьбе он, как и прежде, горбился и опускал голову долу, но новая стрижка, пиджак из шерстяной ткани с искрой, замшевые шнурованные ботинки, бумажник из терракотовой кожи — изрядно потертой, но добротной — в руке, все выдавало в нем эту нарочитую небрежность, спутницу элегантности. Дела у него идут хорошо, думала я, шагая через две ступеньки вверх, против движения полотна, не вполне отдавая себе отчет в том, что отправилась следом за ним, пока не застала его за покупкой носков, однотонных бордовых, серых и черных. Расплатившись кредитной картой, он вернулся к эскалатору, а я за ним, он вышел на улицу Пресиадос, и я за ним, и, не теряя его ни на секунду из виду, я увернулась от палатки наперсточника, от пары уличных музыкантов и одной танцующей козы, пока мы не добрались до Кальяо, откуда он продолжил путь до Гран-Виа и вниз, поравнялся с кинотеатром, миновал его и затем еще один, и еще в направлении к улице Сан-Бернардо, вдоль которой мы прошлись вместе, как в старые времена, разве что в те годы я бы не отважилась предположить, что он будет шагать, не оглядываясь, впереди, а я за ним, кое-как затесавшись в ряду фонарных столбов, так мы пересекли улицу Пес, а он все продвигался без остановки вплоть до угла Сан-Висенте-Феррер, и в этой точке резко повернулся на пятках на сорок пять градусов, и я замерла, толком не зная, куда идти, наблюдая за тем, как он размашистыми шагами отмеряет проезжую часть, держа голову, как всегда, прямо и, казалось, не придавая значения правилам уличного движения, и застывает как раз напротив меня, на другой стороне. Неторопливо оборачивается и осторожно поднимает на меня глаза, и я понимаю, что все это время он сознавал, кто идет за ним следом.

Я решалась пять суток — четыре дня, а потом еще два утра подряд, пока не собралась с духом и не толкнула дверь булочной,

не вполне представляя себе, что сказать и с чего же начать, когда будет покончено с поцелуями и объятиями, дежурными соболезнованиями и поздравлениями, но Кончита нечаянно пришла мне на выручку — с ума сойти! дай на себя посмотреть, ух, какая ты элегантная! совсем нас забыла, ясное дело, мы люди бедные... — и взамен я не пожалела красок при описании обстоятельств своей жизни и, главное, убогих размеров квартиры на Мартин-де-лос-Эрос, аренда которой стоила мне — соврала я — больше половины моего оклада.

— Слушай, я подумываю вернуться в своей квартал, — продолжила я с неожиданной для самой себя непринужденностью, — отхватить там что-нибудь не слишком крупное... Наверное, я не одна такая, я имею в виду детей нашего поколения... Брат сказал мне, он пару дней назад видел, как внук сеньоры Фиделы выходил из подъезда на Сан-Висенте-Феррер...

На лице Кончиты было написано, что она не́ помнит ничего, и я сказала себе, что, может, оно и к лучшему, но она тут же нашлась и слово в слово подтвердила мои догадки, ясное дело, Хуанито вернулся.

— Значит, — пробормотала я, — его зовут Хуан...

— А как же! — Кончита так и подскочила при виде моей растерянности. — Он и маленький был Хуан. А как, по-твоему, он должен называться?

— Да, конечно... И чем он сейчас занимается?

— Ой, не знаю. Преподает в университете, или вроде того...

Выяснить, что же именно он преподает, оказалось чуть сложнее, так как моя собеседница помнила лишь, что его специальность начиналась на букву "А" — дочка, не знаю!.. вы все теперь такие заумные, — и я назвала первое, что мне пришло в голову: архитектор, — бери выше! Тут посерьезнее будет — и тогда я спросила, не адвокат ли он. — Что ты! Не то... То намного серьезнее — и так, примеряясь к ее своеобразной шкале престижа, я отмела аллерголога, авиаинженера, авиакосмического конструктора, агронома, археолога, астронома, астрофизика и еще кучу слов с греческими корнями.

— Ну, давай! — уперлась она под конец. — Ты должна знать это. Их даже иногда показывают по телевизору, они рассказывают про дикие племена, и все такое прочее.

Я моментально сообразила, что́ она хотела сказать, но помедлила несколько секунд, прежде чем открыть рот, будто эта версия казалась мне менее правдоподобной по сравнению с теми, что я сама предлагала, и с неизбежностью мой голос немного дрогнул, когда я произнесла первый слог.

— Ан-тро-по-лог? — отчеканила я почти с опаской. Кончита воздела руки к небу и издала победный возглас.

— Точно!

— Гопник — антрополог? — переспросила я, словно одного подтверждения мне было недостаточно.

— Да, — и поправила меня, слегка надувшись, — и я тебе уже говорила, его зовут Хуанито.

— Гопник — антрополог! — прошептала я, — Да, конечно, да... мать моя женщина!

Кончита вынула пилочку для ногтей из чаши для песет, уселась на табуретку по другую сторону прилавка и принялась за маникюр, будто меня здесь не было, но, когда я уже подыскивала подходящую формулу для прощания, она к полнейшей моей неожиданности, не отводя глаз от своей левой руки, присовокупила:

— Кстати, он неженат.

— И для чего ты мне это говоришь?

— Ни для чего, — посмотрела она на меня. — Просто так.

Он точно бы мне не поверил, признайся я, что все вышло случайно, но только мне было бы проще, если бы это был другой балкон, или другой подъезд, или этаж, если бы нас разделяло хоть минимальное несоответствие уровней, малейшая дистанция, и, если бы я могла выбирать, я присмотрела бы себе окоп по соседству, сообщающийся с его, скажем, через плоскую крышу или закрытое патио, но, хотя уже на четвертый месяц агенты по недвижимости связались со мной, мне все же было не шестнадцать, и время то мчалось — не остановить, то слишком долго тянулось, приводя в отчаяние того, кто знал, что владеет им не в полной мере.

Брови девочки из агентства подскочили по самое не могу, когда я попросила ее не поднимать жалюзи на балконах. В полумраке я обследовала комнаты с видом на улицу — кабинет, гостиную, еще один кабинет, спальню и еще одну спальню... — и согласно кивнула, удостоив лишь беглым взглядом кухню и ванную, хоть и недавно отремонтированные, но обращенные окнами в безразличный мне переулок. Пока по моему поручению электрики налаживали освещение в наглухо запертой квартире, каждая моя вещь боролась за свое место в ней, когда же хлопоты оставались позади, я решила дать себе время обвыкнуться в новом пространстве. Почувствовав себя увереннее, я в тот же день по дороге с работы купила букет цветов. Поставила фарфоровую вазу на стол, повернутый под выгодным углом, после чего замедленным движением раскрыла балконные двери гостиной. Губы непроизвольно расплылись в улыбке, так и не осознанной до конца. По другую сторону улицы, на балконе третьего этажа строения, смежного с до-

мом напротив, стоял он. Он видел меня и едва не улыбнулся в ответ.

В короткий срок я многое узнала, а впрочем, скоро мне стало этого недостаточно. Хуан — повторяла я снова и снова, иной раз вслух, иной раз про себя, пока не привыкла называть его по имени, — был крайне несобранным, мало ел, спал и того меньше и проводил почти каждый вечер вне дома, несмотря на то что должен был рано вставать, так как читал лекции по утрам. Днем он обычно оставался дома и смотрел на меня. Порой он подходил к балкону с книгой в руке или долго говорил по телефону, не сводя глаз с окна, подстерегая каждый следующий мой жест, как бывало в детстве. Мои зеленые жалюзи не опускались ни днем, ни ночью, усталость давала знать о себе и подкрались сомнения: довольно ли ему скромной победы над моим изображением в балконном проеме, льнущим часами к стеклу, словно трехмерная переводная картинка? — однако знаков, что он уповает на большее, не последовало. Я крепилась еще какое-то время. Затем тревожное волнение одержало верх и подвигло меня к составлению списка тактических маневров, в равной мере безрассудных. Вывесить на балконе плакат я очень стеснялась, от одной мысли о том, чтобы набрать его номер, у меня сосало под ложечкой, а перейти дорогу и попросить у него соли было бы невозможно физически, потому как мои ноги навеки срослись бы вместе, прежде чем я бы переступила порог его дома. Кончилось тем, что я вытряхнула из гостиной всю мебель. Перетащила ее в коридор и принесла из кухни табуретку, поставила табуретку ближе к балкону и села на нее без всякого дела. Я надеялась, он поймет, он, который умел толковать все мои жесты, однако, когда я подняла глаза, его глаза лишь на пару секунд удержали мой взгляд.

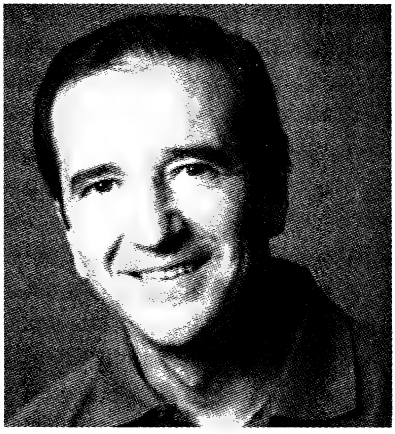
Его отсутствие не смутило меня, ведь он тут же вернулся, распахнул створки балкона и, облокотясь на балюстраду, посмотрел на меня. Подражая ему, я повторила его жесты один за другим, поначалу я не узнала мелодию, но в моей памяти она отозвалась прежде, чем я спохватилась, *настанет день*, он шевелил губами совсем рядом, по другую сторону улицы, но я не слышала его, *и час пробьет*, и в этот миг я поняла, что не знала, никогда не слышала его голоса, *ты от меня уйдешь*, и мне захотелось позвать его, окликнуть по имени, вымолить его крик, *мне уже не важно*, но я не осмелилась выдавить ни единого звука, *все не так уж важно*, и тут вдруг подхватила с ним вместе последние слова припева, *и всему коне-е-ец*, и потом музыка смолкла. А я настороженно замерла, уцепившись обеими руками за балюстраду. И смотрела на него, и едва не улыбнулась в ответ.

Погода прояснялась, и эта песня стала паролем, по звуку которого отворялись двери наших балконов. Дальнейшее произошло внезапно. Той июньской ночью стояла жара, тяжелый воздух был точно налит свинцом, а край лунного диска, казалось, вскипал на небосводе, таком горячем, что темнота не ложилась сплошным мазком. Он прибавил в динамиках громкости, и мне послышался плач, стон обреченной и жестокой любви, будто бы по другую сторону улицы резонировало отчаяние. Я встала и приблизилась к балкону, голос певца звучал, как и прежде, но только не для меня, и тогда я нащупала пуговицу блузки, не сознавая, что то был первый спонтанный жест со времен моего переезда сюда, единственное не выверенное заранее, не взвешенное слово; когда блузка упала на пол, я начала расстегивать юбку, а его глаза сосредоточенно смотрели на меня из-под бровей безупречного очерка, невозмутимых, словно выточенных из мрамора, моя юбка также оказалась на полу, и я сняла с себя остальное, не переставая смотреть на него, а он смотрел на меня, но не двигался, просто смотрел, вытянувшись в балконном проеме, как часовой, или кукла, или истукан, или как мертвое тело.

Мои веки сомкнулись, и слезы своим чередом потекли, побежали, покатились по щекам, знаменуя мой полный провал. И я должна была подчинить себе мышцы лица, побороть инерцию, что пригибала все мое тело к земле, чтобы снова открыть глаза, и больше никого и ничего мне не хотелось видеть, но передо мной был опустевший балкон, и мое сердце чуть не показалось наружу из сдавленной глотки.

Затем настала моя очередь опустить голову. Приподняв подбородок и наконец-то расправив плечи, переходил улицу он.

Мартин Касариего



Я знал разных людей

Рассказ

Перевод Марии Малинской

Я знал парня из Тригероса, Уэльва. Он занимался, в основном, тем, что спасал ежей на дорогах и шоссе. Ночью он выходил с мощным фонарем и шел километров тридцать, ища их на песке или на асфальте. Когда он находил ежа, он брал его и относил подальше от дороги, живого и здорового. Он делал это умело — обеими руками, как будто это не зверек, а баскетбольный мяч, и ежи никогда не пытались уколоть его своими иголками, не хрюкали, как свиньи. Он рассказал мне, что именно из-за хрюканья их так и называют[1], он много чего рассказал мне, но, к сожалению, я все забыл. Он говорил, что ежи смелее людей. Я целую неделю помогал ему. Мы спасли, по крайней мере, восьмерых или девятерых, а однажды мы видели раздавленного зверька, и вся мордочка у него была в крови. Мы зарабатывали чем придется, а иногда воровали фрукты. Ему часто давали денег пожилые дамы, то ли из жалости, то ли он чем-то привлекал их, поэтому воровать нам приходилось довольно редко. Я помню, что на той неделе, среди песка и сосен, отблесков фар и хрюканья ежей, луна убывала день ото дня. Много лет спустя я туда вернулся. Мне рассказали, что того парня сби-

© Martin Casariego, 1996
© Мария Малинская. Перевод, 2011

1. В испанском тексте употребляется слово "дикобраз" — puercoespín, досл.: свинья-иголка. (*Прим. перев.*)

ла машина, когда он пытался спасти ежа на повороте. Я спросил, где его похоронили, но никто не знал. Я все-таки надеюсь, что этот парень все еще спасает ежей по ночам на какой-нибудь далекой дороге или нашел себе другое занятие, которое кажется ему важным.

Я знал одну девушку из Сауариты, Аризона. Она была красивей всех, кого я видел в своей жизни, она была такая красивая, что я все время спрашивал себя, почему она теряет время со мной, почему пьет со мной пиво и разговаривает о деньгах, о любви и о хижине в лесу. Чтобы вы хоть примерно поняли, какая она была, я скажу, что она могла бы сниматься для глянцевых журналов и зашибать кучу денег. Ей было двадцать два, она была смуглая и темноволосая, с темно-зелеными глазами и густыми бровями. По матери она была мексиканка и говорила, ее бесит, что всех привлекает только внешность, что она бы предпочла не быть такой красивой. Я, конечно, ей не поверил, хоть она и говорила очень убежденно, она прочла в каком-то интервью известной фотомодели, что "красота — это внутреннее состояние", я много слышал всякой чуши насчет этого — естественно, только от очень хорошеньких девушек. Мы договорились встретиться на следующий год в том же самом баре, и, поверьте мне, я вернулся в Сауариту специально, чтобы снова увидеть ее. Я особо не надеялся, что она придет, но на третий вечер я ее увидел. Она стояла ко мне спиной, тем не менее я сразу понял, что это она. Я назвал ее по имени и, когда она повернулась, я заметил, что у нее нос другой формы, выщипаны брови и еще куча всякой фигни. Мы обнялись, и она мне рассказала, что сделала себе пластическую операцию на деньги, которые заработала, снимаясь для журналов. Мы выпили пива, и я понял, что эта сумасшедшая — женщина моей жизни. Я снова стал говорить ей о хижине в лесу, о реке, о местечке, которое я нашел около Россланда, Канада. Мне кажется, мое предложение тронуло ее, но я, конечно, не был мужчиной ее жизни. Прощаясь с ней, я поклялся никогда больше не возвращаться в Сауариту, Аризона, но не сдержался и расплакался, как ребенок: я знал, что никогда больше такую женщину не встречу.

Я провел три дня в Мехико с немцем, который тащил в рот любую пакость, которую ему предлагали. Ему и тридцати не было, но он мог бы сойти за моего отца. Его сводила с ума мысль о том, что он умрет и его тело съедят червяки и мухи. Ну не знаю, мне кажется, такая уж у нас судьба и лучше просто об этом не думать, но он, видимо, не думать не мог. Он повсюду таскал с собой мешок, полный мертвых мух. Он ловил мух каждый день по несколько часов, чтобы пополнить свои запасы. По крайней мере, они не воняли. Но ужасно было знать, что этот мешок полон отвратительных трупиков. Поэтому я и не смог выдержать рядом с ним больше трех дней. Он использо-

вал свой мешок как подушку. Он считал, что, когда он умрет и вместе с ним в могилу положат мертвых мух, его тело не сгниет — мушиные трупики отпугнут червей, личинок или кого там еще. Он заставил меня пообещать, что, если он умрет при мне, я прослежу, чтобы мешок похоронили вместе с ним. Когда удавалось заставить его сменить тему, он рассказывал очень интересные истории. Не знаю, мне кажется, мы могли бы стать друзьями, но между нами стояли трупы тысяч мух. В один из этих трех вечеров он устроил в баре такую потасовку, какая мне и не снилась. На следующее утро у меня болели все кости. Видимо, кто-то как-то не так отозвался о его мушином грузе.

Я познакомился с одной девушкой на Понте Веккио во Флоренции. Как только я увидел ее, я понял, что она сожжет мое сердце и во мне останется только привкус пепла и горелого мяса. Мы свалили куда-то в Адриатику, продавали браслеты и бусы, спали на пляже, а иногда и в отелях и неплохо протянули лето. Она была из Аргентины, у нее были карие глаза, рыжеватые волосы — она мыла их шампунем с ромашкой, и красивые ноги, ее легко было рассмешить или довести до слез. Мы ссорились (а это случалось часто), мирились, пили вино и рассказывали друг другу разные истории. Ее тело на вкус было как соль, как пиво, как море. Мы зарабатывали немало денег, но тут же все тратили. Иногда по ночам мы не спали, слушали свист ветра, однообразный плеск волн и строили планы на будущее. Если за день нам не удавалось ничего выручить, мы шли к неграм или к южноамериканцам — нашим конкурентам, а если они ничего нам не давали, мы довольствовались ласками и мечтами — ей никогда не приходило в голову отложить денег на черный день. Лето шло на убыль, наши безделушки подходили к концу, и, еще до того как я собрался предложить ей провести зиму в Полоп, Аликанте, она сказала мне, что ее мужчина ждет ее в Лобосе, Аргентина. Эта девушка сожгла мое сердце, и во мне остался только привкус пепла и горелого мяса.

В Алингсосе, Швеция, один чудак выплеснул мне на голову пиво. Я сидел у стойки в баре и думал о своих сестрах, когда ко мне, ни слова не говоря, подошел этот кадр, то ли блондин, то ли рыжий, плохо выбритый, с двумя шрамами на лице, слишком щуплый для своей огромной головы, и вылил мне на голову кувшин пива. Я сам не пойму, как это произошло, но мы стали друзьями. Он попытался извиниться и стал объяснять, что, когда видит серьгу в ухе и татуировку на руке, он теряет голову, просто перестает соображать. Казалось бы, мало кого удовлетворит такое объяснение, и тем не менее я объехал с ним за месяц юг Швеции и север Германии. У него в башмаки были зашиты кредитки, и он рассказал мне, что его семья владеет двадцатью пятью процентами акций какой-то там фармацевтической компании. Ко-

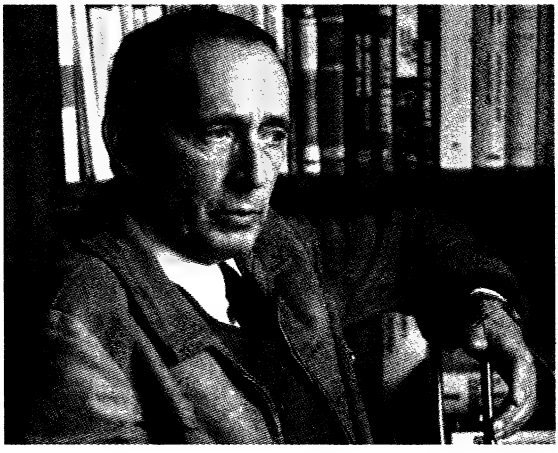
гда он об этом рассказывал, мне стало жаль его — я ему не поверил. Но однажды он напился и распорол ботинок. Достал оттуда карточку, снял пять тысяч марок и швырнул их в Эмс. Я спас несколько бумажек, которые ветер принес обратно, и мы пошли ужинать в хороший ресторан. За десертом я вылил ему на голову рейнского вина и объяснил, что, когда кто-то швыряет в Эмс тысячи марок, я теряю голову, просто перестаю соображать. Когда мы прощались, три дня спустя, я пожелал, чтобы ему никогда больше не пришлось прибегать к этим кредиткам.

В пригороде Лиссабона, Португалия, возле железнодорожных путей я встретил девушку, которой спас жизнь. Она была вся потная, в горячке, в бреду, по ногам у нее текла кровь. Я отмыл ее как сумел и отвез к врачу. У меня было отложено немного денег, и я предложил ей пожить у меня и прийти в себя. Несколько недель мы жили очень спокойно — читали, гуляли, спали и даже брали напрокат телевизор по выходным. Думаю, она в меня влюбилась. Она мне этого не говорила, она даже не пыталась влезть ко мне в постель, но это и так заметно, вы же лучше меня знаете. Она так и не рассказала, какого черта она делала у железной дороги, может быть, ждала, что я сам спрошу. Я не спросил, и, возможно, так лучше, но, когда я думаю об этих днях, таких спокойных, и об этих прогулках, таких приятных, мне хочется снова туда вернуться.

В Барселоне я познакомился с парнем, который потерял родителей, когда был совсем маленьким. Я помню его с банкой пива в руке, сигаретой в зубах и с блуждающим взглядом. Он говорил, что вышел из ада и в ад возвратится, ну не знаю, готов поспорить, он позаимствовал эту фразу из какого-нибудь вестерна. Ему нравилось играть в марсиан, мы играли сто раз, и я ни разу у него не выиграл. Однажды он предложил мне ограбить банк, он хотел достать денег, чтобы его бабушка могла жить по-человечески. Я решил, он шутит, но не засмеялся. Он показал мне пистолет. Я подумал — игрушечный. Его план был очень прост. Войти в банк, вытащить пушку, забрать деньги и спокойно, не торопясь, выйти. Но он разнервничался. Ему всадили две пули в живот, а одну женщину ранили в руку. Его вынесли из банка ногами вперед, как выносят преступников в его любимых фильмах, а вокруг стояли зеваки и гудели сирены "скорой помощи". Сами знаете, парню, которому всадили две пули в живот, уже никак не помочь, это медленная и мучительная смерть. После этого я понял, что у меня нет ни сил, ни желания жить дальше. Я смотрю на себя в зеркало, подмигиваю, и кажется, что мне лет сорок.

Ну, я знал разных людей, и мужчин и женщин. Мне жаль, что после стольких скитаний и стольких знакомств именно это знакомство оказалось таким коротким. Ведь, по правде говоря, про все остальные и рассказать нечего.

Мигель Делибес



Безумец

Повесть

Перевод Дарьи Синицыной

I

МИЛЫЙ Дависито!

Дависито, бедный ты мой! Вот я и пишу тебе снова. Не один ты умеешь упрямиться — у обоих у нас это от мамы; но все же братьям так не положено, не принято так, и если ты ко мне не идешь, то я к тебе пойду, получится-то в конце концов одно и то же. Когда я рассказал Санчесу, он мне сказал: "Что ты, дурак совсем? Нечего ему потакать". А я ответил: "Мы же с ним братья". — "Да без разницы", — сказал Санчес. Я призадумался, Дависито, не стану скрывать, и только когда Аурита сказала: "Большое ли дело — родному брату пару слов черкануть?", я решился и подумал: "А ведь она права".

И вот он я, Дависито, немного не в себе из-за всего, что в последнее время случилось. Пока еще не разобрался — докуда дошла правда или ложь и где была правда, а где — ложь. Знаю

© Heirs of Miguel Delibes, 1953
© Дарья Синицына. Перевод, 2011

только, что произошла страшная путаница, и из-за нее все стало по-новому.

Так что присаживайся, Дависито, закури, если куришь (хотя лично я не советую. Здесь уже давно считается, что от курева можно рак заработать), и читай внимательно, а я тебе разъясню все, как смогу.

II

Началось все вечером 13 октября, когда я вышел из конторы, подавленный — осенью у меня всегда случается непонятный упадок сил, с самого детства. Центр в этот час не улучшил мне настроения, там было мрачно и как-то печально, и почему-то, то ли Бог повел меня, я взял и завернул в первый переулок налево. Мне кажется, я так поступил ради спокойствия, хотя потом часто думал, что виновато тут таинственное притяжение, которое иногда возникает в жизни между людьми и событиями. Я долго шагал куда глаза глядят и очутился в незнакомом, одиноком закоулке, и тут мне на глаза попалась вывеска под тусклой лампочкой: "Винный погреб", и я подумал: "А не пропустить ли стаканчик?" И вот, Дависито, сколько совпадений: ведь я и вино не люблю, и горестей в рюмке никогда не топлю, и тех, кто пьет, когда не положено, осуждаю; не подумай только теперь, что брат у тебя — пьянчуга. Однако в погреб я зашел, сел за длинный стол и спросил белого.

Я не сразу заметил, что кто-то закладывает за воротник у стойки и разговаривает с зализанным барменом. Человек это был громоздкий, какой-то густой и недоотделанный. Черное пальто сидело на нем плотно, как пленка на сардельке. Пальто было коротковато, и из-под него выглядывали безобразно отвисшие на коленках штаны. Хоть он и размахивал руками во все стороны — этак нетерпеливо, — когда говорил, все же казалось, что движется он грузно, неуклюже и торжественно, будто слон. Но больше всего, Дависито, меня поразило его лицо; один глаз был косоват, зрачок все вертелся в разные стороны. Эти-то глаза — тускло-серые, чуть ли не белые, а внутри жидкие — и отталкивали. Губы были — или выглядели из-за бледной кожи — очень яркими, а нижняя, стоило ему умолкнуть, тяжело отвисала мертвым грузом.

III

Я так оторопел, что поставил стакан обратно на стол, даже не пригубив. Нечто непонятное, Дависито, приключилось со мной в ту минуту. Будто бы вдруг нынешняя моя жизнь соединилась с прежней моей жизнью. Странно, да?

У меня аж узелок заныл оттого, как я хочу передать тебе, каково мне было в ту минуту; больно это и тяжело. Словом, чего далеко ходить, с тобой, наверное, так бывало, Дависито, что вот услышал ты какую-то фразу или увидел какую-то картину вроде бы впервые в жизни, а чувствуешь, что ты эту фразу или картину уже переживал или заставал раньше, хотя и в лепешку расшибешься, а не вспомнишь когда, даже если во сне это было — и то не вспомнишь. Только знаешь, что это "повтор", и тут ты начинаешь подозревать, а не было ли у тебя прошлой жизни, в которой ты слышал ту же фразу или видел ту же картину, что и сейчас, совершенно не сомневаясь, что с тобой такое впервые. Все же сейчас ты говоришь себе: "Это для меня не так уж и в новинку".

Ведь бывало же, признайся, Дависито? И как бы ты ни раскидывал мозгами, мозги не срабатывают, и остаешься весь в сомнениях. Потом забываешь, и с концами. Нерушимость тайны, в конечном счете, навевает тоску, и ты сдаешься. Так вот, Дависито, нечто подобное, только очень живо и остро, испытал я при виде этого человека, и, хоть смотреть на него было тошно, я не мог отвернуться, как будто его глаза меня притягивали или как-то гипнотизировали, поработив мою волю.

IV

Бармен поглядывал на того человека искоса и самому себе злорадно и вымученно улыбался. На бармене был белый мятый пиджачок с винными пятнами на рукавах, а черные прилизанные волосы лоснились от бриллиантина.

Толстяк словно бы продолжал прерванную беседу:

— Хуже не придумаешь. Щеколду ведь снаружи ставят, и, когда просыпаешься и хочешь коленки согнуть, ушибаешься о крышку и сам сперва не понимаешь, что это за глухой шум от удара. Тогда думаешь: "Ладно, сяду-ка я", и садишься и — бац! — лбом о доски, и вскакивает шишак, и, раз ничего не получается, ты решаешь, что еще не совсем проснулся, и широко открываешь глаза, чтобы посмотреть, что за черт, но глаза болят, и ты уже сомневаешься, а вдруг они-таки закрыты, кругом ведь темно, и ни руки собственной не разглядеть, ни груди, ничего...

Он замолчал и опрокинул еще стакан. Ворочался он тяжело, но будто со скрытой силой, а голос из него лился медленно, как бы сгустками. Потом уже я заметил, что он неприятно гнусавит. Бармен улыбнулся ему кисло-сладкой, как лимонный компот, улыбкой, и это словно толстяка подстегнуло:

— Ничего паршивее на свете нет, понимаешь? И дело не только в темноте. Дело... во всем! Раз уж подняться не вышло, пытаешься потянуться, и тоже никак, потому что твой отец, или брат,

или кто-то еще из так называемых родных и близких сняли с тебя мерки в самый притык, отчасти потому что у них там принято кичиться, что все, мол, делается тютелька в тютельку, отчасти потому что древесина дорого стоит, и нечего расходовать ее направо и налево. В общем, даже потянуться невозможно, и тогда ты понимаешь, что заперт, и накатывает тоска, и снова дергаешься, но снова кругом доски, и к тому же одеяния, которые напялили на тебя жена или брат, мешают и сковывают еще сильнее. И внезапно ты ощущаешь одиночество. Вот что хуже всего — одиночество. Слышишь тишину, она налетает, как стая черных птиц. Сквозь доски просачивается тишина, и ты орешь, чтобы ее убить или хотя бы дать отпор, но крик путается в досках, и вот уже осталась от ора только раздерганная тряпица, которая и за три метра не слышна; и ты снова и снова кричишь, пока твои глухие крики не доведут тебя до отчаяния, потому что от них тишина вокруг становится гуще. Вдруг тебе приходит в голову: "Боже правый, меня живьем похоронили!" И ты кусаешь себе руки и вонзаешь ногти в доски, не дающие подняться, и клянешь все на свете, пока не устанешь. А потом завываешь и понимаешь, что не хватает воздуха, и снова набрасываешься на крышку, но твоя жена, или сестра, или так называемые родные и близкие прикупили товар каштановый либо ореховый, надежный, чтоб друзья сказали: "Молодцы, и тут, его, беднягу, уважили, не поленились". И убил бы их, паршивцев. Нет чтобы купить чего помягче, сосну, к примеру, а больше всего тебя гложет, что они это ради твоего же блага, чтобы ты лучше сохранился и твои останки не разложились бы сразу же. Тоскливо, знаешь ли.

V

Теперь у него на лбу поблескивали малюсенькие капельки пота. Он задохнулся. За версту было видно, что рассказ свой он пропустил через себя. Бармен перестал улыбаться. Он вытер руки о белый пиджачок и сказал:

— Черт, можно подумать, вы такое пережили.

Тут я не сдержался и крикнул:

— Еще белого!

Толстяк, не переставая пить, обернулся. До этой минуты он не замечал моего присутствия. Сквозь стекло на меня пристально уставился расширенный зрачок. В днище стакана его странный глаз вылезал из орбиты, множился и рос. Он немного посидел так, будто рассматривал меня в лупу. Разница между нормальным глазом и увеличенным стеклом оставляла неприятный осадок. Казалось, Дависито, что при виде меня он испытал нечто похожее на то, что я — при виде его. Зализанный бармен вернулся за стойку, налив мне еще, и повторил:

— Вы так живо это описываете, как будто сами пережили. Обалдеть!

Тот перестал глядеть на меня и медленно, степенно повернулся к нему.

— Мне такое снится каждую ночь, — сказал он. — А это куда хуже, чем пережить.

Он помолчал. Потом добавил:

— Знаешь историю про мужика, которого хотели признать святым и не признали за то, что в последний час он утратил добродетель терпения?

Зализанный покачал головой. Повисло изнурительное молчание. Я не выдержал и крикнул:

— Еще белого!

Толстяк вновь на меня обернулся. Ему не понравилось, что я перебил его. Бармен нехотя налил мне и вернулся за стойку. Тот продолжал:

— Хотели его канонизировать за многие его добродетели, а когда стали доставать мощи, то увидели, что и лицо, и руки, и все у него как сведено судорогой, а ногти впились в доски гроба. Его, оказывается, похоронили живьем, и он, в бессилии, отчаялся. Вот и все. Мороз по коже, верно?

Бармен попытался улыбнуться, но вышла лишь двусмысленная гримаса. Человек в пальто вдруг заговорил сбивчиво:

— Я хочу, чтобы мне выпустили две пули в голову, прежде чем хоронить. Или чтоб уж совсем наверняка, пусть свезут в Медицинский институт и разрежут на кусочки, на потеху студентам.

Бармена чуть было не стошнило. Он ничего не успел ответить, когда тот, другой, без всякого перехода сунул руку в жилетный карман и спросил:

— Сколько с меня?

Как только он ушел, я встал и спросил у бармена:

— Кто это был?

— А я знаю! Робинет, — сказал он.

— Француз, что ли?

— С чего бы? Может, австрияк или русский. Он тут живет.

Я кинул один дуро на стойку и выбежал на улицу. Там не было ни души, а уж Робинетом и подавно не пахло.

VI

Аурита хорошая девушка. Если тебе такая попадется в жизни, Дависито, женись не раздумывая. Мужчина только тогда и может работать в полную силу, когда ему на пути встретится хорошая девушка. Аурита вот хорошая, или мне кажется, что хорошая. Думаю, тут нет никакой разницы. Что до меня, то,

доложу тебе, я доволен. И неважно, что она взъярилась тем вечером, когда я впервые увидел Робинета, — во-первых, потому что явился поздно, и, во-вторых, потому что от меня, по ее словам, разило вином. Я пытался было втолковать ей, что выпить бокал вина — не преступление, а она ответила, что уже одни эти мои разглагольствования доказывают, что я пьяный. Я велел ей не быть дурочкой и не шуметь, а она заперлась в спальне, рухнула на кровать и зарыдала.

Но подумай, Дависито, как бы мы вели себя в ее положении, ведь раньше Аурита была не такая, совсем другая, и, когда я возвращался из банка с заледеневшими ногами, тапочки стояли у жаровни, а на столе ждал горячий кофе, и, когда я ложился спать, мне всегда было куда повесить пиджак, чтобы плечи не обвисли, а то я этого не выношу. И не то чтобы я злился на нее нынешнюю, наоборот, мне Ауриту жалко, потому что ее целый день то тошнит, то мутит, то прихватывает. Я спрашиваю: "Плохо тебе, милая?", из самых лучших побуждений, а ее это раздражает: "Что ты все время так говоришь, будто издеваешься?"

Я знаю, Дависито, она просто девчушка, да и только, и не скажу, чтобы красавица, и не одна из тех, на каких на улице оборачиваются, но, смею тебя уверить, у нее есть свой шарм, этакий неуловимый, — я же уловил его сразу, как только с ней познакомился. И было это одно из самых главных совпадений в моей жизни.

VII

Представь себе, стою я как-то в очереди в кино, и подходит ко мне девушка и говорит: "Простите, вы не могли бы мне взять билет, только не на балкон?" Я покраснел и громко ответил: "Конечно, о чем речь!" И тут я кое-что придумал. Я подумал, а не взять ли мне место рядом с ней, хотя сначала собирался на балкон, там подешевле. От одной только мысли я разнервничался и дождался, пока погаснет свет, чтобы она не заметила моего волнения, и в полумраке сел рядом с ней, и она глянула на меня искоса, а у меня будто камень внутри.

И вот ведь совпадение: фильм был про мелкого банковского служащего, который влюбляется в миллионершу, а миллионерша притворяется мелкой служащей, чтобы быть уверенной, что он любит ее, а не ее деньги. Я не сдержался, Дависито, наклонился к ней и срывающимся голосом прошептал: "Я тоже служу в банке". Она улыбнулась и ответила негромко: "Но уж я-то точно не миллионерша". Я осмелел и сказал: "Оно и к лучшему". После кино я проводил ее до дому, а потом несколько дней следил, куда она ходит, и однажды она стояла в очереди в другой кинотеатр, и я, будто случайно проходя мимо, спросил:

"Сеньорита, вы не могли бы взять мне билет?" И, на удивление, это ее рассмешило, и с того дня мы подружились и стали часто встречаться, а мне тем временем уже осточертела хозяйка, которая связалась с молоденьким студентом и не брала с него за постой, и осточертел бельгиец, который надувался пивом и каждую ночь ссал в ванну, пакостник.

Однажды вечером я выпил пару рюмок и заявил Аурите, что буду счастлив жениться на ней и зажить в трехкомнатной квартирке с ванной. Аурита рассмеялась и сказала: "Ну что ж, давай будем счастливы". И мы пустились в расчеты, и навскидку я легко мог это осилить, и тогда Аурита сказала: "Только не забудь, дорогой, моя страсть — кино". Она прикрыла глаза и будто чуть-чуть всплакнула, и мне, Дависито, в тот миг чертовски захотелось ее поцеловать.

VIII

А так, если Аурита сейчас и бывает со мной сурова, я ей прощаю, потому что помню, что, когда я был одинок и беззащитен в этом городе, она протянула мне руку и обошлась со мной ласково. И в тот вечер, когда она разворчалась, что я поздно явился и воняю вином, я смирился и сел ужинать, думая только о Робинете, пока не понял, что Робинет превратился в идею-фикс, и Аурита тоже подметила какую-то странность, и даже Санчес, мы с ним работаем в отделе ценных бумаг, сказал:

— Что-то ты, Ленуар, какой-то заторможенный последние недели две. Случилось что?

Услыхав Санчеса, я впервые обратил внимание, Дависито, что фамилия у меня французская, как у Робинета, и сказал себе: "Вот и еще одна точка соприкосновения". Но, выходя из конторы, подумал: "И что такого может быть во французской фамилии?" Потому что прекрасно помнил, Дависито, историю дедули Ленуара, как он приехал проводить железную дорогу Рейноса-Сантандер и в одной деревне, где они долбили тоннель, познакомился с бабушкой, а прадед, который чужаков крепко не любил, сказал: "Моя дочка французу не достанется". Но дедуля Ленуар, привычный к долблению камней, без труда пробился к сердцу бабушки. Он говорил ей во время тайных свиданий: *Ma cherie, mon amour est aussi grand, aussi ferme, et definitif que l?une de ces hautes montagnes.* Потом уже прадедушка уступил, потому что дедуля Ленуар грозился застрелиться у них под окном, если после третьего свистка бабушка не выглянет на балкон. Ты, конечно, Дависито, можешь спросить: "А при чем тут мсье Робинет?" Я тоже себя спрашивал и, однако, обдумал и передумал все это тысячу раз, так что даже стал представлять себе дедушку Ленуара с лицом Робинета или Ро-

бинета, который вдруг размяк и произносит: "Дорогая, моя любовь так же велика, так же крепка и нерушима, как одна из этих высоких гор".

Но, по правде говоря, Робинет оказывался все дальше от меня, Дависито, а я желал протянуть между нами спасительную нить и терял аппетит, сон и покой, а Аурита меня бранила и велела выпить аспирину и чуть что повторяла, что в животе у нее — наше с ней общее и мы должны поровну нести ответственность.

IX

Поэтому я предпочитал размышлять о своих делах в банке, благо место мне там выделили уютное и неприметное. Представь себе, Дависито, уголок, а в нем, напротив окна, — бюро, а позади, прямо рядом, — батарея, которая постоянно греет мне поясницу. Я там в полном уединении и, если только кто-то не придет ко мне специально, не виден и не слышен. Там я в свое удовольствие раздумывал о Робинете и делал пометки, чтобы не запутаться в мыслях, и строил догадки, от которых по ночам не мог глаз сомкнуть; словом, в те дни я работал головой так напряженно и в то же время настолько без толку, что ослаб, и у меня на шее вылез узелок. Врач, осмотревший меня по страховке, сказал, что это ганглий, и прописал больше кушать и спать по десять часов, но Аурита учинила скандал, мол, если я так ношусь с паршивым узелком, то ей-то что со своим делать. Ее раздражало, что я так обеспокоен и погружен в себя, и, в конце концов, однажды вечером она взорвалась, начала собирать чемоданы и сказала, что уезжает к матери. Я ее хотел удержать, а она сказала:

— Может, я еще должна терпеть, что мой муж завел любовницу?

— Ну, не говори так! — отвечал я.

— Ах, не говорить? А о чем ты все время думаешь, отчего ты не спишь и не ешь, можно узнать, а?

Я поклялся ничего ей не выдавать, Дависито, потому что от сильного перепуга может родиться урод, — я знаю, — но, видя ее в таком состоянии, выложил все начистоту; она выслушала и сказала:

— Да со мной сто раз на дню так бывает, что кого-то вижу и не помню, в какой лавке он торгует. Глупости это, детский сад.

Я хотел было втолковать, что тут другое, но она заладила про своих неизвестных лавочников; и все же, не заметив во мне особых перемен в последующие дни, Аурита взяла за привычку то и дело с плачем и упреками говорить, мол, она не выносит, что Робинет мне дороже ее.

Дависито, прошу тебя, поставь себя на мое место. Догадка, предчувствие... Правда, больше ничего. А жена против меня, и мое здоровье против меня, и все против меня, а я стою на своем. Санчес, мы с ним работаем в одном отделе, тоже заметил мою тревогу и однажды сказал мне: "Осторожнее, Ленуар. Не поддавайся идее-фикс, а то идея-фикс в башке да еще на пустой желудок доведет тебя до дурки". Я струхнул, Дависито, потому что ведь и вправду сильно волновался, но со временем наваждение мое одолело страхи, и я решил без устали искать Робинета, пока не найду.

И, словом не обмолвившись Аурите, каждый вечер после работы я стал обходить улочки вокруг винного погреба того зализанного. Аурите я говорил, что у нас дебет с кредитом не сходится, такое и вправду часто случается и здорово нас задерживает. В один такой вечер, устав без пользы бродить, я толкнул дверь погреба и вошел.

— Добрый вечер, — сказал я зализанному бармену.

— Добрый, — сказал он.

— А где Робинет?

— На что вам сдался Робинет?

Я, Дависито, готов был заплатить за услуги и вложил ему в ладонь дуро. Он так пронзительно и отрывисто расхохотался и стал так размахивать моим дуро над головой, что меня обида взяла. И вдруг завопил:

— Хотите укатать Робинета — ищите его сами; мне он ничего плохого не сделал.

Я думал, может, все же сдастся, но он швырнул купюру, какую-то мокрую и липкую, мне в лицо. Я решил сдержаться и ушел оттуда, а когда пришел домой, Аурита беспощадно вернула меня к реальности:

— Ты откуда это? — спросила она.

— Из конторы, — сказал я. — У нас дебет с кредитом.

— Неправда! — закричала она.

Я заметил, что в доме моем поселилось непонимание со времен появления Робинета. Аурита сомневалась в моей верности.

— Я позвонила из лавки, — добавила она. — Мне сказали, ты ушел полтора часа назад.

Я покраснел, Дависито, — всегда краснею, когда на вранье поймают.

— Ладно, — выдавил я наконец. — Я разыскиваю Робинета.

— Снова он появился? — в сердцах спросила Аурита.

— Ничего не могу с этим поделать, — сказал я, снимая пальто.

И в эту минуту, Дависито, я захотел свою жену, захотел ее плеч и ее горла и присел на ручку кресла, где сидела она, и обнял ее за талию и почувствовал электрический разряд ее тела под моей рукой. Она ничего не делала, а я от этого еще больше распалился. Она взглянула мне в глаза:

— Обещай, что не будешь больше думать о Робинете! — велела она. — А то ни-ни.

И я поклялся, потому что тогда поклялся бы и в колодец прыгнуть. Но вот тебе вопрос, Дависито: чего, по-твоему, стоит клятва, данная в таких обстоятельствах?

XI

Практикант каждое утро приходил колоть мне йод, очень болезненные уколы. Мне казалось, он меня насквозь протыкает, я ему так и сказал. Он весь был маленький и остренький, как его иглы, и вечно хмурый. Он ответил: "Не дергайтесь, а то в седалищный нерв попаду". И с тех пор я не дергался.

Узелок на шее все же не уменьшался; он затвердел и не переставал болеть. Вроде кисты, но порасплывчатее. Практикант говорил, ничего страшного, но у меня, особенно вечерами, уверял я его, от узелка делалось сильное недомогание и упадок духа. Тогда практикант сказал, что это от температуры, и велел чаще мерить.

Никогда не следи за температурой, Дависито. Намерил 37 и 2 и думаешь: "Ну, завтра упадет". А на следующий день у тебя 37 и 1, и думаешь: "Завтра уже точно не будет, вон уже падает". А на следующий день выдаешь 37 и 3 и думаешь: "Что-то со мной не то". И начинаешь гоняться с градусником за всеми окружающими, и температура только у тебя, и ты чувствуешь, что она тебя и твой дом и всю твою семью доведет до погибели.

Ауриту выводило из себя, что я слежу за температурой; она говорила, что, если уж на то пошло, важно, как я себя чувствую. Я сказал, что неважно себя чувствую и поэтому ставлю градусник, а она в ответ, что неважное самочувствие как раз от боязни температуры. Я в этом не очень-то разбираюсь, Дависито; короче, мне было худо, уж не знаю, из-за боязни, из-за температуры или просто худо и все; но я понимаю, что разница тут такая небольшая, что все равно, от чего лечиться — от боязни, от температуры или от дурноты.

Так или иначе, ганглий мне поначалу не помешал ходить на работу. Санчес сказал, что у его тестя один раз такой узел незаметно выскочил и так же незаметно прошел, что до свадьбы заживет, а что не заживет, то доктор заживит. Я сказал: "А температуры-то у твоего тестя не было". Он ответил: "Не знаю, была или не было; шишак на загривке был ровно как у тебя". Я Санче-

са не послушал, я считал, что йод, хорошая еда и хороший сон — это как Божья воля, а Божьей волей со временем все заживет.

XII

Наверное, за всем этим я позабыл бы Робинета и сдержал клятву, данную Аурите, не столкнись я с ним нос к носу в самый неожиданный момент. В тот вечер Фандо из отдела кредитования устроил мальчишник. Фандо хилячок, чернявый и рябоватый. Всегда одевается в коричневое, и еще он очень аккуратный и дотошный и надевает черные нарукавники, когда работает. Он нас накормил и напоил от души, и под конец я остался с Санчесом и Берригортуа, а все пошли догуливать по бабам.

Я осоловел и, хотя вечер выдался прохладный, здорово упарился. Я сказал себе: "Гляди веселей; этот ужин твоему узелку на пользу". И в тот же миг увидал, как какой-то увалень перебегает улицу в сторону метро. У меня в голове всплыло, будто из тумана: "А я ведь его знаю". Я упустил драгоценное время, до меня не сразу дошло: "Вот дурная башка, это ж Робинет!" Я только и успел сказать "Прошу прощения!" и припустил, как подорванный, а доходяга Робинет бежал впереди; я крикнул, чтоб остановился, но он и ухом не повел, а нырнул в метро. На бегу я думал: "У него на мой счет совесть нечиста, вот и удирает". На лестнице я притормозил. От Фандова вина у меня голова шла кругом, и я спустился тихонько, чтоб не сломать шею. На станции никого не было, только стояла удушливая и странная тишина, и вдруг, почти одновременно с окликами Санчеса и Берригортуа сверху, я услышал шаги справа в туннеле. Недолго думая спрыгнул на рельсы и пулей понесся в темноту. Я во всю глотку звал Робинета, но в ответ в туннеле раздавалось лишь эхо. Поначалу я бежал по рельсам, мерцавшим во тьме, но мало-помалу мрак сгустился, и тогда я начал ощущать узелком биение сердца. Я подумал: "Как бы не угодить под поезд". И решил про себя: "Перескочу на другой путь". И ползучий страх нашептал мне: "А если пойдут в обе стороны разом?" Но я ответил себе, чтобы успокоиться, хотя призрачный страх обвивался, словно змея, вокруг горла: "Черт, да не случится такого. В это время и поезда-то почти не ходят уже". Тут раздался свисток поезда, и рельсы подо мной затряслись. Шум шел сзади, и я со сведенным желудком ждал, когда появится свет. Весь напрягшись, я тщился услышать такой же шум с противоположной стороны, а не услышав, перепрыгнул на другой путь и в свете вагонов сломя голову бросился за Робинетом, завидневшимся вдали.

Потом снова наступила темень, а через некоторое время показался светящийся свод следующей станции. Я услыхал грохот нового поезда и в то же время заметил, как Робинет неуклюже

взваливается на перрон. Налетел поезд, и мы оказались отрезаны друг от друга. Я машинально крикнул пару раз, а потом сказал себе: "Что, думаешь, криками можно кого-то остановить?" И сам себе ответил: "Нельзя". Тогда сам разум шепнул мне на ухо: "Чего ж ты так кричишь?" И пришлось признаться, что кричу, чтобы вызвать Робинета на поединок, хотя, почему мне надо вызвать его на поединок, я и сам толком не знал.

XIII

Третьего мая, два года назад умерла мама, Дависито. Угасла, как птичка, тихо, без всякой агонии, можно сказать, скоропостижно, хотя уже давно слегка хандрила. Схоронил я ее скромно, по-простому, во-первых, по недостатку средств, а во-вторых, ей бы точно не по нраву пришлась показуха даже после кончины.

За эти два года я много думал о маме, Дависито. С папой она жила несчастливо, да и твой отъезд ее здорово подкосил. В последние дни еще ишиас донимал, и незадолго до смерти один знахарь велел ей держать ногу в травяном отваре; это помогало, зато от простуд спасу не стало, потому что она, бедняжка, желала спать, не вынимая ноги из тазика. А иначе от боли не заснуть было. Не припомню, Дависито, чтобы я как-то плохо с мамой обошелся, даром что иногда, из-за дурацкого моего характера, совесть грызет и без повода.

Мама в последние годы очень полюбила разговаривать и, как многие другие старички, только воспоминаниями и жила. Через день рассказывала мне, как познакомилась с папой, да в таких подробностях, будто я раньше не слышал. Очень растроганно вспоминала: "А когда я протянула ему обратно дымчатое стеклышко, чтобы он тоже посмотрел на затмение, он сказал, глядя мне прямо в глаза: 'Ни к чему; для меня нынче утром солнце не затмится'". И всегда надолго умолкала после этих слов. И наоборот, про По и наше житье во Франции рассказывала поспешно, словно хотела побыстрее закончить. Там она была очень несчастна, Дависито, потому что к тому времени папа уже позабыл затмение и только и знал что казино да свои картины. Я спрашивал: "А почему мы уехали в По?" И она отвечала: "Папа однажды мне сказал: 'Здесь художнику развернуться негде. Я должен выставляться в Париже и Тулузе'". Я-то подозреваю, Дависито, не только картины он там выставлял, в Париже и Тулузе. Я старался из мамы побольше вытянуть, потому что подметил, что она предпочитает помалкивать о той нашей жизни. Как-то вечером она мне поведала: "Когда ты рожался, я была одна и все делала сама, пока не пришла мадам Лувуа, консьержка". И в груди моей, Дависито, ожила тяжкая и горячая ненависть к

покойному папе. И не иссякла, пока мама не рассказала, какой у этой истории грустный конец. Она всегда говорила: "Когда папа умер..." А я однажды спросил: "А от чего он умер?" Она повторила, будто меня не услышала: "Когда папа умер..." И потом я долго еще ничего больше не говорил. Она всегда начинала плести историю по-старому: "Когда папа умер..." А я возьми и скажи: "Мама, а от чего он умер?" Она ответила: "Покончил с собой". Я не шелохнулся, потому что беда эта уже давно гнобила меня изнутри. Мама вздохнула и продолжала: "Застрелился однажды утром у себя в студии, двадцать лет назад. Дависито этого не перенес. Сбежал. С тех пор я его не видела".

Я тогда промолчал, Дависито, но решил докопаться до правды. Как-то вечером спросил: "А папа много играл?" — "У него и денег-то таких не было, на какие он играл", — сказала мама. И еще я спросил: "Почему я ничего не знал?" — "Ах, милый ты мой, — отвечала мама, — тебе было четыре года от роду. Ты играл на лестничной площадке перед студией и плакал, когда мы прибежали наверх. Напугался выстрела". — "А Дависито?" — спросил я. Мама сказала: "Он уехал. Не пережил".

XIV

Когда началась эта история с Робинетом, я стал стараться, Дависито, припомнить Францию, какая она была в моем детстве, и говорил себе: "Очень может быть, что наша с ним связь тянется еще с тех пор". Но только и вспоминалось, что запущенные сады да белки, скачущие в кронах огромных деревьев. Иногда, сильно поднатужившись, я смутно видел серый город, окутанный серой дымкой, где воздух недвижим и прозрачен, словно стекло.

И в этих муках памяти я сказал себе: "Может, все это у меня от папы". Мы — продолжение других, Дависито, и ничто из того, что мы мним нашим, не возникло в нас само по себе. Всё мы унаследовали. Поэтому я начал подумывать, что чувство Робинета у меня — от папы, перешли же от него ко мне большой рот и непослушные волосы. Я не суеверный, Дависито, но, сдается мне, несмотря на радиолокаторы и телевидение, человечество еще и наполовину не развилось. Не смейся, Дависито. Мама считала, что у папы взрывной характер, оттого что кровь такая разная — дедули Ленуара и бабушки-горянки. Мама так твердо в этом себя убедила, что однажды даже решила справиться у знахаря. "Наблюдал я в подобных случаях такого рода реакции", — сказал знахарь и содрал с нее пять дуро. А она заплатила с превеликим удовольствием, Дависито, потому что ее хлебом было не корми — дай найти оправдание папиным заскокам.

С другой стороны, я и сам видел не раз, как гипнотизеры вытворяют такое, что волосы дыбом встают, и понял, что есть, есть таинственная энергия, вроде немого языка, который связывает двоих на расстоянии, и не то что провода — слова тут не нужны. Я тогда думал, Дависито: "Когда распознают природу и возможности этих связей, мир перевернется".

Честно тебе скажу, размышлял я обо всем этом не слишком уверенно, с опаской, которую сам за собой не желал признавать, и, разумеется, не посвящал Ауриту в свои раздумья и тревоги. Разве что Санчесу намекнул как-то вечером, когда мне особо хотелось поговорить, и Санчес сказал: "Ты смотри, осторожнее, Ленуар, и покрепче умом люди в дурку попадали". И вдруг мне показалось это обидно со стороны Санчеса, и так я ему и сказал, благо знаю, что он всегда поймет; но сразу после я подумал, что Санчес так сказал по великой доброте душевной, потому что я даже не одной, а обеими ногами уже был в сумасшедшем доме.

Не знаю, получится ли у меня описать тебе мое тогдашнее состояние, Дависито. Наверное, ты не раз сидел над кроссвордом и уже все разгадал, кроме одного слова, и в нем уже вписано несколько букв, да и кажется оно самым обычным, различаешь в нем что-то знакомое, да что там далеко ходить — ты по сто раз на дню его говоришь. И вот ты изводишься и подбираешься к нему и так, и сяк, и подставляешь разные буквы и произносишь вслух — авось выйдет похоже на то, настоящее слово. Но все без толку. Слово упрямится и не дается, как будто дразнит и смеется над тобой. То тебе кажется, что ты уже близко, то — что оно убегает, убегает, и словно кто-то подсказывает на ухо: "горячо, горячо" или "холодно, холодно", и одинаково бесят близость и даль, потому что ни так, ни так слова не угадать.

В точности это и происходило у меня с Робинетом, но я не мог отделаться от наваждения, Дависито, потому как знал наверняка, что Робинет не просто так встрял в мою жизнь, — к худу ли, к добру ли, — как то слово из кроссворда, не совсем тебе незнакомое, но уловить которое ты никак не можешь.

XV

Аурите я, само собой, ничего не рассказывал о случившемся после мальчишника Фандо. Но несколько дней потом опасался, потому что ходил очень напряженный, и Аурита тоже была вся на нервах, и я подозревал, что чуть между нами искра проскочит — и разразятся громы и молнии. Поэтому я старался все спускать на тормозах и тихо-мирно делать домашние дела. Но некоторые вещи, Дависито, будто специально придуманы, чтобы довести до ручки самого выдержанного. Интересно, что бы сказал уравновешенный малый, если бы каждое утро слив у не-

го в раковине оказывался забит волосами, тюбик с зубной пастой — не завинчен, а на стуле в его кабинете валялась женина ночнушка. Я обычно беспрекословно сношу такие неприятности, но на третий день после мальчишника Фандо раковина не сливалась, а время поджимало, потому что я проспал, а у нас в конторе — не помню, говорил тебе или нет, — с опозданиями страсть как строго, и надо расписываться, а кто опоздает — тому замечание, как в школе. Я пробил слив шпилькой, а когда захотел почистить зубы, оказалось, что тюбик открыт и засохшая корочка пасты не дает выдавить новую. Нажал — ничего. Снова нажал — тюбик надулся на конце, но паста не пошла. Я торопился, Дависито, и дабанул со всей силы, и вдруг из тюбика вылетела белая колбаска, длинная, как змея, и налипла на зеркало, забавно изогнувшись. Я пошел в спальню и, злой как собака, разбудил Ауриту:

— Ты когда-нибудь будешь пасту закрывать? — сказал я.

— Так. За этим ты меня, значит, разбудил, дурачок?

— Будет когда-нибудь в этом доме порядок?

— В каком смысле — порядок?

— В смысле — порядок!

— Ой, милый! Ты на работу опоздаешь, если не поторопишься, — отвечала она.

И этим она меня просто обезоружила, Дависито, я подошел к ней, обнял и поцеловал и попросил прощения, а она сказала тихонько: "Хочешь, я подвинусь, ляжешь?" И подвинулась. И прошептала: "Разве мало тебе, что в голове полный разнобой?", а я взял погладил ее и обнял, и поцеловал. На ней была та же рубашка, что в брачную ночь, очень красивая, вся в кружевах. И мы еще раз обновили эту рубашку.

XVI

Я сильно опоздал, и лист, где расписываться, уже унесли, и я пошел к консьержу и сказал:

— До каких пор тут с нами будут обращаться, как со школьниками?

— Спросите у директора, — ответил он.

— Мне с директором не о чем разговаривать.

— Ладно.

— Что? — переспросил я, озлившись.

— Ничего, — сказал он.

— То-то же! — сказал я.

Я заглянул к себе в душу и сам себя не узнал, Дависито. И подумал: "Это все Робинет виноват". Увидал, что Санчес обалдел от моих манер и смотрит на меня, подошел к нему и сказал:

— Ты что-то хотел, Энрике?

— Нет, а что?

— Да ты так долго на меня глядел, не отрываясь, что я решил — ты что-то от меня хочешь.

— Ничего не хочу, спасибо.

И тогда я почувствовал, что в узелке не шее у меня пульсирует кровь, а лоб горит, и сказал:

— Я пошел; сегодня не хочу работать.

Не иначе как я очень громко это сказал, потому что все подняли глаза и глядели на меня с удивлением. Ко мне подошел Санчес и сказал участливо:

— Ну что ты, не говори глупостей.

— Никакие это не глупости, Энрике. Мне сегодня работать неохота.

Мне навстречу вышел инспектор, а я, не останавливаясь, поравнялся с ним и сказал:

— До свидания.

Клянусь, Дависито, ничего такого я не задумывал заранее, а просто все получилось так, как должно было получиться, и уже на улице я подумал: "А что, был бы я счастливее, если бы мне не приходилось пробивать слив каждое утро или если бы директор отменил росписи за опоздание?" И тут же подумал про Робинета и сказал себе: "Папа, мама или Дависито мне бы все разъяснили насчет Робинета. А никого из них нет. Вот в чем заковыка".

Я зашел в кафе и взял стакан вина, а потом бродил по улочкам вокруг погреба того зализанного бармена. После вернулся в центр и в другом баре выпил еще стакан. Постепенно я стал чувствовать себя виноватым и всеми покинутым, а в голове пылал жар и крутились разные мысли. От всего этого у меня сделалось головокружение и какая-то вялость в желудке. Вот ведь странно, Дависито, все мои чувства отдаются в живот. Видно, это мое слабое место, запоры. В общем, сам того не желая я оказался в банке и заметил у всех на лицах этакую неясную надежду на поразвлечься. Но я прошагал напрямик в кабинет к инспектору и рассказал ему про Ауриту, и про ганглий, и про температуру, и про ребенка, которого мы ждали, и про тревоги, напавшие на меня из-за всего этого, схватил его за руку и поднес к моей шее, а он сказал: "Да-да, действительно, есть какое-то образование"; а потом поднес ко лбу, он потрогал и сказал, смешавшись: "Не исключена небольшая температура". Я заметил: "А то и большая, сеньор инспектор" — и напомнил про свои десять лет службы без единого прогула и всего с тремя опозданиями, а он размякал и размякал и, наконец, сказал:

— Ну, хорошо, Ленуар, в первый раз прощается, но чтоб больше такого не было.

Я поблагодарил и вышел из кабинета, и Санчес спросил: "Ну что, Ленуар?" Я ответил: "Да ничего". Санчес смерил меня сочувственным взглядом и сказал: "Ну ты гусь".

XVII

Когда доктор сказал, что слышит сердце ребенка, я почувствовал биение бессмертия в крови. Наверное, от волнения из-за предстоящего отцовства. Я спросил у Ауриты, пинается ли он; Аурита сказала — не пинается. Доктор сказал, что еще и половина срока не прошла. Аурита спросила, а не двойня ли там, а он спросил, с чего она так решила. Аурита залилась румянцем и пожала плечами. А мне вдруг будто в шутку подумалось, что когда-то мы с Робинетом сидели в одном животе, и тут же я покрылся испариной, посерьезнел и сообразил: "А ведь я Робинета раньше видел в каком-то тесном и закрытом месте, вот как в животе". Это была просто догадка, Дависито, но мне опять показалось, что вернее ничего и быть не может. Врач прописал Аурите витамины и колоть кальций.

Санчес меня предостерег, когда я ему рассказал: "Витаминов не давай, пока не родит. Лучше уж пусть малец снаружи вымахает, чем в животе". По правде говоря, он убедительно рассуждал, и я дома так Аурите и сказал. Она спросила: "Санчес, что, — врач?" — "Нет, сама знаешь", — отвечал я. "Зато любит соваться куда не просят, так ведь?" Я напрягся, но набрался терпения и сказал, пусть делает что хочет, а она мне в пику возразила, что не своему капризу потакает, а делает что доктор велел.

Ладили мы тогда не очень, Дависито, и я знал, что причина не в Аурите и не во мне, а в Робинете. Из-за этого наваждения я такое выдумывал, что аж совестно, даже что мы с Робинетом встречались в прошлой жизни, неизвестно — как, каким образом и где, но, так-то разобраться, бред все это, я же христианин, Дависито, и не верю во всякое вранье насчет переселения душ, реинкарнации и прочего. Такое вертелось у меня на уме от отчаяния, но на самом деле не особо я в это верил. Зато стал сомневаться в своем здравом рассудке. Иногда у меня так стучало в висках, что стук отдавался в подушку, как удары кнута, и я пугался и вскакивал, ища за что бы твердóе ухватиться. А вдобавок состояние мое ухудшалось. Я уже не мог избавиться от Робинета. Если бы у меня тогда получилось забыть его, Дависито, клянусь, я бы так и сделал. Но Робинет, как вино пьянице, стал мне необходим.

С вином ведь как: пока пропускаешь пару стаканов, чтобы взбодриться, оно тебе на пользу и на радость, все идет хорошо, и ты любишь вино, потому что можешь и не пить, если не захочешь, и вдруг ты уже пристрастился, вино тебя держит,

ты как больной и уже не то чтобы хочешь, а тебе нужно выпить, а соберешься бросить — не сможешь, потому что уже вляпался в него по уши, и оно влечет тебя с неодолимой силой, ты бы и заплатить рад, лишь бы не чувствовать этой тяги, с которой не справиться, лишь бы не чувствовать, потому что знаешь: если уж почувствовал — пропал навсегда. Так я и гонялся за Робинетом, Дависито, как пьяница — за вином. Я часто думал, что у меня мозги расплавятся, если буду и дальше так ломать голову, но все ломал и ломал и все ничего не мог добиться, только разбирал всю свою жизнь на кусочки от самого первого сознательного воспоминания до того дня, когда столкнулся с Робинетом в баре.

Я совсем ослаб, градусник нет-нет да выдавал тридцать восемь, по вечерам веки тяжелели и шершавели, а глаза сильно чесались. Наверное, так было из-за жара, Дависито, хотя мне тогда сдавалось — из-за того, что Аурита меня не понимала.

Однажды я забыл купить ей ленточек, чтобы украшать детские одежки, и хотел было заранее ее успокоить:

— Извини, — сказал я, — я забыл.

— На что ты вообще годишься? — заплакала она.

— Ну-ну, Аурита, не говори ерунды. Это же пустяки. Завтра куплю, и дело с концом.

— Ах, вот оно как? — отвечала она. — По-твоему, лучше целый день где-то шляться, чем один-единственный раз жену порадовать.

Я примирительно сказал:

— Успокойся, пожалуйста, Аурита; а то не дом стал, а ад кромешный.

А она разозлилась и сказала:

— Да, и кто же здесь черт?

Это все ганглий виноват, Дависито. В самый неподходящий момент сильно кольнуло. Меня вывел из себя сам узелок, а еще — что врач прописал мне спокойствие как лучшее лечение. Успокоила меня тяжесть стакана в ладони, она заполнила мне руку, по ней пробежали мурашки, и я с силой и наслаждением запустил стаканом в стену. От моего замаха и звона бьющегося стекла Аурита застыла на месте. Но длилось это всего миг, и я тут же пожалел и охотно повернул бы все вспять, мне казалось, я перегнул палку. На меня напал какой-то панический страх, и свело живот, когда я увидал, что Аурита убегает по коридору и, как заведенная, повторяет "зверь, зверь, зверь".

Вот со мной всегда так, Дависито. Кто знает, может, шарахни я о стену еще один стакан или даже кувшин или супницу — и насадил бы в доме свою железную волю. Но выходит, что через минуту после робкой попытки настоять на своем, меня уже гложет смутное раскаяние, и я говорю себе, что Аурита права, сама

по себе жизнь с таким подарком, как я, — мука мученическая. И в конце концов я сдаюсь и кое-как подлатываю нашу семейную гармонию и склоняю голову, и выходит, я, вместо того чтобы победить, проиграл, и положение мое расшатывается.

Я утихомирил Ауриту, и мы еще раз обновили свадебную рубашку, хоть на сей раз я и заметил, что думаю не о том, да и прощения попросил не совсем от чистого сердца, и бунтарские мысли еще живы во мне, а поступаю я так просто из отвращения к ссорам, крику и беспорядку.

И все же это странное мое поведение сбивало меня с толку, я говорил себе в глубине души: "К чему себя обманывать? Это безумие так подкрадывается". И на меня наваливался глубокий леденящий ужас, потому что ничего на свете, Дависито, я не боюсь так сильно, как лишиться рассудка. А я почти физически чувствовал, что рассудок от меня то уходит, то возвращается, и в последнее время, по правде говоря, все больше уходит, чем возвращается. Я спрашивал себя: "Это из-за Робинета?" И отвечал: "Да чтоб ему пусто было". Но я плевать хотел, пусто ему будет или не пусто, а на самом деле мечтал только о том, чтобы его разыскать.

XVIII

Однажды утром мне кое-что пришло в голову, и я отправился во французское консульство, и у блондинистого малого узнал, как попасть к консулу, и, хоть консул и заставил себя ждать, я не особо возражал — уж больно было уютно сидеть на диване в приемной. Консул оказался человеком в толстых очках и с огромным лбом, а концы слов он приглушал, как мелодию. Когда я спросил про Робинета, он нажал на звоночек, и явился клерк, выслушал указания, ушел и вернулся с книгой. Дальше у меня спрашивали возраст Робинета, дату въезда в Испанию, род занятий, прежнее местожительство во Франции, а я только и повторял: "Не знаю, не знаю". Наконец, консул сказал: "Этот гражданин в консульстве не зарегистрирован".

Я очень огорчился и вечером, после получки в конторе, пошел к тому зализанному бармену и при виде его кисло-сладкой улыбочки почувствовал себя ничтожеством. Но все равно твердо решил все из него вытянуть. Спросил как ни в чем не бывало:

— А как там Робинет?

— Нет его, — отвечал он. — Уехал.

— Куда?

— Туда, откуда вам его не достать. Вы это хотели знать?

— Вернулся на родину?

— Вот именно.

Когда я вышел оттуда, Дависито, новое чувство переполняло меня, и я чуял, что приблизился к Робинету, пусть он и отдалился, и, вернувшись домой и усевшись в свое любимое кресло, я вдруг испытал нечто удивительное: я смотрел на вид По, написанный папой, и углядел в картине что-то необычное, живое и смутно знакомое. И так я сидел, уйдя в себя, и внезапно, будто кто-то нашептал мне, "увидел", что там-то и есть Робинет и там-то как раз он влез в мою историю, и Робинет с картиной слились в единое целое. Увидел так ясно, Дависито, как вижу сейчас линейки на листе бумаги. Мой ум в лихорадочном бреду тщился прорваться к непостижимому, к тому, что так неожиданно пожелала рассказать мне эта картина. Как будто, Дависито, я угадал еще одну букву из последнего слова в кроссворде.

Я, должно быть, побледнел или что-то в этом роде, потому что Аурита испуганно поднялась, пошла ко мне, упала на колени и закричала: "Ради всего святого, прекрати косить, прекрати так косить, дурак, я же пугаюсь!" Я же, Дависито, по правде говоря, и не догадывался, что кошу, она мне глаза открыла, а чувствовал я, что куда-то уношусь, словно бы плыву среди облаков или чего-то похожего. Но и в этом полубессознательном парении я все еще связывал Робинета с картиной, проводя между ними все объясняющие параллели.

XIX

Боже правый! Как скверно стало мне жить после этого, Дависито. Я весь обратился в свою идею-фикс: Робинета. Его мягкое, раскисшее лицо все время стояло у меня перед глазами. Аурита сняла со стены в кабинете пейзаж По, потому что я вглядывался в него до изнеможения. Температура с каждым днем поднималась, голова была чугунная, как от вина или бессонницы. Я просиживал часами в своем уголке на работе, ничего не делая. Хорошо еще Санчес старался как-то меня взбодрить и помочь, и вялости моей почти никто не замечал.

Однажды к вечеру у меня случился вроде как обморок, я завалился назад и чуть не расшиб голову о батарею. Санчес меня подхватил и сказал: "Господи Боже, Ленуар! Ты не в себе, что ли?" Я не ответил, но и в самом деле был слегка не в себе, Дависито, а вечером, по дороге домой, уже довольно близко от дома, увидал, как по улице бежит бегом коренастый мужик, и припустил за ним, вопя: "Эй, Робинет! Постой!", а догнав, понял, что это никакой не Робинет и даже не похож ни капельки, а сам он такой же бледный, как я, и тут он мне сказал: "Моя жена помирает, у нее кровотечение". Я вместе с ним побежал за врачом, потому что принял к сердцу его беду, как свою собственную, а потом мы все побежали к нему домой. Врач сказал: "Отслойка плаценты".

И его жену повезли на "скорой" в больницу, а я, оставшись один, подумал, что все в мире — гадость и боль, и зашел в бар, спросил вина и еще вина и вдруг вспомнил о своем ребенке, который должен был родиться, и принялся рыдать, уронив голову на стойку, и твердить: "Горемычный у меня сын родится".

Народ надо мной потешался и не верил, хотя я говорил от всего сердца и душа моя рвалась на куски. Потом мне на ум пришел папа, Дависито, и тут уж я почувствовал себя виноватым со всех сторон, и перед отцом и перед сыном, и вдруг подумал, что сам гублю все, к чему прикасаюсь, сам я — причина и корень всяческого зла.

Наутро к нам зашел врач и сказал: "Постельный режим, друг мой; дела у вас не очень". Прописал строгую-престрогую диету и сообщил, что, если узелок сам по себе не рассосется, придется замещать его содержимое преобразующими жидкостями. "Это как?" — спросил я. Он ответил: "Сперва проколем — откачаем, потом проколем — впрыснем. — Я не нашелся что сказать, а он добавил: — Две недели не вставать".

Трудные были времена, Дависито; пока светило солнце и с улицы доносился шум, я засыпал легко и видел спокойные, здоровые сны, зато по ночам лежал без сна, непрестанно думая о строящемся напротив доме, который был виден через открытый балкон и медленно-медленно менял цвет с глухого черного на серый, лиловатый и рыжеватый. Как-то раз меня навестил Санчес, и я сказал ему:

— Сейчас этот дом почернеет, потом посереет, потом станет лиловым, а потом — рыжим. Вот тогда я и спать смогу.

Санчес воззрился на меня с каким-то отстраненным сочувствием.

— Этот дом все время оранжевый, Ленуар, — сказал он. — Ты привыкни к этой мысли. Цвета́ он меняет, оттого что свет по-разному падает.

Я призадумался, а потом спросил:

— Ты, поди, думаешь, что я с ума сбрендил, ведь так, Энрике?

— Брось ты, — отвечал он. — Какая разница, что я думаю? — И дружески похлопал меня по плечу.

Если я засыпал ночью, к снам про Робинета примешивались кошмары про детей и ганглии, будто бы у меня по всему телу высыпают такие же узелки, а потом они все начинают лопаться, как воздушные шарики, а из каждого шарика появляется малюсенький младенчик и сучит ножками, а потом такие узелки с крохотными сосочками высыпают у Ауриты, и младенцы ползут по кровати и принимаются сосать каждый из своего узелка, и Аурита истаивает так быстро, что врач вынужден ей срочно вводить жидкость от обезвоживания. Младенцы, как котята, жадно присасываются к матери, а меня от них передергивает и мутит, и во-

рочаться нужно с превеликой осторожностью, чтобы никого из них не раздавить. Я просыпался весь в поту, со стеснением в груди. Как-то утром я сказал врачу, который пришел по страховке:

— Моя жена беременна. Как думаете, может быть двойня?

— С чего бы это быть двойне?

— Ну, бывают же двойни?

Он не послушал. Прощупал ганглий и сказал:

— Идет на поправку. Можно вставать, но никаких нагрузок. Есть возможность — смените обстановку, пойдет на пользу.

XX

Я очень хотел встать, Дависито, потому что мне не терпелось толком пересмотреть родительское барахло, хранящееся у нас наверху, в очень приличной кладовке, за которую и аренду-то платить почти не приходится. Времени у меня всегда мало, а захворал я тогда впервые за пятнадцать лет, вот и выходило, что прежде я никогда как следует не разбирал все эти вещи. Признаюсь, руки у меня тряслись, когда я по порядку рассматривал папины наброски и картины и мамины бухгалтерские книги и записи.

Перевернул я одну картину и присел на старую корзинку, Дависито, чтобы не рухнуть на пол. На ней был Робинет! И никто иной, Дависито, — со своими пустыми глазами и повисшей нижней губой и оттопыренными ушами. Без всяких сомнений! На меня нашло такое волнение, что я пять минут только и делал что смотрел, как трясутся у меня руки, словно листья. Потом я стал судорожно, жадно перелопачивать все картины в поисках еще одного подтверждения, но только больше разволновался, поднял пылищу и совсем запутался. Потом снова взял портрет и осторожно платком стер пыль. На нем стояла дата времен По и папина подпись. Я смотрел и улыбался, как будто, наконец-то, смог изловить Робинета. Он тоже смотрел на меня нахально своими водянистыми зрачками, и я вновь подумал, что это от папы передалось мне ощущение Робинета и знание о нем, ведь из По я помнил только заброшенные сады да белок, скачущих в кронах огромных деревьев.

Я взял портрет под мышку, спустился домой и сказал Аурите:

— Я наверху нашел портрет Робинета.

Я заметил, что это ее задело, что это ей действует на нервы, будто какой-то суеверный страх.

— Взгляни, — сказал я, показывая портрет, — странно, правда?

Впервые она вроде бы заинтересовалась, несколько раз подходила и отходила и бормотала: "В жизни его не видела. Никогда в жизни не видала этого типа". Я в две минуты все уже ре-

шил и объявил ей: "Мы на неделю едем во Францию. Врач велел мне сменить обстановку". — "Что?" — переспросила Аурита с воодушевлением. Я вспомнил слова зализанного бармена и сказал: "Робинет сейчас там". Аурита, все больше воодушевляясь, предложила: "Надо бы французский нам подучить, пока ты документы будешь делать". А я ответил: "И с таким прорвемся".

XXI

Потом оказалось, Дависито, что мы с Ауритой столкнулись с полным непониманием французов; я уже в поезде только и мог сказать что "Je ne comprend pas, monsieur"[1] или "Je ne comprend pas, madame"[2], а переехав границу, подумал: "Это все равно что искать иголку в стоге сена". Но у Ауриты глаза сияли незамутненной радостью, в ней вдруг проявилась туристическая повадка, и она иногда спрашивала: "Мы ведь туристы, правда?" Я отвечал "Еще бы!" и, не желая ее огорчать, помалкивал, что попросил две премии вперед.

Заговорив с соседями по купе, я как раз и понял, что язык — словно музыка и слова в песне, Дависито, и, хоть все слова тебе знакомы, ни на что они не годны, коли не знать музыки. И наоборот: Аурита, которая знала меньше, чем я, говорила лучше, потому что подстраивалась под ритм и под тон и верно в уме догадывалась, где одно слово кончается, а другое начинается. Ну, а мне если говорили, к примеру: "Mais on n'y peut rien..."[3], я не мог сообразить — это про дом говорят или про собаку, или вообще про что.

Что не помешало мне, как только я завидел из поезда старый замок Генриха IV с раскидистыми садами, различить белок из моих воспоминаний, и тогда словно тоска по внезапно оборванному детству разлилась у меня внутри. И тогда же я убедился, что По, как я и представлял себе, — город серый, окутанный серой дымкой, спокойный и тихий, словно покинутый всеми обитателями.

У меня был адрес пансиона, потому что я заранее написал тетушке Кандиде, и она же мне прислала адрес дома, где мы раньше жили. Поэтому, когда мы шагали по бульвару Пирене, я чувствовал себя спокойно, как будто все уже было предрешено. Мы брели медленно, любовались мансардами и не боялись, что́ о нас могут подумать. Останавливались на перекрестках и разбирали таблички с названиями улиц и на углу улицы Корделье

1. "Я не понимаю, месье" (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Я не понимаю, мадам" (*франц.*).
3. "Но тут ничего нельзя..." (*франц.*)

спросили у какого-то старичка, как пройти на улицу Дюплаа, а он сказал: "Tout droit jusqu'à Saint Jacques. Une fois là, renseignez vous"[1]. Я покрепче ухватил Ауриту под руку и прошептал: "Я не понял". Она рассмеялась и сказала: "Все время прямо до Святого Иакова. А там посмотрим".

Аурита вроде бы совсем избавилась от своих обычных хворей, а на меня снизошло умиротворение, словно угадывавшаяся близость Робинета придавала мне сил. Незнакомый город сближал нас с ней, и последние, так сказать, тучи, омрачавшие наш мирный очаг, рассеялись.

На площади Альберта I был скверик, а в нем – деревянные скамейки, а на них сидели самые настоящие юноши и девушки и целовались и обжимались, как будто им холодно. Посреди скверика стояла статуя Альберта I, но без Альберта I, потому что немцы умыкнули памятник на переплавку. Пьедестал выглядел как-то сиротски с надписью "Альберт I", будто дурная шутка, будто этим хотели сказать, что Альберт I был просто пшик, несчастное, унылое ничтожество. Однако пыла юношей с девушками такие мысли не охлаждали, и, глядя на их страсть, я задавался вопросом, Дависито, как такое может быть, что последние два года население Франции только и делает, что сокращается.

Так мы добрались до пансиона с огромным парадным без света и захламленным задним двором с гаражами. Я подумал, что там, наверное, ночует немало "ситроенов", "рено" и "пежо" с неяркими желтыми фарами, разъезжавших по тамошним улицам. Справа шла вверх темная лестница, и, когда мы стали подниматься, Аурита сжала мой локоть и сказала: "Я боюсь". Я кисло улыбнулся и сказал: "Вот еще глупости!" Но в глубине души и сам боялся и вглядывался в темные углы, словно ждал, что в любой момент оттуда выскочит Робинет.

Мы позвонили в колокольчик, вспыхнул свет, и в дверь выглянула очень чистенькая опрятная старушка, а мы с Ауритой – как сговорились – сказали хором:

– Bonne nuit, madame.

Она ответила:

– Oh, bonne nuit! Il y a un ascenseur[2].

Мы вошли, и Аурита уселась в плетеное кресло, а старушка глядела на нас дружелюбно, но непонятливо, и мне стало смешно смотреть, как Аурита пытается пробиться сквозь нехватку слов; но, в конце концов, старушка поняла, что́ мы от нее хотим, а я понял ее, когда она спросила, не испанцы ли мы, и это меня здорово подбодрило.

1. "Все время прямо до Сан-Жака. А там спросите" (*франц.*).
2. – Добрый вечер, мадам... – О, добрый вечер! Есть же лифт (*франц.*).

Аккуратная старушка показала нам комнату с двумя балконами на улицу, огромной железной кроватью, шкафом, двумя мягкими креслицами, нерастопленной печкой и умывальником за широкой выцветшей ширмой. С балконов были видны парочки, милующиеся под призраком Альберта I, и я смотрел на них, когда старушка нас позвала, и мы вышли следом за нею в коридор, а она отворила дверь и сказала:

— Voici la salle de bain[1].

Я тихонько спросил у Ауриты: "Что?" Она шепнула: "Ванная". Мы вошли, и я удивился, что ванная укрыта брезентом, и неприятно было видеть, что деревянный стульчак треснул спереди, как будто туда садился какой-нибудь громоздкий постоялец. Аккуратная старушка обернулась ко мне и сказала:

— Saurez-vous retrouver votre chambre?

И я смешался, потому что не понял, и ответил:

— Je ne comprend pas, madame.

Но Аурита быстро сказала:

— Oui, oui, madame[2].

Старушка вышла, оставив нас вдвоем, и тогда Аурита окинула взглядом ванну и сказала: "Мне в этом доме страшно". В этот миг в ванне что-то взметнулось с железным гулом, брезент с одной стороны встопорщился, и Аурита страшно закричала и уткнулась мне в грудь, плача и дрожа, а я не выдал своего страха, как и подобает мужчине, но, пока из дырки в брезенте не показалась морда кота, не успокоился и кишки у меня на место не встали. И сказал сдавленным голосом:

— Глупенькая! Это же просто кот.

Аурита громко расхохоталась, вытирая слезы, а я подумал, что такие потрясения нашему малышу совсем ни к чему.

Мы умылись в комнате и развесили в шкафу вещи из чемодана, а потом Аурита призналась, что хочет сходить в театр; мы спросили у старушки, где можно посмотреть что-нибудь стоящее, и она сказала, что в Пале-д-Ивер выступает весьма забавная и остроумная комическая труппа. Мы узнали, как добраться до Пале-д-Ивер, и вновь пустились, Дависито, обходить улицы и читать таблички, и у меня сдавливало грудь всякий раз, когда я читал новую табличку, все надеясь, что это уже рю Сервье, цель тогдашней нашей вылазки.

Мы поднялись по ступеням Пале-д-Ивер, и Аурита шепнула мне на ухо: "Вот это роскошь!", а какой-то малый, отиравшийся поблизости, подошел и спросил по-испански: "Отогнать маши-

1. — Вот ванная (*франц.*).
2. — Вы найдете свою комнату?.. — Я не понимаю, мадам... — Да, да, мадам (*франц.*).

ну, сеньор?" Я осмотрелся, Дависито, и спросил у него: "Какую машину?" — "А-а", — протянул он холодно и удалился. А внутри со мной приключилось то же самое, что в первый раз, когда я увидел Робинета, то есть я хочу сказать — все это великолепие и сияние не казались мне в новинку, а казались чем-то из моей прежней жизни, которой я толком не помнил. Я оглядывал игорные столы в вестибюле и сверкающие танцплощадки и даже концертный зал с каким-то благодушным снисхождением, как заново встреченного старого знакомого.

На сцене были парень, наряженный первооткрывателем, весьма привлекательная молодая барышня в бикини и шаткая палатка в левом, но это как посмотреть, углу. Зрители очень смеялись над тем, что́ артисты говорили друг другу, но я-то не понимал, Дависито, и осматривал ложи, желая узнать, с чего это все так хохочут — на мой взгляд, бессмысленно и нелепо. Девица в лифчике особо старалась, как нарочно палила скороговоркой, и чем дальше шел спектакль, тем больше голова у меня как бы наполнялась дымом, я бы вот-вот — и взорвался, и хохот вокруг задевал меня так, будто смеялись надо мной, и клянусь тебе, Дависито: никогда, никогда в жизни я так живо и больно не чувствовал себя посмешищем. Я исподтишка посматривал на Ауриту и увидал, что и она сидит как дурочка, вскипел и сказал: "Пошли, что ли?" Она не заставила себя уговаривать и поднялась, из чего я заключил, Дависито, что ей тоже не очень-то интересны разговоры первооткрывателя с красоткой в бикини.

В вестибюле играл оркестр, и несколько пар танцевали. Я подошел к рулетке и сказал Аурите: "Попытаю счастья". Она ответила: "Смотри, осторожнее, милый". Но мне хотелось испытать то волнение от игры, что сгубило папу. Я несмело придвинулся к столу и поставил на восьмерку, чет, а выпал нечет, и снова поставил на восьмерку, чет, а выпал нечет, и в последний раз рискнул и поставил несколько франков на восьмерку, чет, а выпал нечет, и прилично одетый плотненький малый смел мои фишки вроде как игрушечной грабелькой, не успел я и глазом моргнуть. Это мне пришлось не по нраву, Дависито, потому что я на фишки обменял купюру в тысячу франков, а неразумно было так швыряться деньгами, которые еще моему сыну пригодились бы. Я снова насел на Ауриту: "Пойдем уже?" И удивился, когда она опять сходу согласилась: "Пойдем, — сказала она, — я спать хочу".

XXII

Аурита проснулась смурной и разбитой и все утро не вставала с постели, а я пристроился рядом с ней читать "Ле Зюдуэ". После обеда я предложил ей вздремнуть, пока я прогуляюсь по рю Сервье. Старушка мне уже успела подсказать: "C'est à

côté"[1]. Аурита, опять же, сказала: "Я уже не боюсь, правда". А я думал: "Откуда мне знать, что я встречу Робинета?" Но в глубине души надеялся, что какая-нибудь мелочь наведет меня на след, ну а на худой конец, Дависито, я успокаивал себя, что эта перемена обстановки пойдет на пользу моему ганглию и нервам моей жены, и в любом случае две премии вперед не окажутся выкинуты на ветер.

Рю Сервье шла почти параллельно улице, на которой стоял пансион, и чем дальше я шел по ней, тем сильнее волновался, Дависито, и силился вновь пережить что-то, что уже было и отдавалось в душе, но не мог. Я твердил себе: "Вот это мне знакомо, это мне знакомо". Но на самом деле, Дависито, ничего там не было мне знакомого, а думал я так, чтобы подстегнуть подсознание, да без толку. Я подходил все ближе к нашему старому дому, и у меня сводило желудок и слабели коленки. Я остановился у какого-то бара и долго к нему присматривался. И думал: "Ну вот, взять этот бар..." Но ни к чему, кроме еще пущей тревоги, это не привело, и поэтому я вошел и заказал коньяку. В углу радиоприемник журчал "Сену". Вся Франция тогда пела "Сену", и мне эта музыка нравилась, Дависито, легкая и печальная, она брала за живое.

Сердце мое бешено билось, когда я вошел в парадное нашего старого дома, Дависито. Я думал о тебе, о папе и о маме и о том, что тут мы уж точно не были счастливы. Посреди парадного я остановился и еще раз внимательно все оглядел, как это делают обычно в музее. Вдруг я увидел прямо перед собой какую-то даму и, словно кто-то дернул меня за язык, вскричал:

— Madame Louvois!

Клянусь, Дависито, я помнить ее не помнил, знать не знал, что такая есть, и все же ее имя слетело с моих губ, как нечто неизбежное и странно знакомое. Она удивленно спросила:

— Qui êtes-vous?

Я ответил:

— Ленуар!

Она хотела меня обнять, но вдруг замерла и сказала:

— Ah, mon petit Lenoir!

И мы схватили друг друга за руки, водянистые глаза мадам Лувуа сияли, и она добавила:

— Mon fils que tu as grandi[2].

И прикосновение ее натруженных, шершавых рук напомнило, как они гладили меня в детстве, и только потом я заме-

1. "Это рядом" (*франц.*).
2. — Кто вы такой?.. — Ах, малыш Ленуар!.. — Как ты вырос, сынок (*франц.*).

тил, как она исхудала и постарела, и подумал, что до мадам Лувуа еще не добрался этот ваш план Маршалла.

Я сказал, что еще зайду к ней, а пока поднимусь к нашей квартире, и она сказала: "C'est bien, mon enfant", но не хотела со мной расставаться и под конец призналась: "Pierre était mort". Я отлично понимал, что́ она говорит, Дависито, и успокаивающе похлопал ее по плечу, мадам Лувуа вздохнула, и взгляд ее унесся в далекое-предалекое прошлое, она отодвинулась от меня и только сказала на прощание: "C'était la guerre, mon fils"[1].

Не знаю, смогу ли передать тебе, Дависито, что я чувствовал, поднимаясь по тем ступеням, и как началась та странная метаморфоза. Пока я шел по лестнице, во мне вдруг стали просыпаться забытые мысли и ощущения. И когда отворилась дверь на втором этаже и раздался кислый дребезжащий голос: "Madame Louvois, le courrier!"[2], я, не зная французского, понял, что это мадам Турас и она хочет, чтобы мадам Лувуа принесла ей вечернюю почту. С этого мгновения стены, перила, двери и таблички на них перестали быть мне незнакомыми и холодными, превратившись в свои, родные. Я говорил себе: "Боже, как будто не было всех этих лет". Я услышал скрип ступеньки, и сердце мое застыло на несколько секунд, Дависито, потому что этот звук отозвался у меня в ушах почти человеческим стоном. Я снова благоговейно наступил на ступеньку и, смею тебя уверить, что именно этот скрежет окончательно все во мне перевернул, и с тех пор я уже поднимался по лестнице ребенком, каким был двадцать пять лет назад, нерешительно ползя вверх на поводу у ребячьих мыслей и чувств.

У двери четвертого этажа я почувствовал, что за нею — мама, а в квартире напротив — месье Ксифре, и припомнил правильные черты месье Ксифре и его чувство собственного достоинства, словно виделся с ним еще вчера, Дависито. И близость мамы была такой живой, что в сердце моем отдавалось тепло ее ласки и нежности, и я вновь видел ее в воображении молодой, красивой и горделивой, хоть и с неуловимой грустью, мелькающей в глазах. Все это походило на самое что ни на есть чудо, Дависито, я даже не старался нарисовать в воображении все эти вещи, они сами всплывали бурным, все более полноводным потоком ничтожных деталей и подробностей. Каждая ступенька говорила мне что-то новое, вздымала со дна души уснувшие воспоминания, и я в восхищении останавливался у трещины в стене или зазубрины в полу, вызывавших в памяти целые истории из моего раннего детства, трогательные и наивные.

1. "Хорошо, сынок... Пьер умер... Была война, сынок" (*франц.*).
2. "Мадам Лувуа, почту!" (*франц.*)

Я не был взволнован тогда. Даю тебе честное слово, Дависито. Возвращение было нежным, будто начинаешь все заново, и я чувствовал себя не как больной и озабоченный человек, а как здоровый морально и физически, гармоничный четырехлетний ребенок. Воспоминания складывались у меня в голове ясно, как недавно пережитые, совсем близкие, но и, надо признать, беспорядочно, неточно, бессвязно и беспричинно, как сменяют друг друга картинки перед ошеломленным взглядом ребенка.

Я все поднимался, Дависито, и добрался, наконец, до последней лестничной площадки. Почему-то я предчувствовал, что вот-вот произойдет что-то важное в моей жизни, и в первый раз с начала восхождения я задался нынешними вопросами и наваждениями, вспомнил про Робинета и про кроссворд, и что-то в моем детском уме шептало мне: "Горячо, горячо, горячо!" Тогда я увидал дверь в папину студию и вновь превратился просто в мальчика, вспомнил свои игры и забавы и что именно эта лестничная площадка служила мне местом для игр. И еще вспомнил, что вставал на цыпочки и подсматривал в замочную скважину, как папа работает в студии. Я подкрался к двери, Дависито, как мальчик, а не как мужчина, нагнулся посмотреть и увидел не то, что теперь было в студии, а папу у огромного окна в потолке, с кистью в руке, а по стенам — множество картин, набросков, маленьких гипсовых скульптур и несколько гравюр. И тут, Дависито, сердце у меня пустилось вскачь, и я понял, что это воспоминание об уже прожитом событии, потому что вдруг в слуховом окне потемнело, и оттуда показалось лицо Робинета, в точности как на картине, с жидкими глазами и пухлыми губами сердечком. Папа не удивился его появлению, будто бы все гости являлись к нему через слуховое окно, и только сказал: "Quoi de bon?"[1] Робинет не ответил. Он пристально, жадно смотрел на папу и без предупреждения выпростал руку из кармана, и раздался выстрел, и папа рухнул, и клуб дыма застил мне глаза, и тут я заметил, что рыдаю в голос, а другие голоса, крики поднимаются по лестнице. Один из них — мамин, молодой мамы, Дависито, она меня обнимает и говорит с плачем, глядя безумными глазами: "Ангел мой, тебе-то за что все это?"

Когда я отлепился от замочной скважины, у меня сильно кольнуло в почках, Дависито, и я понял, что мамы там нет, а я есть, и мой собственный плач бродит во мне, не проливаясь слезами, хоть я его и "слышал", Дависито, потому что я уже был не ребенок, а мужчина, и сознание мое просыпалось, и, когда я начал спускаться, колени у меня ослабли, и я присел

1. "Как жизнь?" (*франц.*)

на верхнюю ступеньку, и все же меня переполняло приятное чувство, знакомое тем, кто после долгих усилий и раздумий отгадал-таки последнее слово в кроссворде.

XXII

Иногда случается, Дависито, что впечатления и эпизоды, давно погребенные внутри тебя, всплывают благодаря облупленной стенке, или запаху, или слову, или взгляду, или песне. Как по мановению волшебной палочки, ты вспоминаешь тогда всю историю из твоего прошлого, задавленную грузом произошедших позже событий. Совершенно ясно, Дависито, что большая часть таких воспоминаний сойдет с нами в могилу, потому что в жизни нам не попались та самая песня, тот взгляд, то слово, тот запах, чтобы расшевелить их, разбудить, не нашлось пружины, чтобы оживить их в подходящий момент. Эти воспоминания перестали быть воспоминаниями, но, если что-то тайно их подстегнет, снова могут ими стать.

Обо всем этом я размышлял, Дависито, возвращаясь, в парадном пансиона, и там было уже так темно и тихо, что я вошел в лифт и принялся на ощупь искать кнопку третьего этажа со смутным страхом. И окаменел, вместо кнопки нащупав опередившую меня руку. Я отдернул свою, думая, а не брежу ли, и, поколебавшись несколько секунд, вновь потянулся к кнопке, дабы разувериться, но рука была там, Дависито, и была она тяжелой и страшно холодной, и я так оцепенел от ужаса, что уронил свою руку на ту, другую, и тут вдруг вспыхнул свет, и, не оборачиваясь, я увидел за собой Робинета в отражении на стеклах дверей лифта, улыбающегося мне, будто старый друг.

Ах, Дависито! Надо ли говорить, что плевый подъем до третьего этажа обернулся для меня таким невыносимо долгим, что я уж думал, он и не кончится? Приятного мало, честно говоря, Дависито, оказаться запертым в лифте с этим типом, оказаться отданным на его милость, насмотревшись на чертову уйму героев, каких развелось в кино, — из тех, что в мгновение ока соображают что к чему, хватают злодея за жабры, укладывают его парой приемчиков джиу-джитсу, и вот он уже разделан под котлету. Все это вогнало меня в тоску от собственной ничтожности, я-то считал, Дависито, что в жизни все по-другому, даже, например, злодей зачастую оказывается сильнее и ловчее и лучше знает джиу-джитсу, а если честный человек сдуру рыпнется, у него не только бумажник отберут, но еще и наподдадут как следует, если вообще не кокнут. Так оно и бывает: честный человек учится честно зарабатывать на жизнь, а преступник тем временем учит приемы джиу-джитсу, Дависито, и в пиковой ситуации, скорее всего, честный останется без бумажника и в дураках.

Так я думал, пока мы ехали, и Робинетовы руки в карманах пальто отбили у меня и без того небольшую охоту прибегнуть к насилию. Я предпочел выждать удобный момент, и, когда аккуратная старушка открыла мне, я, предупреждая об опасности, подмигнул тем глазом, со стороны которого за мной стоял Робинет; однако аккуратная старушка засмеялась и пробормотала: "Ah, espagnol!"[1], слегка смешавшись. Завернув в коридор, Робинет, наконец, раскрыл рот и сказал: "У вас глаза вашего отца". И, раз уж он не переставал идти за мной к комнате, я предупредил, что моя жена нездорова, но оказалось, у нее уже все прошло; я постучал, и Аурита тут же открыла и обняла меня и сказала, что хочет прогуляться, и вдруг заметила Робинета и осеклась. Он кое-как поклонился и сказал мне:

— Превосходная идея пришла вашей жене, Ленуар. Вот мы все вместе и пройдемся.

Я сказал:

— Это Робинет.

Аурита разинула рот, но ничего не ответила.

И когда мы втроем вышли из дома, я спросил себя: "Куда нас тащит этот гусь?" Робинет шагал быстро, и я, Дависито, не питал иллюзий относительно своей судьбы. Я тоскливо поглядывал на таблички с названиями улиц и мысленно цеплялся за них, страстно желая жить. Сдавалось мне, Дависито, что каждый миг рядом с этим человеком приближает мою погибель.

На площади Клемансо я завидел мальчишку, выкликавшего "Ле Зюдуэ", и, не спросясь Робинета, свистнул его. Робинет перегородил мне путь и спросил: "Что такое?" Я сказал: "Хочу купить газету". Мальчишка вылупился на нас, не понимая ни слова, а я умоляюще заглядывал ему в глаза, чтобы он не уходил и не бросал нас одних, и тихонько наступил ему на ногу, но он вежливо ногу убрал и у меня же попросил прощения, и тогда я, Дависито, сунул ему крупную купюру, пусть бы подольше искал сдачи и тем самым выиграл время, но у треклятого сопляка нашлась сдача, он отсчитал мне ее и незамедлительно отчалил, выкликая "Ле Зюдуэ" через каждые три метра.

На следующем углу я остановился, а Робинет ткнул мне в почки тем, что оттопыривало ему карман. Я заупрямился: "Мне по нужде". Он ответил: "Вперед. Мы еще не пришли". Я продолжал артачиться: "Не могу терпеть". Он заладил свое: "Вперед, недолго осталось". И все тыкал меня в почки сквозь карман, поэтому я пошел дальше. Дависито, то было чистой воды безрассудство.

Аурита же все это время шла рядом с нами, не подозревая об опасности, и мне стало жалко ее и ребенка, и я хотел уже

1. "А, испанец!" (*франц.*)

умолять Робинета, Дависито, когда тот остановился у вращающейся двери, из-за которой доносился напевный мотив "Сены". Из двери выходили группками десантники, а с ними — девушки, и я сказал себе, Дависито: "Все, с места отсюда не двинусь". Но все мое деланое сопротивление пошло прахом, Робинет втолкнул меня внутрь и сказал: "Заходите, Ленуар, чуток позабавимся".

Внутри я испытал приятное облегчение, потому что и в ресторане, и в пивной народу было много, и все такие беззаботные и веселые, и абажурчики над каждым столом тоже были беззаботные и веселые, а еще веселее — длинные бордовые кожаные диваны, раскинувшиеся по углам. На сцене играл оркестр в смокингах, и певица пела "Сену", и была она, Дависито, сногсшибательная, уверяю тебя: белокурая красотка, все при ней и в точной пропорции. Талия обалденная, бедра крепкие и сильные. Она пела "Сену" со смаком, и, глядя на нее, я чуть не забыл про Робинета. Еще мне нравился ее простой бархатный наряд, до пят, но сверху чуть покороче, до середины груди, хотя плечи у нее были такие ладные, что можно было простить маленькую вольность, да и потом, Дависито, на то она и стояла там, чтоб возбуждать любовный трепет и чтоб все мужчины, попавшиеся в сети "Брассри", желали ее всеми своими силами и чувствами.

Я жадно смотрел на нее, и меня вывела из оцепенения Аурита: "Дырку не протри, милый", но, когда я хотел взять ее за руку, Робинет угрожающе проговорил: "Садитесь сюда, Ленуар, тут нам никто не помешает". Потом он подозвал официанта и, не спросив нас, взял пива на всех.

XXIV

Робинет поерзал на диване и сказал:

— Здесь это было, здесь этому и всплыть, Ленуар. Вот почему мы встретились — нипочему больше.

Он пристально смотрел на меня, Дависито, и пусть взгляд его был жидким, как водянистое вино, я не мог его выдержать.

Он откашлялся и сказал:

— Я убил вашего отца, Ленуар. Вот самое важное из того, что я хочу вам сегодня рассказать.

Я онемел от такого признания, Дависито, а Ауриту передернуло, мне стало жаль ее и жаль моего ребенка, запертого в ней; эти мысли придали мне сил, и я сказал:

— А нельзя ей уйти?

Робинет ответил сухо, как кирпич уронил:

— Оба меня выслушаете.

Было некоторое хвастовство в его тоне, Дависито, а потому я решил, что Робинет кичится этим убийством и тем, как идеально он его провернул. Я не осмелился сказать, что все видел, Дависито, — не хотел его злить. Я наклонился к нему и заметил, что с него течет пот ручьями. Оркестр и сдавленный голос белокурой певицы немного успокаивали меня. Робинет продолжал:

— Вы можете подумать, Ленуар, что мною двигал каприз, но нет — то был тщательно продуманный план. Ваш отец должен был умереть. И я первый сожалею об этом, ведь ваш отец был превосходным художником. Моей вины в том, что случилось, нет. Все идет, как идет, остается только смириться. А скажите, Ленуар, вы когда-нибудь всерьез задумывались о первой ночи мертвеца? Что, не задумывались? Это же чистый кошмар.

Он помолчал, потом добавил:

— Вдумайтесь, Ленуар: вы, хоть вас уже и нет, весь день провели у себя дома, у себя в комнате, лежа на своей собственной кровати, но уже не узнаете ни кровати, ни комнаты, ни постельного белья, ни близких, сгрудившихся вокруг вас. Над вами плакали, пока все слезы не выплакали, а вы и ухом не повели, и вот они голосят: "Несчастный, такой был добряга при жизни!", а про себя думают: "Негодная рухлядь. Надо вынести поскорее, пока не завонял". И не поленятся — быстренько все оформят, лишь бы схоронить вас без промедления. Я говорю о любивших вас людях, Ленуар, о тех, кто самоотверженно заботился о вас во время болезни, но теперь, после вашей кончины, они освободились и мечтают отдохнуть и говорят: "Все равно было не спасти; лучше уж так". И поспешно рядят вас в новую майку и чистые трусы и накрахмаленную рубашку, да еще какая-нибудь зараза встрянет: "Да ты что, с ума сошла, это же сыну впору придется". Но, так или иначе, вас обряжают в костюм, и галстук, и воскресные туфли, а вы не возражаете, вам побоку, над вами нависла дубина, а вам невдомек.

И приготовления затягиваются, и вы уже всем мешаете, сами того не зная, и на всю эту суету вам плевать. Но в конце концов подходит время похорон: черный катафалк, пара спешащих по своим делам друзей, дрянной венок. Этого мало, Ленуар, ну да вам ни мало ни много, вы уже — небытие и одиночество в черном гробу. И не можете даже сказать: "Только не туда! Ради Бога, не надо меня туда совать. Если вы меня любили, не закрывайте крышку гроба". Вам не сказать, а остальным не понять, и вас волей-неволей заколачивают и на плечах несут вниз по лестнице, и ваш собутыльник из бара думает: "Тяжелый черт, прямо свинцовый", но помалкивает и расслабляется, переложив вас в катафалк. Потом все отъезжают на кладбище, а у могильщиков уже все готово, потому как их

предупредили, и раз-раз — вас уже положили, накрыли плитой и замазали щели цементом. Все горестно вздыхают, однако разворачиваются и бросают вас одного-одинешенького, думая дорóгой, что так только голодранцы и помирают.

И вот тогда начинается представление. Вскоре кладбище закрывается и наступает ночь. Вы там один под чахлыми кипарисами, а всего несколько часов назад лежали себе среди родных, в своей кровати, на своем белье и попивали горячий бульон для поддержания сил. Все так быстро изменилось. Поднимается ветер, и над вашим недреманным мозгом начинают раскачиваться кипарисы. А вы один, то есть соседей-то кругом много, но у каждого — свое небытие и свое одиночество. Каждый сам по себе, и белая луна выплывает на небо и освещает ваш закуток. Вы, Ленуар, чуете лунное сияние. Только чуете, потому что хитрые могильщики хорошо потрудились, чтобы не осталось ни махонькой щелочки для света.

Совсем неподалеку гудит город, и те, кто вас любил и холил еще несколько часов назад, сидят вместе и говорят друзьям: "Его было не спасти, уж лучше так, он мучился". И одиночество окутывает вас со всех сторон, а кругом душераздирающий холод, и безмолвие, и удушье. Кладбищенский сторож дрыхнет без задних ног у себя в подсобке, у него там печечка на дровах прогревает комнату, а вы в своем небытии только и чувствуете, как одиноко не быть, как тоскливо не участвовать в жизни, как жутко холодно в могиле.

Робинет замолк. Я весь скукожился от страха, Дависито, и все равно сила и напряжение, исходившие от Робинета, влекли меня, я не мог освободиться от их воздействия. Блондинка все пела, а десантники все ее вожделели, а я ничего этого не замечал. Я попал в его власть, моя воля подчинялась его хотению, и даже попытайся я — не смог бы отвязаться. Он теперь пыхтел, словно старый паровоз, а руки у него дрожали, как у дряхлого астматика. Он утер пот замызганным платком и продолжал:

— Потом, Ленуар, наступает полное забвение; память о вас стирается с земной коры. Медленно, но верно. Сегодня вас помнят чуть хуже, чем вчера, и чуть лучше, чем завтра. Непоправимо, необратимо. В конце — забвение, абсолютное небытие, как пустота внутри пневматического колокола. От вас ни следа, ни воспоминания, Ленуар. Только плита с именем и датами. И кто-то идет и думает: "Кто, интересно, был этот субчик? Кому этот субчик давал жару? Какие у этого субчика были дела, какие бабы, какой характер?" Вот что от вас осталось: сплошная непонятка. А вы тише воды, ниже травы, закованный в свой выходной костюм и цветастый галстук, и с каждым днем вас все меньше, с каждой минутой — больше небытия...

Робинет трясся, будто от холода, Дависито, а я думал: "К чему он ведет?" Он утерся платком, кинул равнодушный взгляд на округлые плечи артистки и продолжал:

— Смерть сама по себе не так уж плоха, Ленуар. Если вдуматься, она милосердна и кладет конец нашим горестям. В этом смысле смерть не только участлива, но и желанна. И в ней, в конечном счете, не было бы ничего важного, если бы память о нас жила в делах и заботах века. Настоящая пытка — умереть в безвестности, Ленуар, сыграть в ящик, словно мелкий донжуан, которого любят только самые близкие, обязанные любить, а поручиться, что был такой, возьмется только консьержка, видевшая, как его выносят вперед ногами. Это разные вещи, Ленуар. Одно дело — умереть знаменитым, и совсем другое — умереть нищебродом. Помер нищебродом, и все, Ленуар, конец; конец, как только кинут плиту на твои кости и призамажут щели цементом. Тут-то и позволительно сказать: "Ну, пора отдохнуть". Но, Ленуар, разве можно спать спокойно, сознавая свою ничтожность, когда и земляной червяк выше тебя? Что ж! Все идет, как положено, и человек создан, дабы продлиться, и лишь тот, кто добился известности, может в могиле перевести дух и знает, что дорогу к нему найдут, и что он не одинок и стоит только подождать, и что живые чтут либо попирают его память, но все равно помнят его, знают, кто он такой, и скрашивают ему одиночество своими воспоминаниями. Тогда, Ленуар, уж поверьте мне, вы не целиком умираете, нет абсолютного небытия, нет полного забвения, а потому нет и удушья, ведь вы или память о вас, без разницы, остаетесь в мире, на языке и в уме живых, и ваша личность сохраняется в других людях, в других живых клетках и живых внутренностях и живых членах. Эта известность, Ленуар, — она как легкие для покойника, от нее он становится бессмертен и пребывает вовеки.

Белесые глаза Робинета, Дависито, разгорались дьявольским огнем. Аурита смотрела на него в трогательном изумлении, а я по-прежнему был привязан к нему, полностью скован его волей, безучастный и покорный, устремил к нему все свои обостренные, натянутые чувства.

И вдруг, подняв брови и приглушив голос, Робинет сказал:

— Когда я познакомился с вашим отцом, Ленуар, он был самым многообещающим художником во Франции. Он был смел, неистов, обладал своеобычной, яркой техникой. Я в то время искал выразительного, оригинального художника. И уже совсем было отчаялся найти. Это правда. Вы должны мне верить, Ленуар. Только это меня сейчас и волнует — чтобы вы мне верили. Я с детства думал так же, как сейчас, и часто говорил себе: "Робинет, тебе суждено поразить человечество". Однако я

желал совершить нечто лишь силой своего горячего желания, ума, рук и ног. И я задавался вопросом: "Что ты совершишь, Робинет?" Я думал, что способен на многое, но время еще не пришло. А оказалось, оно никогда и не придет, Ленуар, и никогда не найдется ничего, достойного свершения. Я поспешал и говорил себе: "Ты должен обессмертить свое имя; время не ждет". И начинал думать: "Как?" Я так и не вырвался из этого круга. Жизнь, Ленуар, несправедлива, одни рождаются одаренными, а другие — бездарными, одни рождаются умными и сметливыми, а другие — тупыми и недалекими. Вот и у меня намерения были добрые, да этого оказалось мало; моя голова и мое сердце только и могли, что питать эти добрые намерения и лихорадочную жажду деяний. И однажды ночью, когда я зашелся в отчаянии, меня озарило: "Сам ты не справишься, Робинет. Найди кого-то, кто сумеет вылепить из тебя нечто великое". И тогда я подумал, Ленуар: "Леонардо создал Джоконду, и кто из них важнее?" И через мгновение я уже всей душой завидовал этой окаянной малохольной, которая победила забвение одной глупой улыбкой, посланной гению. Я спрашивал себя: "Разве улыбка заслуживает бессмертия? — А потом сам же отвечал: — Заслуживает или нет — это уж не мое дело". И меня грела мысль о том, что, ничего не делая, можно победить время и что забудут тебя или станешь знаменит, зависит, как и все в жизни, только от того, успел ты урвать свой шанс или нет.

Тогда-то я увидал впервые работы вашего отца, Ленуар, и их мощь и характер сразу покорили меня, потому что я, не удивляйтесь, могу похвастать тончайшим эстетическим чутьем. При виде его работ я сказал себе: "Эти картины воспламеняют своей энергией; такие картины пребудут в веках". Все это случилось на выставке, и я подошел к вашему отцу и сказал: "Восхищен волнующей грандиозностью ваших пейзажей". Он от такого комплимента распустил хвост и сказал: "Никто так высоко не летает, как я". И мы сдружились и с тех пор часто виделись, и однажды я сказал: "Ленуар, вы должны написать мой портрет". Он ответил: "В вас мало красок, мало выразительности в лице; вы для портрета не годитесь". Я возразил: "Может, другим и не гожусь, а вы меня раскусите". Он сказал: "Того, чего нет, никто и не раскусит". Но я настаивал: "А вы попытайтесь: тем больше вам чести". И он взялся за дело. Ему приходилось несладко, Ленуар, иногда он ругался сквозь зубы и предлагал душу дьяволу. Однажды вечером он, наконец, сказал: "Готово". Я ответил: "Я посмотрю завтра". Он удивился: "Это же недолго". А я сказал: "Все равно. Я сейчас устал. Завтра посмотрю". Я хотел подготовиться, Ленуар. Ведь в этом был смысл всей моей жизни. Я не мог просто так взять и вылупиться на картину. Думаю, в живописи все зависит от первого

взгляда. Вглядываться не так уж важно, обычно это не меняет начального впечатления. Поэтому я сказал: "Завтра посмотрю". И наутро пришел в студию к вашему отцу через слуховое окно. Он улыбнулся и сказал: "Это что-то новенькое". Я объяснил: "Из моего дома в ваш можно по крыше пройти". А картина мне почему-то не понравилась. Не было в ней той искры бессмертия. Я так без обиняков и сказал вашему отцу. Он разъярился, выругался и послал меня к черту. Тогда я сказал: "Надо начать все заново, Ленуар". Ваш отец еще пуще разозлился. Но я настаивал: "Другого выхода нет". Он обругал меня, и тогда я хладнокровно пропорол портрет ножом в двух местах.

На следующий день ваш отец вновь начал писать меня. Я неотрывно следил за его руками, глазами, движениями, чтоб он не изнемог за работой. Но ему изменила воля, Ленуар. Клянусь, вашему отцу изменила воля. Я подметил это в его повадке. Он так и не отдался работе полностью. На второй день он вскочил и сказал: "Вы потеете; я не могу, когда мои натурщики потеют". Я нахмурился и велел: "Продолжайте". Внутри меня шла борьба бытия с небытием; решалось, суждено мне кончиться или продлиться. И от этого-то, Ленуар, я потел, и волновался, и расстраивался — я ведь все поставил на кон, как тут не переживать. Чуть погодя, ваш отец снова вскочил: "Дьявол, не вертитесь!" Я ответил: "Продолжайте, продолжайте, продолжайте". Я спешил, Ленуар, спешил и боялся смерти и все же не мог выдавить из себя ничего, кроме: "Продолжайте, продолжайте, продолжайте". О, если бы у меня в руках оказались пружины вдохновения! Но ничего у меня не было, Ленуар, кроме жажды бессмертия, жаркого желания жить вечно. На четвертый день ваш отец встал и сказал: "Все, конец. Не могу". Он напился в тот день, и я стал его увещевать: "Надо продолжить, Ленуар". Но он заупрямился: "Сказал, все, конец". На следующий день я вернулся через слуховое окно, но он не передумал: "Бесполезно". Я ушел и чуть ума не решился в одиночестве, а потом подумал: "Я ведь могу его убить". От этой мысли мне стало легче, Ленуар, клянусь, так оно и было, и мало-помалу она завладела мной, ведь в этом деянии я мог обрести бессмертие. И заодно окончательно утвердить славу вашего отца. Все по справедливости, Ленуар: мы с ним оба были несчастны. И я убил его, Ленуар. Я рассуждал так: "Я прославлюсь тем, что убил не сумевшего меня прославить. И пусть меня повесят — мне все равно". Но, по размышлении, сказал себе: "А ведь это дело громче прогремит, если вскроется через двадцать пять лет". И я сбежал по крышам, Ленуар. В этой стране не так уж трудно провести полицию, поверьте. Люди думают, что в мансарду на седьмом этаже можно попасть только с лестницы. Они и не подумали про

слуховое окно, понимаете? Я спустился в него, выстрелил и сбежал. Люди говорили: "Вот, какой-то художник застрелился". И если разобраться, Ленуар, что им было еще думать?

XXV

Робинет откинулся на спинку дивана, Дависито, и его потное лицо сияло мальчишеской радостью. Я струсил тогда, Дависито, и не признался, что все видел сквозь замочную скважину, — во-первых, после его признания это уже потеряло смысл, и во-вторых, это сильно взбесило бы Робинета, а я начал подозревать, что он захочет преумножить свою славу, порешив и меня тоже. Я сосредоточился только на том, чтобы успокоить его, и не скрою, Дависито, что всем своим видом старался выказать не просто понимание его поступка, который он выдавал за самый что ни на есть разумный, но даже восхищение им. Блондинка ходила от столика к столику, пела, и от журчания ее голоса мне хотелось жить. Я вдруг спросил:

— Почему вы от меня бегали?

Робинет улыбнулся и сказал:

— Сегодня исполняется двадцать пять лет с того дня, пришлось привести вас сюда для завершения круга. Пора все расставить по местам. Круг замкнулся; а узнал я вас в неподходящем месте в неподходящее время. Поэтому пусть вас не удивляет моя бесцеремонность по отношению к вам, и прошу извинить меня за гонки, которые я вам устроил в подземке. Я ведь как думал: "Нет, только не здесь; все должно вскрыться на месте событий. Ленуар поедет за мной во Францию".

Я подумал: "Какой там к черту круг! Я здесь по чистой случайности". Вдруг я заметил, что Робинет шарит в бумажнике. Он резко выдернул оттуда грязный, неаккуратно сложенный листок, исписанный нервным почерком. Протянул мне и сказал:

— Вот мое признание, Ленуар; в префектуре оно колом им встанет. В архиве лежит дело о самоубийстве художника Ленуара, застрелившегося утром 25 ноября 1922 года. Теперь все придется перекроить, где стояло "А" — поставить "Б", переписать протокол, охаять судмедэксперта. Все из-за меня, Ленуар, и над такой шуточкой их смеяться не потянет. В глазах Робинета, Дависито, вдруг засквозила бесконечная усталость. Он утомленно глянул на артистку и, еле ворочая языком, спросил:

— А что, Ленуар, только честно: много бы вы дали, чтобы поцеловать ее в губы?

Я сильно закашлялся, потому что Аурита воззрилась на меня, словно говоря: "А ну, сколько?" И тогда Робинет грузно

поднялся и объявил: "Я ее поцелую. Имею право — это мое последнее желание". Он прошел по пустой танцплощадке прямо к блондинке, ухватил ее за талию и впился в губы, словно умирающий от жажды. Это было так дерзко, Дависито, что мы остолбенели на своих местах, оркестрик смолк, и над нами нависла жуткая тишина. Все оцепенели, пока красавица, пытаясь освободиться от жадной непреклонности Робинета, не издала сдавленный крик ужаса. И жизнь вновь закипела, все пришло в движение, мы повскакали с мест, и в этот миг Робинет оставил девушку, шагнул на середину площадки и поднес правую руку с чем-то черным ко рту: прогремел страшный выстрел. Я увидел, что он рухнул, Дависито, и, кинувшись к нему, успел заметить, что Аурита тоже рухнула на диван, и застыл в нерешительности, а потом вернулся к ней, смочил платок в пиве и стал промокать ей виски, пока она не пришла в себя.

XXVI

Потом было много суматохи, Дависито, всяких дознаний и допросов и прочих заморочек с префектурой, но ничто уже не могло воскресить Робинета, и, хоть мне и противно было лить воду на его мельницу, чтобы он прославился благодаря своему преступлению, пришлось это делать — во-первых, чтобы отмыть память об отце от позорного пятна самоубийства, и, во-вторых, чтобы нам с Ауритой безболезненно выкарабкаться из передряги. И как Робинет и надеялся, про него стали судачить и раздувать его поступок, и мне делалось тошно от мысли, что его останки сейчас на седьмом небе от радости там, в могиле. Но потом я думал: "Робинет был умалишенный. Нет никакой вечной жизни, это все он себе напридумывал. Мракобесие, и все тут".

Когда мы вернулись домой, мне стало уже гораздо спокойнее, и ганглий начал опадать, пока не превратился в почти незаметный узелочек, и я снова стал ходить в контору и, хотя поначалу решил ничего не рассказывать про папу, чтобы не способствовать печальной славе Робинета, потом все же проболтался, Дависито, и не то чтобы ради папиного доброго имени, — тут и так никто не знал, как он умер, — а просто из глупого желания похвастать своими приключениями. Я всем все рассказывал и наслаждался, когда слушатели крякали от удивления, но все же в те дни, Дависито, я очень тревожился за Ауриту и моего ребенка, ведь известно, что сильные переживания в таком состоянии могут плохо сказаться, и все время спрашивал Ауриту: "Ты как, хорошо?" А она отвечала: "О, гораздо лучше, чем раньше!" И точно, Аурита вроде бы пришла в себя и стала завинчивать зубную пасту и придвигала

стул к кровати, чтобы у меня на пиджаке не отвисли плечики. А я все приставал: "У тебя ничего-ничего не болит?" И она отмахивалась: "Сказала же, все в порядке; покоя нет".

Когда подошел срок, я весь извелся и постоянно незаметно наблюдал за ней, стараясь подметить какую-то нервозность или угрожающие симптомы. Но ничуть не бывало, Дависито. Аурита была полна сил, спокойна, и неприятности в По, казалось, не оставили ей никаких дурных воспоминаний. Все же я старался во всем ей угождать, предугадывал ее желания, а если она заводила речь о Робинете, менял тему, чтобы она не думала про те трудные времена, но она сердилась: "А можно узнать, почему ты обращаешься со мной, как с ребенком?" Потом, как обычно бывает, все слишком затянулось, и я уже стал сомневаться, что это ребенок, и в конторе тревожился и места себе не находил, а Санчес мне говорил: "Не дрейфь, моя жена же с ней".

Как-то утром меня вызвал директор и очень любезно усадил в белое кресло для посетителей, справился о моем здоровье, узнал, заплатили ли мне отпускные, как положено, и под конец спросил: "Скажите, Ленуар, правду рассказывают про вашу поездку во Францию?" Я, немного смущаясь, изложил ему всю историю, а он все выспрашивал подробности и всякий раз говорил: "Мать моя родная, невероятно!" А я говорил: "Точно, сеньор директор". И вот представь себе совпадение, Дависито: выхожу я из кабинета директора, а ко мне подходит курьер и говорит: "Сеньор Ленуар, вас к телефону". Беру я трубку и слышу, как Лола, Санчесова жена, говорит, что Аурита родила мальчика и девочку. Я переспросил: "Двоих?" Лола была очень взволнована: "Ага, двоих". У меня свело живот, Дависито, и я сказал: "Но они нормальные, все на месте?" — "Ну конечно! — воскликнула Лола. — Такие красавцы". Я совсем сбился с толку, Дависито, все благодарил и благодарил Лолу, и мимо проходил Фандо, и я повесил трубку и сказал ему: "Я, Фандо, стал отцом: мальчик и девочка". Он сказал: "Браво, Ленуар!" Потом он повернулся ко всем и объявил: "Ленуар стал отцом и матерью. Так держать!" И все меня окружили, и обнимали, и поздравляли, а я в конце концов сказал: "Пустите меня, пожалуйста. Мне надо их повидать".

Я бежал по улицам, Дависито, и мне казалось, что день нынче праздничный и все вокруг полно света, любви и нежности, и мир прекрасен, счастлив и добр к нам, и в сердце моем, Дависито, плескалось море разливанное тепла.

Вместо поклона
Несколько слов о поколении 27 года

Стихи Хорхе Гильена и Луиса Сернуды

Перевод и вступление Натальи Ванханен

Делить литературу на поколения удобно. Критикам. Сами представители одного поколения редко видят меж собой какую-то общность. Им ближе: "Нет, никогда ничей я не был современник". Что общего, скажем, у Мандельштама с Маяковским? А может, с их ухода прошло слишком мало времени? Может, минет лет триста, и выявятся общие трагизм, ранимость и обреченность, каких не знала уже последующая поэзия, и станет ясно — вот оно, поколенческое явление. Ведь признаются же некоторые нынешние музыканты, что не отличают музыки Сальери от музыки Моцарта: просто в ту эпоху так писали!

В Испании принято выделять два важнейших поколения в национальной литературе.

Первое — великое поколение 98-го: имеется в виду 1898 год, когда Испания окончательно перестала быть империей, утратив свою последнюю колонию — Кубу. Тогда в литературу пришли Унамуно и Ортега-и-Гассет, Хименес и Мачадо, Пио Бароха и Валье-Инклан.

Второе крупнейшее поколение испанских поэтов XX века — поколение 27 года: Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес, Хорхе Гильен, Луис Сернуда, Висенте Алейсандре, Педро Салинас, Херардо Диего, Дамасо Алонсо. Это только основное ядро, а вокруг еще десятки имен, заслуживающих пристального внимания. А ведь есть еще музыканты, художники, скульпторы, режиссеры с мировой известностью: Сальвадор Дали, Альберто Санчес, Луис Бунюэль...

Должно быть, происходили тогда, в 20-х, какие-то особые вспышки на солнце и затмения луны, раз столько блистательных талантов явилось на свет одновременно — и в Испании, и в России, и в других европейских странах. К своему третьему десятилетию XX век уже успел поманить большими обещаниями и принести горькие плоды, но много еще надежд было впереди, и немало предчувствий чего-то страшного бродило в сердцах, а для настоящей поэзии нет на свете дрожжей лучше.

© Jorge Guillén, 1984
© Luis Cernuda, 1991
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2011

При всех творческих различиях, представителей этого поколения роднили общие либеральные устремления, страстное желание обновления — как в общественной жизни, так и в поэтике. А еще общие учителя и наставники, столь несхожие меж собой: Поль Валери, Рамон Гомес де ла Серна, Ортега. И неистовая, как в начале времен, вера в Слово. И весьма плодотворная попытка сочетать, казалось бы, несовместимое: испанскую поэтическую традицию, ее народные песни, романсы, коплы (лирическая разновидность частушки), рождественские вильянсико, житийные апокрифы с авангардом и сюрреализмом.

Группа молодых поэтов публично заявила о себе, собравшись в 1927 году в Севилье, чтобы торжественно отметить трехсотлетие со дня смерти крупнейшего поэта эпохи испанского барокко Луиса де Гонгоры. К тому моменту Гонгора был прочно забыт, но поколению Лорки понадобился именно он, поэт изощренной метафоры и сложного, "темного" стиля — словом, первый истинный сюрреалист! И вот через три столетия после смерти Гонгора воскрешен и вознесен на недосягаемую высоту.

Судьбы поэтов 27 года сложились по-разному. Гарсиа Лорка получил пулю, Висенте Алейсандре — Нобелевскую премию. Кому-то досталась трагическая безвременная кончина, кому-то долголетие Мафусаила. Но все они тяжело пережили гибель Испанской республики и годы франкизма, для многих обернувшиеся изгнанием и смертью на чужбине.

Признаемся, из всех названных поэтов у нас, в России, пока по-настоящему известен и любим один только Лорка. Он прекрасно переведен Анатолием Гелескулом, да и многие из нас, испанистов, считали за честь добавить хоть штрих, хоть строчку, чтобы приблизить Лорку к русскому читателю.

Так сложилось. Хочется надеяться, что эта любовь навсегда.

Если же представить испанскую поэзию поколения 27 года в виде спектра или, скажем, радуги, то Лорка по накалу страсти, по драматизму, наверное, займет центральное место, Хорхе Гильен с его восторженным восприятием мироздания окажется в самой светлой зоне, а Сернуда с его безысходной печалью — в самой темной.

Хотелось бы дать какое-то представление обо всей радуге, но едва ли это возможно в границах одной стихотворной подборки. Так что ограничимся пока ее крайними точками.

Когда Висенте Алейсандре получил Нобелевскую премию, критика была единодушна во мнении, что это премия всему поколению.

Журнал "Иностранная литература" уже представлял Хорхе Гильена и Луиса Сернуду своим читателям. Мы возвращаемся к этим именам снова. Будем считать эту публикацию скромной данью памяти, чем-то вроде поклона всему великому и трагическому поколению 27 года в год Испании в России.

Хорхе Гильен

Вдоль знаменитых старых берегов

Речка, что качала
былое в тени,
ты куда умчала
минувшие дни?

Все, что прежде жило,
под всплески весла
на́ берег сложила,
с собой унесла?

Снова вечер. Снова
на травах роса.
Голоса былого —
твои голоса.

Время неустанно,
как вечность сама,
под листвой платана
года, как тома.

Все ушло за реки,
за мост у пруда.
Навсегда, навеки
осталось — всегда.

Соловей

Поклон дону Луису[1]

Соловей — ночной павлин,
распустивший веер звука,
словно весточку долин,
шлет туда, где спит излука,
вдаль, где истово горит
вечный свет, взойдя в зенит,
где, должно быть, никогда
птица — огненная сфера,
божество, сиянье, вера —
соловью не скажет: "Да!"
О, прекрасная моя,
ты нужна мне! (Белизною
в сердцевине бытия,
в памяти, во мне, со мною,
а свиданье — стороной,
мимо). Встреча — ужас мой!
Переполнен — полонен.
Красота — почти помеха.
Что в ней? Что? (Но точно веха —
разбудивший память сон.)

В *кругу насущного*

Сверчит кузнечик. Хочет
остаться. Где бы?
У неба просят ночи
побольше неба,

потоком небывалым,
гигантской тенью
накатывая валом
навстречу пенью.

Лягушкам у болотца
во тьме неймется.
Кузнечикам поется,
да как поется!

1. Имеется в виду испанский поэт эпохи барокко Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Слились в одном сосуде,
в звенящей сини,
что было и что будет
с единым — ныне.

Творя помимо воли
насущный опыт,
ночь выточила поле
под вечный стрекот.

Рождество

Радость снегопада
вдоль путей-дорог.
Радо сердце, радо!
Приходи, награда,
к тем, кто одинок!

Человек обижен,
а земля черства.
В снегопаде ближе
небо Рождества.

Свет на небеси,
сохрани,
спаси!

Розовы и ярки,
румянцем дыша,
как смеются ямки —
щечки малыша.

Как они пригожи,
нежны и крепки.
Как у розы божьей
свежи лепестки!

Смех звенит в зените —
глядите, жива! —
вот она, возьмите —
роза Рождества!

Свет на небеси,
сохрани,
спаси!

Радость воплотилась,
и нет ей конца —
заливает милость
людские сердца.

Радость снегопада
вдоль путей-дорог.
Радо сердце, радо!
Приходи, награда,
к тем, кто одинок!

Совершенство круга

Врезаются в тайну
высокие кряжи,
слепящие стены
и пики барьера,

послушная взгляду,
плывет в пейзаже
невидимой тайны
воздушная сфера.

Всесилием света
она осиянна —
ни тени навета,
ни тени обмана.

Вот круг — и никто
совершеннее не был.
Круг циркуля цирка.
Круг таинства неба.

Кто знает про них?
Кто их разгадает?
— Кто это? Бог? Стих?
— Кто знает... Кто знает...

Луис Сернуда

Радость одиночества

Наедине с собою
славно идти зарею,
только вода бы пела —
звонко, пустынно, бело,
рядом с землею сонной —
звонкой, пустой, зеленой.

Только бы полной грудью
вольно вдыхать безлюдье,
где, над землей витая,
ангелов кружит стая.
Рай их лежит высоко.
Сладко в нем, одиноко.

Второе ноября[1]

Глухой и похоронный
сегодня звон с утра,
и ветер заоконный
до самого нутра

1. 2 ноября — День поминовения усопших.

сквозит холодновато
среди родных потерь —
считай свои утраты,
ведь ты один теперь.

В тебе одном отлиты
остатки жизни той:
очаг полузабытый
и тени за чертой,

что, заодно с тобою,
обречены на слом.
А небо голубое
повеяло теплом,

и дали просветлели,
и ты уже готов
вдохнуть цветочной прели
у рыночных рядов,

тот дух в себя вбирая,
где, тленьем налита,
живет земля сырая,
земля и красота.

Как время ни искусно,
гляди, в который раз
материя и чувства
отмаливают нас!

Сентябрьский ветер в тополях

В небе, где отгорела
память о прошлом лете,
бродит душа несмело
в звонко-звенящем свете,

точно прося, чтоб снова,
рощицей у излуки,
светлая тень былого
к ней протянула руки.

Что там? Прозрачен воздух,
дальние видно вехи,
музыка кружит в звездах,
спит в тополином эхе.

Слышится в перелеске
легкий звук поцелуя,
крыльев глухие всплески
тайну хранят людскую.

Но и ь блаженном гуле
не повстречаться с вами,
годы, что затонули
и утекли ручьями.

Юность, моя отрада,
чем я тебе отвечу?
Мне и тебя не надо,
не выходи навстречу!

Пой тростника безвестней
в пойме реки туманной.
Будь, как и я, лишь песней —
дальней и безымянной.

К вам потянусь без страха,
губы, глаза, былое.
В желтые листья праха,
молча, лицо зарою.

Да распахнет ненастье
мрака глухую полость.
Пой мне, былое счастье,
пой мне, заветный голос!

Пой и прощай, родное,
жажда и жизнь без края!
И уплывай волною
в желтую славу рая.

Чайки в городских парках

Владыка фабрик, баров, где камень давит прессом,
где сумрачное небо и сумрачные зданья,
христианин под праздник да по воскресным мессам —
ветхозаветный город, не знавший покаянья.

Чудно́ в таком пейзаже пройти забавы ради
по запыленным паркам, где зелень неопрятна,
и, глянув вверх случайно, увидеть на закате
в дождливом небе чаек — безумных, вероятно.

К чему бы им, крылатым, парить в дыму и гаме,
над лужами-ручьями с густым пятном мазутным?
Каким жестоким ветром, какими их судьбами
прибило к этим дебрям — безводным, сухопутным?

Отлучены от моря, покинуты на суше,
они сдержать не могут бессильного укора,
и докучают плачем их проклятые души
тому, кто дал им крылья, но не дал им простора!

Прощание

Юноши,
не ставшие вчера моими спутниками,
прощайте!
И вы,
кого мне уже не суждено встретить завтра,
прощайте и вы!

Жизнь
развела нас:
позади смешливая вольница юности,
впереди — жалкое убожество старости.

В молодости я не умел
разглядеть красоту, привлечь ее, завладеть ею.
Теперь
я распознаю ее с первого взгляда.
Что с того? Нынче все — напрасно.

Ласка старика
лишь осквернит молодое тело.
Оттого и надлежит старой развалине
в гордом одиночестве, с достоинством
уходить от позднего искушения.

Как свежи и желанны целованные однажды губы.
Но не целованные — еще свежей и желанней.
Как быть? Что с этим делать?
Ничего, друзья мои: из этого лабиринта нет выхода.

А как славно было бы
еще побыть здесь, с вами:
вместе купаться и загорать на раскаленном песке,

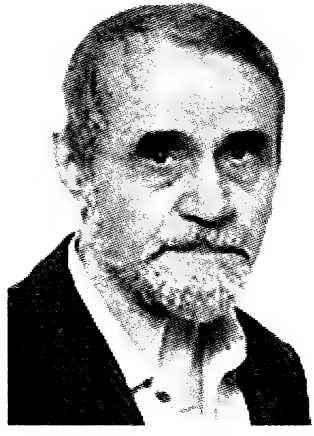
делить за одним столом хлеб и вино,
смеяться, болтать, шататься там и сям,
ловя в других глазах свет и музыку.

Оставайтесь, беспечные мои, такими, как есть,
любите любовь, будите желания.
С вами легкость и красота, и что вам
до чудака, с отрешенным видом бредущего мимо.

Прощайте же, мои остряки и прелестники!
Мне пора. Может, там, куда я отбываю,
еще удастся каким-то чудом связать оборванную нить,
чтобы сказать и сделать все,
что не довелось сделать и сказать здесь.

Прощайте, мои несбывшиеся!
Мне осталось освоить последнюю науку —
науку умирания, но я ухожу с надеждой
вновь встретиться с вами,
такими же прекрасными, как сейчас,
в какой-нибудь другой, непохожей, жизни.

Дионисио Гарсиа Сапико



Испанец в России

Жизнь и приключения Дионисио Гарсиа, политэмигранта поневоле

Главы из книги

Литературная редакция Натальи Малиновской

О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?
Ответ: о себе. Ну, так и я буду говорить о себе.

Ф. М. Достоевский
Записки из подполья

© Дионисио Гарсиа Сапико, 2011
© Наталья Малиновская. Литературная редакция, 2011

Часть первая
Почему я взялся за перо

Предварительные замечания

НАКОНЕЦ я сажусь писать автобиографическую повесть. Почему? По настоянию друзей. Зачем? "В назидание потомству". Когда я отказывался, мне напоминали: "Ты же сам любишь такого рода повествования, и дневники, и письма. Это многие любят. Доставь людям удовольствие, ведь жизнь у тебя получилась интересная, содержательная, колоритная". А один из друзей сразил меня таким соображением: "Представь себе, что тебе попало в руки жизнеописание твоего деда или прадеда, написанное им самим, во всех подробностях жизни в те далекие годы, с иным укладом... Каково будет твоим внукам и правнукам держать в руках книгу твоей жизни!" И я сдался. Но когда начал обдумывать, что и как писать, пожалел, что не вел дневника, хотя бы отрывочно. Многие имена, события, замечательные слова, разговоры затуманились или вовсе стерлись из памяти. В подробностях помню лишь то, что не раз повторял в рассказах. (Я по природе рассказчик; с детства и потом в детдоме, уже в России, я любил рассказывать ребятам о многом интересном или смешном, что со мной случалось.)

И все-таки можно усомниться: как я могу подробно описывать события пятидесятилетней, семидесятилетней давности?

Во-первых, есть люди с очень цепкой памятью. Л. Толстой, например, уверял, что помнит, как его пеленали (может быть, полугодовалого!) и как это неприятно. Память у меня всегда была хорошая, что помогало учиться в школе почти без труда. Кроме того, в 1970 году я увиделся в Испании с матерью и старшим братом, жил с ними целый месяц, и разговоры о прошлой нашей жизни помогли мне многое вспомнить, что-то уточнить. Так я сказал матери, что помню, как упал с балкона (деревенского, невысокого) и плакал у нее на руках. Она подтвердила: "Да... Тебе шел третий год". Что же касается детдомовских событий, то мы, детдомовцы, часто вспоминали о них в зрелые годы. Дополняли рассказы друг друга и вместе уточняли подробности. Это случается и теперь (правда, все реже), когда встречаемся в московском Испанском центре. Конечно, что-то я домысливаю сейчас "согласно логике вещей" и на основе жизненного опыта.

Моя астрология. – Моя малая родина. – Мои родители. – Как образуются испанские фамилии. – Об отце. – Как устроена волынка. – Деревенский праздник. – Снова об отце. – Школа и учительница. – Нечто важное о себе. – Еще об отце. – Игра на дудке. – Ловля рыбы руками. – Обед у нас дома. – Сбор орехов. – Как смастерить свистульку. – Воскресный день с отцом. – Его отношение к детям. – Игра a la rebatina. – Отец плачет. – Имена моих братьев и сестер.

Родился я 19 ноября 1928 года и, выходит, я *Скорпион* по западному гороскопу и *Дракон* по восточному. Угораздило. Я имею в виду жутковатые названия. Однако, оказывается, Скорпион и Дракон (как знаки) — вполне симпатичные существа. Многие астрологические характеристики похожи на правду и очень для меня лестны, однако местами чрезмерны: не такой уж я замечательный, как там сказано. Мы-то себя знаем лучше, чем астрологи.

Как бы то ни было, удивительное дело эти гороскопы. Я отношусь к ним с подозрением: как это — расположение планет в звездном небе при моем рождении определяет мой характер и судьбу хотя бы в общих чертах? Совершенно непонятно. А полностью презирать эти "науки" — невозможно: слишком многое удивляет точностью попадания. Кроме того, этой вере (относительной, конечно) помогает и то, что, исходя из моего общего мировоззрения, окружающая нас ТАЙНА — величественна и умонепостигаема, а мы во многом просто слепые котята или, как я люблю выражаться, высокоразвитые тараканы.

Место моего рождения Серра́пио (с ударением на "а"), провинция Астурия, на северо-западе Испании. Эта провинция самая маленькая по площади, но очень значительная, если судить по ее роли в испанской истории. Об этом я еще скажу. Как родился, в тот же день и окрестили. Так принято в сельской местности, видимо, для простоты. Родное Серрапио я совершенно не помню, поскольку еще в раннем моем младенчестве семья переселилась в деревню Орильес, повыше в горы, 2,5 км по извилистой дороге от Серрапио. Орильес, место моего детства, я хорошо помню и опишу во всех подробностях.

Кто мои родители? Мать, А́нхелес Сапико Ферна́ндес, — из семьи обедневших землевладельцев; отец, Эрминио Гарсиа-и-Гарсиа, — потомственный шахтер. Надо бы объяснить, как получается повторяющаяся фамилия. Дело в том, что в Испании новорожденного записывают так: имя, данное по выбору; первая фамилия — по первой фамилии отца; вторая фамилия — по первой фамилии матери. Если у обоих родителей одинаковые

первые фамилии, например, оба Мартинес, то их дитя будет называться Альфредо Мартинес-и-Мартинес. Союз "и" добавляют, чтобы никто не подумал, что фамилию повторили ошибочно. Впрочем, я заметил, что в обыденной жизни этого правила редко придерживаются. Возможно, ему следуют при составлении особо важных нотариальных документов о собственности, наследстве и прочем. При желании или при особой нужде (например, когда хочется показать свою родословную) можно "пристегивать" и дальше фамилии дедов и прадедов, так что я могу называться Дионисио Гарсиа Сапико Гарсиа Фернандес Фаэс Гутьеррес... ("Эк его!" – скажет русский человек.)

Эрминио и Анхелес родили пятерых детей: трех мальчиков подряд – Вириато, Марселино и Дионисио (это я), а затем двух девочек – Леонису и Марию.

Отец значил для меня много больше, чем мать, поэтому скажу сначала о нем.

Он был маленького роста, но крепкого телосложения (наверное, как все шахтеры, иначе не потянуть). Носил небольшие усы. Когда я, побывав на родине, спросил у матери какого он роста (отца уже не было в живых), она примерилась ко мне взглядом и сказала: "Как ты" (т. е. 161 см). Отец мой был один из тех "людей из народа", которые, вследствие своего характера и определенных способностей, становятся естественным центром группы рабочих или селян. Работал он на угольной шахте забойщиком. Любил читать, играл на дудке (иначе – блок-флейте) и на волынке – по виду это более сложный инструмент, но, по существу, по пальцовке, такой же простой. Волынка достойна описания.

Представьте себе кожаный мешок размером с маленькую подушечку для сидения. В мешок вставлено несколько трубок. В верхнюю вдувают воздух; другая трубка с пищиком для извлечения звука и отверстиями для игры (как у обыкновенной свирели) торчит вниз, несколько сбоку; третья трубка большая, тоже с пищиком, но без других отверстий и, значит, издает всегда один и тот же звук.

Теперь о том, как играют на волынке. Кожаный мешочек устраивают под мышкой, в верхнюю трубку вдувают воздух. Под давлением в мешке он попадает в нижнюю трубочку с пищиком и отверстиями, на которой играют двумя руками; третью большую трубку с раструбом, торчащую вверх, кладут на плечо. Смысл этого сложного устройства заключается в следующем: поскольку играющий вдувает в мех больше воздуха, чем требуется для звучания инструмента, то на время вдоха можно перестать дуть, а флейта продолжит играть воздухом, накопившемся в мехе и нагнетаемым нажатием на мешок локтем (ведь мешок расположен под мышкой). Таким образом,

волынка звучит непрерывным высоким воем, без пауз (они просто невозможны). Кроме того (еще одно характерное отличие волынки от свирели, от флейты), большая труба, лежащая на плече и направленная вверх, непрерывно издает один и тот же звук в очень красивом соотношении к мелодии. Кажется, играют двое: один выводит непрерывно льющуюся мелодию в одно, два или три "колена", а другой сопровождает ее непрерывным низким звуком. Наконец, еще одна характерная черта: волынка всегда богато украшена цветной бахромой, свисающей дугой от раструба большой трубы до мешка, а также и от самого мешка в нижней его части. Звуки волынки и вид волынщика всегда говорят о празднике, о веселье, о какой-то неисчерпаемой силе народной жизни.

Во время праздников — всяких, церковных и не церковных, — селяне собирались неподалеку от винного погребка на маленькой деревенской площади. Там пели, танцевали, звучала волынка и гомонил народ. На волынке, чередуясь, играли двое или трое — те, кто умел. Когда инструмент брал отец, я преисполнялся гордостью и думал, что он играет лучше других. Там же, разумеется, пили сидр, вино, закусывали окороком, маслинами и сыром, рассказывали что-то интересное, шутили. Кругом — толпа взрослых; не смешиваясь с ними, детвора глядит на жизнь взрослых, как на театральное представление, бессознательно готовя себя к такой же жизни.

Я никогда не видел, чтоб отец танцевал. Сейчас понимаю, что танцы казались ему занятием, неподобающим серьезному человеку. С детьми он был строг и наказывал за проделки своим воспитательным ремнем молча, бесстрастно и деловито — так, как колют дрова или подметают пол. Но мы его уважали и любили, безоговорочно признавая его главенство, силу натуры и справедливость. По вечерам, после ужина, отец довольно часто читал нам. Помню название только одной книги — "Рука человека". На обложке нарисована рука, на ней большой красивый дом (или дворец), паровоз, автомобиль, плодовый сад, еще что-то, а над всем этим в синем небе летит самолет. Уже одна эта картинка завораживала. В книге говорилось о разных изобретениях и знаменитых изобретателях, о том, как устроены часы и другие механизмы (с пояснительными рисунками), как смастерить воздушного змея, как делают керамическую посуду, ткани, оливковое масло и т. д. Конечно, отец читал нам и сказки, и басни, и разные интересные истории. Мы слушали не шевелясь. Когда он закрывал книгу и говорил: "Все, дальше — в другой раз. А теперь погуляйте — и спать", — для меня это значило: "Представление окончено!" Чудесный мир исчезал.

Отец, до школы, на всякий случай, научил нас читать, писать и считать до ста (а дальше, мол, уже будет легче). И еще:

прикрепив к стене листы бумаги с написанными четким почерком баснями, велел нам их выучить. Помню, как я, читая по складам, вникал в суть дела и, строчку за строчкой, запоминал. Позже, уже в России, в детдоме, на уроках испанского языка и литературы, нам, среди прочих басен, задали выучить одну из тех, отцовских, — она запомнилась на всю жизнь. Вот эта басня в прозаическом (как говорят в издательствах, "подстрочном переводе"):

Среди кустов, преследуемый псами,
Не скакал — летел заяц.
Вылез из своей норы другой заяц
И спрашивает: "Ты чего, братец, бежишь со всех ног?"
— А как тут не бежать?
Не видишь — гончие за мной гонятся!
— Да какие же это гончие?
— А то кто же? — Спаниели.
— Что? Спаниели, говоришь? Да они такие же спаниели,
как мой дедушка!
Гончие это — я сам видел!
— А я тебе говорю — спаниели!
Тем временем примчались собаки
И схватили обоих зайцев.
Пусть тот, кто, споря о пустяках, забывает о главном,
Помнит о глупых зайцах.

Когда я вслед за старшими братьями пошел в школу, учительница посадила меня вместе с другими дошкольниками на длинную скамью перед такой же длинной наклонной доской (т. е. за очень длинную парту), дала в руки грифельную доску (из аспидного сланца) в деревянной рамочке и грифельный стержень-карандаш. На дощечке еле видно проведены горизонтальные и косые линии. Следуя им, мы должны были чертить "palotes" — наклонные "палочки". Я взял и вместо палочек что-то написал крупными буквами. Проверяя работы, учительница удивилась:

— Ты умеешь писать? А кто научил?

— Папа!

— И читать умеешь?

— Да!

Дала что-то прочесть. Я справился и с этим. Тогда она велела мне сесть за парту для учащихся первого класса. Так я стал *действительным учеником* четырехклассной сельской школы, где проучился только год (зиму 1935—1936-го) — в июне 1936-го в Испании началась гражданская война.

Расскажу о нашей сельской школе, а затем продолжу про отца.

Школа состояла из одного большого помещения для учащихся и небольшой комнаты, куда иногда уходила и откуда появлялась учительница. Как во всяком учебном классе, на стене висела большая доска, перед ней несколько рядов парт. Сбоку же, почти от самой двери и до противоположной стены, длинный ряд для дошкольников. (Похожие парты я видел на картинках, изображающих средневековые семинарии.) Все четыре класса занимались в одном помещении *одновременно* (уму непостижимо!), и учительница учила всех по очереди в одни и те же часы. Только дошкольников отпускали раньше. Старшие ученики занимали передние парты, а остальные — задние, в соответствующем порядке. Из класса в класс каждый переходил по мере успеваемости — постепенно передвигаясь из ряда в ряд, все ближе к доске. Кто-то мог просидеть во втором классе, скажем, учебный год и еще три месяца, а в третьем классе, проявив рвение, догнать остальных. Наиболее способные ухитрялись окончить курс за три года.

Писали мы, как я уже сказал, на грифельных досках грифельными карандашами. Это круглые каменные стерженьки сантиметров десять в длину (когда новые) и миллиметров 5–6 в толщину, заточенные с одного конца. Когда коснешься карандашом доски, слышится тихий стук, так что, когда пишет весь класс, кругом раздается мягкое шуршание и постукивание.

Уму непостижимо, как ухитрялась наша учительница задавать всем разные задания, проверять их и рассказывать разным классам разное! И как ученики могли к этому приспособиться. Правда, отвлекаться на чужое накладно: нужно успеть выполнить свой урок, да побыстрее. Однако если я (или кто другой) быстро справлялся с заданием, то мог послушать, что учительница рассказывает старшим. Я хорошо помню, как она, стуча и шурша грифелем, быстро выводила на наших дощечках числа для сложения, вычитания, умножения; отдавала одну дощечку, брала другую, а мы должны были тут же схватить каждый свою доску — и хватали ее так, как голодный — кусок хлеба. Не потому, что жаждали знаний: попробуй, замешкайся или урони доску — получишь, по меньшей мере, подзатыльник. Учительница давала задание и спустя какое-то время, подходя к каждому, проверяла. Давая письменное задание (по языку или арифметике), могла вдруг спросить: "Семью восемь?" "Трижды девять?" Думаю, спрашивала она тех, кто плохо знал таблицу умножения. И вот еще необычная деталь: по окончании уроков мы выстраивались в ряд и, выходя из класса, повторяли нараспев таблицу умножения — кому что достанется, по очереди, начиная с того места, которое указывала учительница. Один говорит, например:

"шестью шесть тридцать шесть", следующий: "шестью семь сорок два" и т. д., а она стоит у выхода с поднятой линейкой и тому, кто ошибется или задумается — линейкой по башке.

Я никогда не видел улыбки на лице учительницы. Что ж, на фронте, во время боя, тоже, наверно, не улыбаются. Сама она была молодая, опрятно одетая, с красивой прической. Голос звонкий, движения быстрые — в два взмаха стирала с доски очередные объяснения. Закончив урок, велит кому-нибудь из первых рядов стереть с доски и быстро переходит к младшим. И так, я полагаю, часа четыре или пять подряд.

Подвижница. Интересно было бы узнать, как протекала ее личная жизнь.

Между уроками бывали перерывы, без всяких звонков. Как скажет учительница: "Перерыв!" — мы вскакиваем с мест и бросаемся вон из помещения — бежим, как на пожар. На улице баловались, смеялись и вопили вволю, и учительница никогда не вмешивалась. Такой мне и запомнилась школа: во время урока — строгость, напряжение, внимание, полная власть учительницы; а в перерыв, на улице, — свобода, сумасшедшее веселье.

Я учился легко, но без всякого рвения и удовольствия: "Так надо, раз так положено. Значит, надо сделать — и покончить с этим".

Помню интересное (для последующего анализа) мое внутреннее состояние: я считал, что учительница обязательно должна меня отличить как особо способного, вообще *не такого, как все.* И все время ждал этого. Но нет, она оставалась совершенно равнодушной, а я — в некотором недоумении. В дальнейшем станет ясно, что это осознание своей особости — моя коренная черта: с раннего детства и до сих пор я чувствую, что я не такой, как все. Разумеется, каждый человек особенный, но важно, чувствует ли он это или нет. Я всю жизнь четко отделял себя от остальных людей и даже от всего мира: "Я — и все остальное". И поэтому любил полное одиночество, а не только игры с другими детьми; нередко в одиночку бродил по своим заветным местам, разглядывал разные вещи, следил за ящерицами, рогатыми жуками, муравьями... Иногда, в самый солнцепек, я (скорей всего, четырех- или пятилетний) ползком забирался под заросли ежевики, где, выкопав себе ямки, сидели куры, тоже спасаясь от жары. Встревоженные, они слегка приподнимались и "говорили": "Ко-о-о-ко-ко?" Но, видя мою совершенную безвредность, снова усаживались и, вертя головами, поглядывали на меня, а я на них. Лежу на прохладной земле, улыбаюсь и думаю: "И у меня есть свой домик, рядом с курами... никому его не покажу".

Теперь снова об отце.

Отец научил меня играть на дудке (у братьев почему-то не получалось, а может, они просто не полюбили это занятие). Мы с отцом иногда вместе играли народные мелодии, я их до сих пор помню. Могу сыграть. От этих песен веет глубокой стариной. Говорят, что астурийцы — потомки древних кельтов. Это группа древних племен (общность наподобие славян или тюрков), обитавших в самой западной части Европы, за Рейном, включая Северную Италию и Северную Испанию. Возможно, что эти мелодии — от них. Дудки же мастерил из бамбука сам отец — одну большую для себя и две поменьше для нас. Он и меня научил делать дудки; этим умением я потом, будучи уже взрослым, не раз удивлял окружающих.

Бывало, отец брал нас на речку, в низину, рыбу ловить — руками! Есть такой способ ловли. В горных речках всегда много валунов, величиной с большой сундук и более. Под некоторыми вода вымывает песок, образуя подводные пещерки. Так вот, оказывается, что в самое жаркое время форель любит забираться под такие камни и отдыхать там в полумраке и безопасности. Искусство ловли заключается в следующем. Нужно тихонько подойти к камню, обследовать, имеется ли под ним пещерка (а вода в горных речках чиста и прозрачна) и сколько из нее выходов; обычно два или три. Затем нужно найти подходящие камни, чтобы заткнуть ими все выходы, кроме одного — самого удобного для просовывания руки внутрь. По знаку отца, братья затыкают камнями лишние выходы, а отец сует руку под камень и шарит там. Как попадется форель, он торжествующе восклицает: "А-га-а!" — и после короткой борьбы с ошалелой рыбой (наверное, она могла укусить) вытаскивает ее, засунув пальцы под жабры (иначе выскользнет), и, подняв повыше, показывает нам. Отец доволен — улыбается, а уж наша радость неописуема.

Такой вид ловли не часто приносит удачу: если попадется одна или две рыбины за час или полтора — уже хорошо. Но само это событие восхитительно: немолчный дурманящий шум бурливой воды под нависающими деревьями; запах ивы и нагретых камней; по береговым склонам кустики ежевики, которую мы мимоходом едим, если поспела; неспешная ходьба по колено или по щиколотку в воде; на быстрине босые ноги ступают по разноцветной гальке, изредка тихий разговор — и отец за этим занятием с нами на равных! На рыбалке он никогда не повышает голоса, не грозит. Потом, блаженные и усталые, возвращаемся домой, а дома — вкусный обед!

Обеды моего детства помнятся своей необычностью. Сидело за столом девять человек: дед с бабушкой, мать с отцом и мы пятеро. Ели все молча (исключая, конечно, односложные просьбы). Где такое видано? За столом обычно и начинается болтовня о разном, обсуждение накопившихся вопросов. Ка-

ждый садился всегда на свое место. Мать ставила на средину стола большую фарфоровую супницу с крышкой и двумя ручками, расписанную цветочками. Это, кстати сказать, еще один след *не*крестьянского происхождения матери. Как радовала меня эта супница! Во-первых, красивая, а во-вторых, внутри — вкуснятина! Все по очереди протягивали свои тарелки матери, а она накладывала кому сколько нужно. Мы, дети, сидели наготове, держа тарелку двумя руками; на кого мать взглянет, тот и протягивает ей тарелку. Отец поглядывал на нас — хочется сказать, как пастух на свое стадо: всё ли в порядке? На столе стояла большая бутылка с вином; взрослые наливали себе по своему усмотрению, наверное, соблюдая норму. Дед, например, мог выпить один всю бутылку, но не при отце. Нам же мама наливала ко второму блюду вино, разбавленное водой и подслащенное.

Запомнилась такая картинка: мы кончаем есть, но мать велит остаться за столом. Это значит — будет особое угощение! Она приносит большую тарелку садовой ежевики (крупнее и слаще дикой), совсем черной, сверкающей от родниковой воды и слегка посыпанной сахаром. Ставит тарелку перед нами: "Ну, ешьте!" Мы дружно набрасывается на ежевику, хватая ягоды горстями и запихивая в рот. Отец беззвучно смеется: "Вот саранча!" И мать улыбается.

Ходили мы с отцом в лес, собирать орехи. Заодно он учил нас то одному делу, то другому: как достать высоко висящие орешки, как спуститься с кручи, находя опору для ноги, цепляясь за корни и прочные ветки (мы ведь ходили в горный лес); как залезать на деревья, иногда по совершенно гладкому стволу; и многим прочим нужным уменьям. Забраться на дерево как можно выше и сидеть там, обозревая округу, стало потом одним из моих любимых занятий. Я и сейчас люблю залезать на березу, растущую около моего деревенского дома в Песках.

Отец научил нас делать свистульку из нетолстой (10—12 мм) ветки орешника. Я опишу весь процесс изготовления на случай, если кто-нибудь захочет сам смастерить. Нужно отрезать кусок ветки, сантиметров пятнадцать-двадцать, совершенно гладкий, без отростков или царапин. Отступя примерно 3 см от того конца, который потолще, ровненько надрезать кору по диаметру так, чтобы начало и конец надреза сошлись. Взяв палочку за короткий участок, положить ее себе на бедро повыше колена и аккуратно простучать рукояткой ножа всю кору длинного участка, сохраняя ее целостность. Кора в конце концов отойдет от древесины — возьмите ее в кулак, осторожно покрутите и убедитесь, что она отходит. Отступя от тонкого конца на 2,5 см, нужно сделать достаточно глубокий поперечный надрез коры и древесины на глубину 5—7 мм, затем, на расстоянии

примерно 1 см от этого надреза, сделать еще один косо вниз и навстречу первому — так, чтобы вынуть клинышек. Кора с отверстием от клинышка легко снимется трубочкой. Следует полностью отделить ее от палочки по вертикальному надрезу. Далее от тонкого конца палочки отрезать (и выбросить) кусок в 1 или 1,5 см. Затем вдоль отрезанного цилиндрика длиной 2,5 см снять слой древесины толщиной в 2—3 мм (смотря по толщине самой палочки, причем особой точности не требуется). На цилиндрике получится продольная плоскость. Затем вставляют цилиндрик в трубку коры — на то место, которое он занимал. В образовавшуюся щель вдувают воздух. Осталось только вставить в трубку с другого конца длинный конец палочки — и свистулька готова. Если дуть, двигая нижний конец, как поршень в цилиндре, то выйдет изменчивый по тону свист: и-и-у-у, -и-и-у-у... — (как у полицейских машин). Чем глубже вдвигаешь, тем выше звук, а если почти совсем вынуть — самый низкий. Так как и сама палочка, и нутро коры еще влажные от сока, палочка легко ходит туда-сюда. Если приноровиться, можно, как на тромбоне, сыграть простую мелодию.

Иногда по воскресеньям отец брал кого-нибудь из нас в ближайший городок (не знаю какой); он располагался в долине — дорога, извиваясь, шла вниз. Чаще всего отец брал меня. И можно понять: я — младший (надо побаловать), а кроме того, я играл на флейте и рисовал, а братья — нет. Едва ли отцу это было безразлично. Он заходил со мной в бар, где народ пил сидр (слабоалкогольный напиток из яблочного сока) или вино, играл в бильярд, в карты. Для детей там были особые столики в стороне от взрослых, у самой стены. Мы, детишки, знакомые и незнакомые, садились за эти столики и смаковали угощенье (разные сладости и печенья) и пили через соломинку (настоящую соломинку!) какие-то вкусные напитки. Разговаривали, шутили, словом, вели себя, как взрослые.

Почему-то врезалась в память такая картина: отец за столом играет в карты. Один из игроков, молодой парень, показывает на дымящуюся, почти полностью выгоревшую сигарету, что лежит на краю пепельницы: "У, проклятая, — сама выкурилась!" Все смеются.

Отец не курил, и я никогда не видел его пьяным. А что такое пьяный, я хорошо знал по деду Педро, отцу матери. Он частенько бывал навеселе, нетвердо держался на ногах и скандалил.

О характере отца и наших с ним отношениях говорит такой случай.

Как-то в жаркий летний день я бродил около нашего огорода вблизи ручья и увидал там отца. Он лежал на траве в одних трусах, прикрыв лицо от палящего солнца газетой. Было,

наверно, воскресенье, и он, как говорится, *принимал солнечные ванны*. Шахтерам это необходимо, поскольку они проводят в шахте почти весь световой день, а в те годы в Испании шахтеры работали, кажется, по десять часов в сутки. Мне лет пять-шесть. Бесшумно ступая босыми ногами по короткой траве, я подошел к отцу не ближе трех метров — и смотрю. Почувствовав взгляд, он снял газету с лица, внимательно поглядел на меня, потом снова накрыл лицо газетой. Такие у нас были отношения: никакой сентиментальности, ничего напоказ — отец занят своим делом, и я тут ни при чем. А что сам я не подойду и не потревожу — в этом отец был совершенно уверен.

Вообще, в отношении отца к нам всегда чувствовалась молчаливая и спокойная уверенность. По-видимому, он смотрел на нас так же, как на другие свои вещи, примерно так: "Вот мои ботинки... стоят себе и пускай стоят. Вот мои дети — играют, бегают, растут... Пускай растут". Для примера расскажу такой случай: сидит он на сундуке справа от кухонной плиты и что-то читает, а я в сторонке занят своим делом. Больше никого нет. Оторвавшись от книжки, отец нагибается, берет с пола небольшую кочергу, сует ее себе сзади за воротник и скоблит спину — видно, зачесалась. Покончив с этим, вынимает кочергу, смотрит на меня без всякого выражения, как на неодушевленный предмет, бросает кочергу на пол (она загремела) и продолжает читать. То есть никакой связи между мной и своими действиями он не усматривает. А ведь связь есть: я, его родной сын, стал свидетелем этого не совсем обычного действия. Другой бы улыбнулся — мол, спина зачесалась — или что-нибудь такое сказал.

Бывало, зимними вечерами, отец, сидя на том же сундуке и созвав нас, сыновей, устраивал игру, которая называлась a la rebatina (что-то вроде "на шарап"). Он доставал из мешочка горсть орехов (грецких или лесных, которые мы с ним собирали осенью) и бросал на пол со словами: "¡A la rebatina!", а мы кидались за добычей, расталкивая друг друга. Не затем, чтоб побольше съесть, а ради победы. Глядя на эту свалку, отец тихо посмеивался. Поначалу мне, как более слабому, ничего не доставалось. Я знал, что братья потом обязательно со мной поделятся, но все равно плакал с досады, а отец сердился: "Нечего реветь, ловчей надо быть!" И я наловчился — кидался, как звереныш, волчком вертелся, хватал орешки, подходил к отцу и показывал добычу. Он одобрительно улыбался.

Однажды (и только однажды) я видел отца плачущим. Он сидел на скамейке у входа в дом и вытирал слезы рукой. Это меня потрясло. Оказывается (это я потом узнал), у матери то ли родился мертвым, то ли умер вскоре после родов шестой ребенок. Этого младенца, не записанного законно и не крещеного, похоронили (то есть просто зарыли) у нас на огороде, и

сделал это — отец. Помню, как я сидел на корточках, роясь в земле (наверно, строил домик); отец прошел мимо с маленьким ящиком под мышкой и с лопатой в руке, скрылся за рядами кукурузы и вскоре вернулся, уже без ящика, только с лопатой. Я догадался, что он там делал.

О характере отца говорят также имена, которые он давал детям.

Вириато — это имя талантливого военачальника, предводителя древних лузитан (жителей юго-западной части Испании), восставших во II веке до н. э. против владычества римлян; этот бывший пастух, не раз побеждавший римские легионы, был заколот во сне подкупленными предателями. Отец наверняка где-то прочитал об этом и решил почтить героя, назвав первенца его именем. Других людей с таким именем я никогда не встречал, и даже в книгах такое имя мне не попадалось.

Марселино — древнеримское имя, происходит, вероятно, от имени Марсий. Это мелкое божество древнегреческой мифологии, один из сатиров или силенов, демонов плодородия в окружении Диониса.

Дионисио (Дионис) — древнегреческий бог плодоносящих сил земли, виноградарства, виноделия, а заодно и всякого буйства и веселья.

Леониса — редчайшее в Испании имя. Leon — значит лев; leona — львица. Имя Leonisa, если перевести на русский, могло бы звучать как Львицина.

Только самая младшая дочь получила, наконец, обычное христианское имя — Мария, может, по требованию матери или священника. Сказанного достаточно, чтобы понять: отец выбирал имена не такие, как у всех, показывая заодно свои знания. И мне это симпатично: ведь он был простым шахтером.

Глава вторая

О матери. – Материнский род. – Наш дом. – Характер нашей матери. – Их отношения с отцом. – В церкви. – Скандал между матерью и дедом. – Ловушка для воробьев. – Лекарство для тети. – Как в шахте спускают с горы вагонетки. – Катанье на рельсах. – Ацетиленовая горелка. – Наш огород. – Снег в Орильесе. – Как собирают каштаны. – Что готовят из кукурузы. – Как делают колбасу. – Сказки. – Кое-что об истории Астурии. – Арест отца.

Теперь о матери.

Я уже говорил, что отец значил для меня больше, чем мать, но хочу, чтобы меня правильно поняли.

Я имел в виду значимость отца для моего детского ума и моей души. А в бытовом смысле все обстояло как раз наоборот: мать кормила, одевала, мыла нас и управляла нашей жизнью. Она была вездесуща. Тело и голос матери были с нами с утра, как просыпались, и до ночи. Отец же пропадал на работе весь день, и виделись мы с ним только поздно вечером и по воскресеньям. Как же мать могла значить меньше отца? Но на мать я (может, и братья) не обращал душевного внимания, принимал все ее заботы как должное, естественное, привычное и не питал к ней никаких *лирических* чувств. Надо полагать, что это в известной мере зависело и от нее: не помню с ее стороны проявления к нам особой нежности, внимания к нашим душам. Не помню, чтобы она хоть когда-нибудь играла с нами. Правда, надо сказать, что она обихаживала пятерых детей, мужа и старых родителей и ей было не до лирики. Хотя (это я сейчас ясно вижу) ей нравилось хозяйствовать, она все делала легко, ловко, всегда была в хорошем настроении и никогда не выглядела замученной, раздраженной или *недовольной жизнью*.

Как я уже сказал, она происходила из рода обедневших землевладельцев, ее предки владели полями, лесами, стадами коров. Что-то еще оставалось у ее деда. Я забыл спросить у матери, что же случилось, почему семья разорилась. Но откуда-то знаю (может, брат рассказал в письме), что наследство материного прадеда разделили между братьями, и один из них (дед моей матери и наш прадед) прокутил свою часть. Но большой дом остался — двухэтажный, с красноватыми полами каштанового дерева, длинным балконом и лестницей с балясинами и поручнем. Наверху помещались четыре небольшие спальни, разделенные коридором, а внизу прихожая, большая кухня-столовая с буфетом, украшенным резьбой, и еще комната, не помню какого назначения (там я никогда не был, возможно, ее запирали от детей). Кухонную плиту топили углем, а по бокам от топки были вмурованы котел для горячей воды и духовой шкаф. Спереди и по бокам печь была выложена белым кафелем. В общем, явно не крестьянский дом.

Мать моя такого же роста, как отец (может, чуть выше), худощавая и некрасивая, с каким-то недостатком в нижней части лица, из-за чего она и разговаривала, и улыбалась несколько кривя губы. Было ли это следствием перенесенной болезни или травмы? Не знаю. Почему отец взял ее в жены? Может, по расчету? Все-таки хороший дом и братья ее (мои дядья) люди самостоятельные, крепкие... Думаю, это могло сыграть свою роль, но едва ли главную. С уверенностью скажу, что мать была от природы женщиной умной, работящей и очень неслабого характера. В отличие от отца, она много говорила, рассуждала и улыбалась своей слегка кривой улыбкой.

В письма ко мне в Россию она иногда вкладывала свои стихи, не совсем ладные, наивные, но, как всегда в простом народе, очень трогательные — о жизни нашей, о Богородице. Как сейчас понимаю, она вела хозяйство и растила нас, пятерых, аккуратно и уверенно. Сказанное означает: среди простого народа в те времена женитьба только по любви, по страсти, наверное, была редким явлением, а может, даже считалась глупостью.

Наша мама мыла маленьких в большом эмалированном тазу и делала это с видимым удовольствием, с улыбкой. Я вертелся в ее руках, как кукла. Зимой, когда в нашей Астурии холодно и сыро (мы ведь значительно ближе к облакам, чем горожане), она, укладывая нас спать, откидывала одеяла и старинным утюгом на древесных углях, подсушивала и грела нам простыни. Мы ждали рядом, чтоб сразу прыгнуть в теплую постель. А мать улыбалась. Так мы и засыпали в легком запахе древесных углей.

Но и мама, когда нужно, умела быть строгой. Однажды она позвала среднего брата Марселино, протянула ему ведерко и железный совок и велела принести угля. Уголь хранился во дворе в большом деревянном ящике с наклонной крышкой. Марселино, самый проказливый из нас (и самый веселый!), стал пританцовывать перед ней и гримасничать, что означало: "Не принесу!" Мать замахнулась было, но брат убежал. Мать оглянулась, увидела меня, протянула мне ведерко с совком и строго говорит: "Принеси угля!" А я, подражая брату, тоже стал прыгать и кривляться, пятясь задом. Мать быстро подошла и ударила меня совком по голове. Я уже повернулся, чтобы бежать, и поэтому удар пришелся сзади, повыше затылка. Я закричал, схватился за голову, а из-под пальцев — кровь. Мать, как увидела, сама громко заплакала, схватила меня, кинулась к буфету, помазала чем-то рану и забинтовала. Потом села на стул, прижала меня к себе и долго не отпускала, утешая меня и словно извиняясь. Надо думать, она вгорячах забыла, что совок железный, и хотела только слегка шлепнуть, а я дернулся и наткнулся на острый угол совка... После, уже в России, в детском доме, повествуя про этот случай, я показывал ребятам белую отметину на голове — плешинку, которую сам разглядел с помощью двух зеркал.

По-видимому, мать с отцом жили в ладу. И здесь надо отметить очень существенную вещь: отец был членом Испанской коммунистической партии и атеистом, а мать — верующей католичкой. Как они налаживали взаимоотношения при таких расхождениях, не могу сказать. Помню только, что один раз, когда отец громко ругал ее, мать не возмущалась, не оправдывалась, а только тихо говорила — как говорят близкому, люби-

мому человеку, когда он сердится и несправедлив: “Не надо, Эрминио...”

Была в нашем селе и своя церквушка, небольшая, однако со звонницей, и я, не часто, может, только по праздникам, ходил туда с матерью. Мне нравилось получать облатку (католическую просфорку) из рук священника. Надо было встать на колени, сложить ладони у груди и открыть рот, и священник клал туда маленькую круглую и плоскую облатку. (А про вино — что-то не помню.) Не сказать, что это было вкусно, но интересно. Скорей всего, я понимал, что участвую наравне со взрослыми в какой-то очень серьезной игре. Что касается самой службы, то я ее почему-то не помню. Я сидел рядом с матерью и, наверное, думал о своем, воображал что-нибудь — я уже упоминал о своей врожденной самостоятельности.

Из домашних событий особенно запомнились мне некоторые, очень меня, маленького, удивившие.

Однажды я присутствовал при скандале матери с ее отцом, моим дедом. Они кричали друг на друга, размахивали руками, а я смотрел, ничего не понимая. Надо сказать, что в нашем селе (наверное, и в других селах в то, уже далекое теперь, время тридцатых годов XX века) на маленьких детей без особой нужды не обращали внимания: стоят? — ну и пусть стоят; играют? — пускай играют. Отношение, примерно такое же, как к курам, кошкам. Вследствие этого мы росли неразболтанными, знали свое место и к взрослым не приставали. Во время описываемого скандала меня, наверно, просто не замечали. И вот дед грубо отталкивает мать от буфета, открывает дверцу, хватает бутылку с вином и кольцо колбасы, откусывает и, вытаращив глаза, начинает яростно жевать. Мать, вскрикнув, бросается на улицу. Дед вытаскивает пробку и жадно пьет прямо из горлышка. Вскоре является мать вместе с братом (моим дядей; он жил по соседству). Дед как его увидел, так быстренько поставил бутылку и колбасу на буфет и бросился наверх по лестнице в свою комнату, наверно, хотел запереться. Но дядя на лестнице догнал его, схватил сзади за ворот, дернул книзу и ударил падающего деда кулаком по лицу. Не сказав ни слова, дядя быстро ушел. Я в испуге и недоумении смотрел, как дед медленно пытается встать. И решил, что мне тоже лучше уйти. Дед, скорей всего, считал, что его морят голодом. У него, наверно, была какая-то пенсия, но вряд ли ее хватало на удовлетворение немалой дедовой потребности в вине. Кормил всех девятерых членов семьи наш отец. Правда, огород, лесные каштаны и орехи были немалым подспорьем.

Еще одна деталь, долгие годы вставшая в моей памяти.

Отец соорудил особую ловушку для воробьев, их в округе водилось великое множество. Едва ли он сам ее придумал, но

точно не знаю. Я наблюдал, как он ее мастерит — не спеша, вдумчиво, аккуратно. В тонкой доске или фанере, размером с сиденье стула (возможно, это и было сиденье от развалившегося стула), он по всей площади проделал шилом отверстия на расстоянии не больше сантиметра одно от другого, просунул в них заранее отрезанные куски конского волоса, снизу крепко заклинил их кусочками тонкой остро заточенной ветки, а верхний конец волоса завязал подвижной петелькой — то есть наделал множество малюсеньких удавок. В итоге получилась, так сказать, курчавая доска. Я подсчитал (не тогда, конечно, а сейчас): там было больше тысячи петель! Понятно, что отец соорудил эту ловушку не за один присест. Так вот, на эту курчавость насыпали какую-нибудь еду для воробьев, ставили ловушку на место, и воробьи кучей слетались клевать. Отец, сидя в стороне, наблюдал. Затем подходил к ловушке — воробьи вспархивали, да не тут-то было: большинство застревало лапками в петельках. Отец хладнокровно по очереди сворачивал им шеи, затем вынимал ножки из петель (хлопотливое занятие!) и уносил добычу домой. Вскоре выходил снова, поправлял петельки на капкане, ставил его в другое место и садился ждать новую партию маленьких пленников. Помню, мне было жаль воробушек.

Вы спросите: "Ну а зачем это, цель-то какая? Спасать посевы от воробьев (как это затеяли в наше время китайцы)?" Может, и так, но главное: мама готовила из воробьев вкуснейший плов! Съедали всё, кроме голов, кишок и лапок. А когда ели, нежные косточки хрустели на зубах. Сейчас, когда я вижу воробьев, что-то клюющих или пьющих из лужи, всегда обхожу их стороной, чтобы не потревожить. О рассказанном я всегда вспоминаю с неприятным чувством и сожалением.

У нас некоторое время жила болящая тетя, не из нашей деревни. Однажды к ней пришел врач и я — мне до всего было дело! — стал участником такого примечательного события.

Подхожу к комнате второго этажа, где лежит тетя, дверь открыта, и вижу, как врач осматривает больную. Рядом мать, врач что-то ей объясняет. Кивнув, мать берет стакан, подходит ко мне и говорит: "Пописай сюда". Я тут же, одним рывком спускаю короткие штанишки на резинке — и налил с полстакана. Мать отдает стакан врачу, тот, подняв его к окну, оценил жидкость на просвет и отдал тете, а та... спокойно выпила содержимое и закусила сахаром. "Ну и ну!" — думаю я и отправляюсь восвояси.

Кстати сказать, в испанских деревнях, во всяком случае астурийских, лечатся по большей части просто и однообразно, четырьмя средствами: голодом, клизмой, аспирином и детской мочой (а также, разумеется, всяческими травами). Гово-

рят, даже головную боль лечат клизмой. Что касается мочи, мы, детишки, хорошо знали, что всякую рану следует немедленно облить этим зельем, и всякий раз с готовностью применяли это средство. Поранит кто-нибудь колено, и мы тут же услужливо поливаем рану, иногда в несколько струй. Ранка, конечно, пощиплет немного, но зато быстро заживет.

Расскажу еще о некоторых событиях.

От угольной шахты, которая находилась несколько выше нашего села, были проложены по склону горы рельсы для спуска вагонеток с углем в долину, к железной дороге. Вагонетки, сцепленные по четыре или пять, спускали с помощью длинных стальных тросов, а так как расстояние большое, то пришлось устроить промежуточные "станции": специальный помост придавал рельсам горизонтальное положение (получалось нечто вроде лыжного трамплина); в конце помоста, на самом высоком месте, особое устройство опрокидывало вагонетку вверх колесами, и уголь ссыпался в большую воронку, а оттуда — вниз, в другую вагонетку. Механизм с большой катушкой и намотанным на нее тросом спускал вагонетки дальше. Пустые вагонетки снова ставили на рельсы, сцепляли в ряд и медленно поднимали наверх, к шахтам. Всё это, разумеется, работало на электрической тяге.

Так вот, в выходные дни, когда на шахте никого не было, мы (пяти-шести лет) любили спускаться по рельсам, подложив под себя подходящий камень — плоский и достаточно большой. И скользили вниз то сидя, то лежа на животе, поддерживая равновесие руками и ногами. Скорость была не очень большой (трение между камнем и рельсом достаточно сильное), и редко когда кто-нибудь сваливался набок и мог поранить ноги или руки, за что получал "добавку" от родителей. Они запрещали нам такое катание, однако чувствовалось, что смотрят они на эту забаву сквозь пальцы. Наверно, думали: "А что? И смелость, и ловкость им в жизни пригодятся, а сильно они тут не покалечатся".

Мы с братом Марселино любили играть на подмостках для рельсов, он убегал — я за ним. Однажды прогнившие доски (положенные сбоку для прохода) проломились, и Марселино полетел вниз; я не успел опомниться, как полетел вслед за ним. Летели мы не меньше пяти метров. Ясно помню, как рубашка брата трепетала на ветру у меня перед глазами. К счастью, мы свалились на плотные упругие кусты ежевики и только сильно поцарапались, пожалуй, уже в кустах. Я плакал, а брат нет — вот он какой у нас был! Не помню, чтоб дома нам всыпали, возможно, жалость взяла верх. Ну что ж, царапины обработали целительной жидкостью собственного организма — и дело с концом.

Еще одно событие.

Однажды я, лет семи, поднялся на второй этаж, скорей всего, поиграть на балконе — там было с чем поиграть. И вдруг, проходя мимо родительской спальни, увидел в приоткрытую дверь отца... с пистолетом в руках! Стою и смотрю, поскольку он взглянул — и не прогнал. Вижу: вынимает из пистолета обойму, выталкивает из нее пули, орудуя большим пальцем той руки, которой держит обойму; пули одна за другой бесшумно падают на застеленную кровать. Уже взрослым, вспоминая эту картину, я думал: какое ребячество, какое легкомыслие проявил отец, а ведь серьезный человек! Я же мог, как всякий мальчишка, тут же похвастаться приятелям: "А у моего отца есть настоящий пистолет, с пульками!" Почему он не сказал мне: "Ты ничего не видел — понятно? Смотри у меня!" Неужели сам он, еще молодой, немногим больше тридцати лет, хотел похвастаться оружием перед сыном?! Невероятно! Ведь хранение оружия каралось тюрьмой. Или был твердо уверен, что я никому ничего не скажу, даже братьям? Совершенно непонятно. Причем я так-таки никому и не сказал — даже братьям. Да, отец внушал нам, кроме уважения и любви, также и страх — странная смесь чувств.

Бывали и особо радостные события.

Праздник Трех Королей (6 января) следовал за Рождеством и особенно нравился нам тем, что в эту ночь к детям обязательно приходят волхвы — Каспар, Мельхиор и Бальтасар — и тихо кладут под подушку подарки. Проснешься утром, еще не вполне соображая, но уже предвкушая радость: "Что?.. Где?.. А!" — и руки под подушку. А там — новенькие туфельки, или книжечка с картинками, или новая замечательная игрушка...

Чистая, ни с чем не сравнимая детская радость!

Дома обязательно справляли и наши дни рождения (а может, именины?). В эти дни наши дедушки, бабушки, дяди и тети (даже жившие не близко) приходили в гости, приносили что-то вкусное и дарили деньги (так было принято — от одной до пяти песет, по мере собственного достатка). То были дорогие серебряные монеты: на пять сентимов (а сентим — одна сотая песеты) можно было купить мороженое, зажатое между двумя круглыми вафлями. Позже, в городе, я видел магазин, который назывался "Всё за 95 сентимов!", и там было множество всяких замечательных мелочей. Разумеется, деньгами нашими распоряжалась мама, однако покупали на них что-нибудь нужное владельцу "капитала": сандалии, штанишки, рубашку... — и объясняли, на что потратили деньги.

Село наше называлось Орильес.

Орильес село горное, и, значит, я — горец (что никогда прежде мне как-то не приходило в голову). Село расположи-

лось под кручей на пологом месте по склону одной из гор средней высоты. Вириато сказал мне, что Орильес находится на высоте 800 м над уровнем моря, однако я посмотрел по подробной туристической карте (там обозначена и наша деревушка) и увидел другую цифру — 600 метров. Около нашего дома гора поднималась гладкой каменной стеной, а выше, почти вертикально, продолжалась уже неровная, скалистая, очень высокая круча с редкими кустарниками. Брат говорит, что высота ее 500 м, но он снова преувеличивает. Может, метров триста в ней будет, — так я прикинул, глядя снизу, когда недавно — все-таки! — посетил Орильес. (Об этом расскажу в свое время.) Внизу голубоватая долина, а за ней синеет большая горбатая гора. Между скалой и домом проходит первая (верхняя) деревенская улица.

К нашему удовольствию из скалы прямо напротив нашего дома бьет мощная струя воды. Под ней устроен каменный бассейн, откуда жители ведрами черпают воду. Оттуда же пьют животные, и никто этим не брезгует: чистейшая вода постоянно переливается через край бассейна в бетонированный желоб, откуда пьют куры и разная мелкая живность. Воды хватало на все селение и еще много оставалось: ручей змейкой спускался вниз, где впадал в другой, более мощный ручей, протекавший под селом. В мягком, немолчном шуме воды мы и просыпались, и жили, и засыпали.

Недалеко от главного источника, но повыше метров на восемь-десять, вытекает тихая струйка целебной *железистой* воды. К источнику ведет узкая тропинка (похоже, местами высеченная в скале). Дома у нас был особый графин с этой водой, и мать иногда давала нам ее пить. За целебной водой к нам в село из города приходили женщины в красивых платьях с разноцветными летними зонтиками и мужчины в шляпах с изящными тросточками в руках. Я смотрел на них с интересом: "Кто такие?" И начинал понимать, что где-то есть иная, неведомая и непонятная жизнь — горожане, богатые...

Около нашего дома стоял настоящий астурийский амбар, называемый *о́ррео* (с ударением в начале). *Оррео* является одним из предметов национального отличия и национальной гордости астурийцев, и так же, как волынка, достоин описания.

Это, можно сказать, "воздушный" амбар: он покоится на четырех или шести мощных деревянных столбах (не менее 50 см у основания) — дубовых или каштановых, самых долговечных. Столбы не круглые, а тесаные, четырехугольные, высотой примерно в два метра, и немного сужаются к верху. Сами столбы не врыты в землю, а стоят на больших плоских камнях, чтобы не гнили. На верхнем конце столбов тоже ус-

тановлены плоские камни, но потоньше (сантиметров 15), однако достаточно большие: сантиметров 70–80 по каждой стороне (я прикинул сейчас по линейке). И вот на этих-то камнях и покоится нижний венец самого амбара. К верхним камням прилажены широкие доски, так что получается *галерея*, и можно поверху обойти амбар со всех сторон. Крыша амбара четырехскатная, крытая черепицей, и сильно выдается за столбы. На *галерею* и к большим дверям амбара залазят по стремянке.

Такое сооружение придумано, чтобы обезопасить продукты от сырости, грызунов и прочих вредителей, а также от грабителей: несподручно им работать на высоте и на виду. Грызуны же, если и влезут по деревянному стволу, все равно не одолеют гладкий верхний камень. Камни эти нарочно гладко шлифуют снизу, так что и гусеница не проползет. В конце лета по стенам *оррео* под тенью широкого козырька на ветру развешивают для просушки гирлянды лука, чеснока, кукурузы. Внутри амбара – большие деревянные ящики и полки для хранения уже отшелушенных кукурузы, фасоли, гороха, каштанов и разного зерна. Под амбаром, между столбами, ставят, чтоб уберечь от дождя, телегу, коляску, плуг, борону и прочее, а также в самые жаркие часы там лежит скотина.

Так что *оррео* – это замечательное сооружение, и астурийцы могут им гордиться.

Понятно, что тогда в Орильесе электричества не было. В зимние вечера, когда рано темнеет, на кухне зажигали диковинное устройство – больше я нигде его не видел, даже в кино. Как я потом узнал, это ацетиленовая горелка: металлический цилиндр (размером с пол-литровую бутылку или чуть меньше) с небольшим "носиком" вверху, откуда выходит пламя, и колесиком сбоку, для регулирования горения. Внутри – карбид кальция, который при соединении с водой выделяет ацетилен. В России такую лампу называют "карбидкой". Пламя у нее холодного, голубоватого свечения, намного ярче свечного. От него и запах шел особый (сейчас я бы сказал "химический"), но слабый и вовсе не противный. Во всяком случае, мы к нему привыкли. А отводя нас спать, наверх, мама освещала путь свечой на подсвечнике. Когда я уже в России, в детдоме, вспоминал свет ацетиленовой лампы, он казался мне символом иного мира, почти "того света", откуда я пришел в этот мир электричества и многоэтажных домов.

Орильес – село, можно сказать, рабоче-крестьянское: и, хотя в нем жили в основном шахтеры, у многих был свой земельный надел, и это понятно – само село наверняка много древнее угольных шахт. У нас в огороде, например, росли кукуруза, картошка, фасоль, лук, морковь, петрушка и разные

травы. Кормил селян и лес, богатый каштанами и лесным орехом. Вдоль дорог, в открытых местах росли грецкий орех и черешня, а по берегам ручьев и речек — ежевика.

Северные земли Испании, где находится Астурия, если считать по широте, расположены немного южнее Крыма, однако зимой в нашей горной местности частенько шел снег; мы радовались, прыгали, ловили снежинки ртом и пели старинную песню:

Que nieva! Que nieva!
La Virgen de la cueva!
Los pajarinos cantan,
Las nieves se levantan!

Слова красивые, но не совсем понятные:

Снег идет! Пускай снег идет!
Богородица Пещеры!
Птички поют,
Снега тают! (?)

И действительно: снег держался недолго.

Видимо, это какая-то смесь остатков древнего ритуального пения и христианских гимнов. Надо бы спросить у знатоков фольклора.

Хорошо помню сказочные дни сбора каштанов. Селяне собирались вместе — соседи, родственники, друзья — и отправлялись в лес. Мужчины брали с собой длинные бамбуковые палки с металлическими обручами на концах, чтобы соединять несколько палок в одну длинную жердину с тонким гибким концом — выходило нечто вроде удилища, но толще вблизи рукоятки и намного длиннее. Женщины несли мешки для каштанов и сумки со всякой снедью и питьем. В лесу начинали работать. Мужчины снизу между сучьев просовывали жерди к плодам и, держа жердь, резко встряхивали ее: гибкий конец резким секущим движением сшибал каштаны. Плоды падали на землю, а вслед за ними, кружась, опускались сорванные листья. Женщины и дети постарше наступали на колючие плоды обеими ногами (передней частью подошв) и, раздвигая ступни, раздирали круглый зеленый ежичек, вынимали запрятанные там каштаны и кидали в мешки. В лесу стоял веселый гомон: взрослые шутили и смеялись, состязаясь в остроумии; а дети, и я в их числе, то наблюдали за делами взрослых, то, визжа от восторга, бегали по лесу, затевая игры. Голоса людей, свист бамбуковых жердей и треск от их

ударов гулко раздавались в лесу, как в концертном зале или в храме. Бывал и отдых, и обед с вином, и, наверно по традиции, тут же пекли на костре первые каштаны. Если положить каштаны на угли, не надрезав твердую кожицу, она лопается с резким хлопком, поднимая столб пепла. Всегда найдется баловник (даже из взрослых) и обязательно к великой радости детей бросит украдкой нечищенный каштан в костер. Ели мы, конечно, и сырые каштаны.

Вернувшись домой, соседи вставали в круг и делили добычу. Всю зиму мы ели печеные каштаны и каштановый суп. Бульон получался молочно-мутный и сладковатый, однако вкусный, и ели мы его с тем же удовольствием, что и всякую иную пищу. Не помню, чтоб в детстве я страдал отсутствием аппетита — никаких "не люблю" и "не буду".

Кукурузу тоже собирали все вместе, переходя от одного поля к другому. Мать пекла кукурузный хлеб — очень вкусный, пахучий (когда теплый, недавно из духовки) и невкусный, жесткий (когда вчерашний). Видимо, в кукурузной муке много клейковины, и хлеб быстро черствеет. Часто мы ели кукурузную кашу: мать положит каждому, сколько надо, потом ждем, пока каша остынет, образуя сверху мягкую корочку, затем каждый брал ложку каши из середины, получалась лунка, и мать клала туда вкусноту — когда сливочное масло, а когда и мед. Мы либо смешаем все, либо, взяв ложку каши, макаем ее в масло или в мед — и в рот!

Ярко запомнилось мне осеннее забивание скота, душераздирающий визг свиней, когда им связывали ноги, — они как будто знали, что их ждет! Но ведь овцы, телки, козы, куры, утки — не кричат, когда их ведут на убой... Затем изготовляли разного рода колбасы, окорока. Вот одна из картин.

Прямо на улице, между домами, рядом с большими чанами с мясным фаршем, мелко нарезанным салом, вареной кровью, вареным рисом, луком и прочими приправами в круг рассаживались женщины делать кровяную колбасу. Одни перемешивали фарш и приправы в тазу, другие брали горстями эту смесь и запихивали в кишку, как бы надевая ее себе на руку по локоть. Когда начинало темнеть, посредине круга разводили большой костер, чтобы не прекращать работу и ночью. Вокруг толпятся зеваки, в основном дети. Запомнилась такая деталь: когда в одном из чанов кончался лук, одна из женщин брала в левую руку большую очищенную луковицу, а в правую — большой нож и начинала часто бить им по луковице, одновременно вращая ее кистью руки; затем срезала насеченный слой лука и снова била и крутила луковицу с удивительным проворством и точностью, причем продолжая разговор. Меня это забавляло, и, кажется, даже помню, что я

из вредности, свойственной детям, все ждал, когда же она попадет ножом себе по пальцам.

За этим занятием — изготовлением колбасы — всегда кто-нибудь рассказывал что-то интересное. Помню, в один из таких вечеров я услышал народную сказку — фантастическую и страшную. Представьте себе такую сцену: лица женщин в отсветах костра, резко очерченные черные тени пляшут по стенам домов, а когда подбрасывают сучья в костер, снопы искр взмывают к черному небу...

"...И вот она говорит: 'Зарежь ребенка, вынь из него печень и отдай собаке, что у той старухи живет...'" Меня охватывает ужас: "Неужели из ребенка — одного из нас! — *вынут печень?*" И все-таки, вытаращив глаза и открыв рот, слушаю дальше, а конец сказки, оказывается, в общем, счастливый.

Теперь о событиях революционного 1934 года.

Провинция Астурия (по-испански Asturias — множественное число, так же как Афины) всегда считалась родиной народа непокорного, сильного, вечно беспокоящего правителей. Мавры, завоевавшие в VIII веке Испанию, не справились только с астурийцами. В ущелье Ковадонга арабы потерпели поражение, а их военачальник погиб. Правда, Астурия находится за высоким горным хребтом, что затрудняет военные действия, но мало ли гор преодолели арабские завоеватели. Тем более что арабы стремились к завоеванию континентальной Европы. Однако в ходе войны с Францией, за Пиренеями, в битве при Пуатье были разбиты, откатились назад, в Испанию, и, возможно, "плюнув на Астурию", занялись обустройством завоеванных земель. Как бы то ни было, именно с Астурии, свободного островка *испанской короны*, и началась освободительная война — *реконкиста*, отвоевание испанцами своих земель. Посему наследники испанской короны до сих пор носят титул "Принц Астурийский", а Астурия в отличие от других испанских провинций именуется "княжеством".

Так вот, в 1934 году в некоторых районах Испании начались рабочие волнения, а в Астурии они вылились в вооруженное восстание. Дружины рабочих заняли столицу провинции Овьедо и удерживали ее целый месяц. Восстание было подавлено и, как обычно, начались аресты и суды.

Я был свидетелем такой сцены (мне шел шестой год).

В наше село на длинных открытых машинах приехали полицейские; остановились пониже села, где проходила грунтовая дорога, и стали ходить по домам. Явились и к нам, начали шарить повсюду, открывать шкафы, сундуки, вытряхивать оттуда одежду, белье... В общем, все как оно и бывает. Мать хо-

дит за ними, стенает, плачет — они ноль внимания. Отец молча смотрит. В конце концов полицейские наткнулись на большой моток бикфордова шнура (его используют в шахтах для подрыва скальной породы). Полицейские трясут шнуром, отец что-то им объясняет, но без толку: на него надевают наручники и уводят. Мы, дети, смотрели на эту сцену примерно так же, как потом смотрели кино. Всех арестованных собрали на небольшой нашей площади и поставили в круг — лицом друг к другу. Приведут нового арестанта — круг расширяется. Я смотрел на отца в наручниках и ничего особенного не чувствовал: плохо понимал происходящее. Возможно, думал: "Что-то важное происходит у взрослых". Народ молча толпился вокруг. Если бы люди кричали, как-то выражали свое недовольство, я бы запомнил. В память врезалась такая картина: около арестованного высокого молодого парня стоит молодая женщина, плачет, что-то говорит, припав к его плечу. Я слышу только обрывки разговора, но по движениям парня, по его лицу, понимаю, что он говорит: "Перестань... люди смотрят, стыдно. Ничего страшного... обойдется".

Отца осудили на несколько месяцев тюрьмы.

Один раз мать взяла меня на свидание с ним. В небольшом помещении за решеткой — от пола до потолка и от стены до стены — я увидел отца. Были там и другие заключенные. Отец сидел на корточках. (В таком положении глаза его оказались вровень с моими, значит, мой рост тогда был примерно 90 см.) Он подарил мне узорчатую шкатулочку — сам сделал ее из разноцветной соломы (специально обработанной, сплюснутой и раскрашенной). В испанских тюрьмах (а может, и в других странах) был такой обычай — занимать заключенных (наверно, с небольшими сроками) ручным трудом и всякими самоделками. Куда делась эта шкатулочка, не знаю, а сколько раз я потом жалел, что не сумел ее сохранить — теперь смотрел бы на нее и думал: это мой отец сделал своими руками... Очень жалко.

Глава третья

Гражданская война. – Гибель отца. – За что его расстреляли. – Как спасся мой дядя. – Дядина флейта. – Жизнь моих братьев. – Мои сестры.

18 июля 1936 года в Испании началась Гражданская война. Реакционные военные круги, правоверные католики и националистическая партия "Испанская Фаланга" вместе с другими *правыми* выступили против Республики и правительства На-

родного фронта, образованного в результате демократических выборов 16 февраля того же года. Восставшие сумели обеспечить себе победу в одной трети территории Испании (частью на севере и северо-западе — Арагон, Старая Кастилия, Леон, Галисия, — частью на юге и на западе) практически сразу.

По предложению Франции демократические европейские страны, защищая свои финансовые и торговые интересы в Испании, приняли "Декларацию о невмешательстве", а нацистская Германия и фашистская Италия стали помогать мятежникам, сначала вооружением, а затем и войсками. Помимо прочего, они хотели испытать в боевых условиях новые образцы вооружения. Немцы испробовали эффективность массированной бомбардировки на старинном городе басков Гернике, разрушив его полностью за несколько часов.

На стороне Республики сражались верные правительству военные части и сразу же созданные из членов левых партий (социалистов, коммунистов, анархистов и разнообразных рабочих партий) отряды "милиции". Правительство вынуждено было вооружить их. Кроме того, были образованы (главным образом, усилиями коммунистов разных стран) Интернациональные бригады.

Гражданская война с самого начала показала свое свирепое, трагическое лицо. Один из главарей мятежников Эмилио Мола теоретически обосновал правомерность крайней жестокости и массовых казней республиканцев военной и политической необходимостью — иначе не добиться победы "над сильным и хорошо организованным врагом". Репрессии со стороны республиканцев не были столь организованными и теоретически обоснованными; к ним прибегали, главным образом, анархисты и неуправляемые группы рабочих, которые убивали и грабили богачей, расправлялись с сочувствующими мятежникам и, что было уж совсем безрассудно, жгли церкви и монастыри, расстреливали священников и монахов. В народе распевали такую песенку:

Если б знали попы и монахи
Какое избиение им уготовано,
Сами бросились бы на хоры,
Чтоб петь: "Свобода, свобода, свобода!"

Понятно, что речь шла о свободе для рабочих и крестьян. Это, конечно же, играло на руку националистам и клерикалам и позволило им раструбить на весь мир о "звериной" сути *красных*, умолчав, естественно, о своих зверствах.

Советский Союз (или, как часто пишут западные историки, Сталин) не сразу решился помочь Республике, не желая противопоставлять себя европейским странам (не чувствуя для этого достаточно сил). Хотя первый транспорт с продовольствием прибыл в Испанию 18 сентября, а с вооружением — 15 октября, т. е. через три месяца после начала войны — не так уж и поздно.

После двух лет и девяти месяцев тяжелейшей борьбы Республика пала и начались обычные в таких случаях репрессии. Называют такие цифры: 200 000 расстрелянных и два миллиона заключенных. Всего же в гражданской войне погибло с обеих сторон около миллиона человек.

Не раз за три года побывав на краю гибели и счастливо одолев множество испытаний, отец погиб уже в мирное время. Правда, сколько он провоевал и воевал ли вообще (ведь люди нужны были для дела и в тылу), я не знаю, и братья тоже не знают, поскольку всю войну провели во Франции. Маму же я почему-то не расспросил об этом, а она умерла в 78-м. Я только спросил ее, был ли отец ранен, она коротко ответила "нет", что, впрочем, не означает, что отец был на фронте. О том, как он погиб, мне рассказали мать и дядя (брат отца) в 1970 году.

Победители поступили хитро: поначалу арестовывали только очевидных противников — оставшихся коммунистов и уличенных в "военных преступлениях". Затем репрессии почти прекратились, вследствие чего все, кто боялся ареста, вышли из подполья, вернулись домой, устроились на работу. Так поступил и отец (а он был коммунистом), скрывавшийся у друзей в другой провинции. Ему сообщили, что аресты закончились, что коммунистов даже берут на работу, и отец вернулся. Но вскоре началась новая волна репрессий: франкисты устроили облаву и схватили всех, кого считали виновными в убийствах богачей, грабежах, поджогах монастырей, расстрелах военнопленных, и тех, кого посчитали опасными местными лидерами рабочего или "красного" движения. Одних судили по всей форме, с другими расправились посредством военно-полевого суда, а проще говоря — самосуда. Среди них оказался наш отец. В чем его обвиняли? Я спрашивал мать и старшего брата, но они ничего не могли сказать. Мой родной дядя (брат отца) тоже был арестован, но с ним случилась романтическая история (о которой я расскажу) — он спасся. Мы с братом ездили повидать дядю в его родной город Моред. Вот его рассказ.

"Рано утром к арестантам являлась расстрельная команда, старший зачитывал список приговоренных. Те, чьи имена он называл, отвечали как положено: 'Здесь!' (в России гово-

рят "я!"). Знали ли они, что их ждет? После переклички приговоренных выводили, увозили на грузовике подальше от села и, как рассказывали очевидцы, ставили в ряд на краю большой, заранее вырытой ямы и расстреливали: жертвы сами падали в яму. Ставили следующих, расстреливали и затем закапывали". Сколько раз я, с болью в душе, представлял себе эту сцену:

— Эрминио Гарсиа-и-Гарсиа!

— Здесь!

Так и вижу злосчастного нашего отца на краю ямы, с завязанными руками, в ожидании залпа, который положит конец его жизни. О чем он думал в ту минуту? Может, вспоминал нас, своих детей, оставшихся без него, далеко на чужбине? Он ведь знал, что нас, сыновей, отправили за границу, в особые детские дома. А может, ни о чем не думал, ничего не чувствовал? В России, в восемнадцатом году, одного молоденького офицера, уже поставленного к стенке и чудом спасшегося, священник потом спросил:

— Митя, что ты чувствовал? Страшно было?

— Ничего не чувствовал, весь одеревенел[1].

А ведь если б отец не погиб, я б увиделся с ним, как увиделся с матерью в 1970 году в Испании, в свои 42 года! Поговорили бы как взрослые люди, вспомнили бы то, другое, я б расспросил его о многом... А он, может, порадовался бы, что я в какой-то мере оправдал его ожидания, что не напрасно он вел нас твердой рукой, просто и ясно, в самые важные, первые, годы жизни.

С особой горечью добавлю к этому рассказу то, о чем узнал совсем недавно от моей приятельницы испанки Виолеты Гонсалес (она сейчас тоже живет в Москве). Когда я сказал ей, что мой отец был расстрелян и никто из родных не знает толком за что, она сказала с уверенностью: "А я знаю. Моего отца тоже расстреляли, и когда я увиделась с матерью и спросила за что, она без тени сомнения ответила: "За то, что мы решили отправить детей к коммунистам, в Советский Союз. Многих за это расстреляли. Так франкисты избавлялись от убежденных идеологических врагов". Я обомлел. Значит, отец погиб **из-за меня** — поскольку в Советский Союз был отправлен только я (два моих брата попали во Францию, а сестры остались в Испании). При одной этой мысли у меня защемило сердце.

А с братом отца Хосе Гарсиа (тоже шахтером и тоже арестованным тогда же коммунистом) случилось вот что.

1. Митрополит Вениамин. На рубеже двух эпох. — М.: Отчий дом, 1994.

У него был закадычный друг детства и юности, с которым они вместе росли, ловили рыбу и участвовали во всяких забавах и проделках молодости. Так вот, в гражданской войне они с другом оказались по разные стороны баррикад: дядя за *красных*, а друг его — за *националов*. Дядя рассказывал:

"Нас, человек десять, держали в большом каменном сарае. И вот однажды входят к нам военные и среди них — мой друг, причем в каком-то чине, наверно, сержантском. Увидел меня и говорит: 'А-а-а! Кого я вижу!', и, обращаясь к своим, добавляет: 'У меня с этим типом свои счеты! Я им сам займусь, не возражаете?' Начальник, тоже небольшого чина, пожал плечами: мол, делай, как знаешь. Военные ушли, забрав с собой часть арестованных". (Между прочим, дядя сказал, что уводили не всегда на расстрел: некоторых отправляли в тюрьму, чтобы затем законно приговорить к разным срокам заключения.) И продолжил рассказ: "Попозже заходит к нам мой друг, один, и, поглядев на меня, приказывает: 'Выходи!'. Я встал, вышел. Идем рядом, молчим. Наконец он останавливается и спрашивает:

— Ну, что думаешь?

— Что ты не изменился.

— Правильно думаешь...

Мы обнялись. Он дал мне адрес своих родственников, что жили в дальнем селе, сказал, что предупредил их: 'Поживи пока у них и пореже показывайся на улице. Я сам тебя найду, когда всё уляжется'. Дал немного денег, и мы простились. Месяца через два он объявился, сказал, что вроде все стихло, что он договорился с кем надо — я могу вернуться на шахту и спокойно работать".

Между прочим, можно понять местные власти (и хозяев шахты), которые, наверное, рассуждали так: "Смута кончилась, красные получили по заслугам, и хватит. А то работать некому — и так многих поубивали".

В 70-м году дядя, старик лет за семьдесят, жил уже на пенсии. У него была изуродована правая рука (два пальца скрючились, а на тыльной стороне виднелся корявый шрам); правая сторона лица — вся в отметинах, как от оспы, только темных, как точки татуировки. Я спросил, что это, дядя объяснил: "Следствие неудачного подрыва; сами виноваты: поспешили, недосмотрели". И одно веко было у него повреждено, однако зрение не пострадало. Помня, что в детстве я играл на дудке, он вынес из дома вполне приличный инструмент и дал мне поиграть. Слушал с улыбкой. Эту флейту они купили для десятилетнего внука, который гостит у них летом. Внук тоже поиграл, как умел. Я его поучил немного — показал, как удобнее, и мальчик охотно поупражнялся. Затем удивил меня дядя: взял

инструмент и сам сыграл простую мелодию, да еще извинился, что не слишком ладно получается, поскольку не все пальцы работают.

Есть у простого народа тяга к искусству! Люди чувствуют в нем благородную тайную силу и хотят к ней приобщиться. Естественнее всего это происходило в те времена, когда еще не было ни радио, ни музыкальных записей, и человек творил сам, пусть неуклюже, но подлинно, так же как шумят деревья и поют птицы.

Немного о братьях и сестрах.

Братья мои, Вириато и Марселино, с четырнадцати лет начали работать на той же шахте, что и отец (уже после его гибели), погонщиками мулов. В горных выработках на разных уровнях проложены рельсы, по которым мулы возят вагонетки с углем. С верхних выработок (открывающихся в разных местах по склону горы), уголь ссыпается в нижние через воронки, и только от самой нижней выработки рельсы идут вниз, к железной дороге. Мулов надо было запрягать в вагонетки, везти под уздцы, пасти или давать корм, поить — в том и состояла работа подростков. Когда Вириато достиг рабочего совершеннолетия (шестнадцати лет), его взяли в забой, а место погонщика досталось Марселино.

Вириато рассказывал, что иногда работал в ночную смену и возвращался домой в шесть утра, когда зимой еще темно и лежит снег (днем, при солнце, снег тает). До дому пять километров (может, брат и тут преувеличивает?), а в тех местах волки бродят. Страшновато! Брат брал с собой пару динамитных патронов и как только заметит движение вдалеке, "как ноги задрожат", сразу кладет динамитный патрон на камень, поджигает фитиль — и бежать. Через десять секунд — сильный врыв, а потом долго еще эхо разносит грохот по горам. С волками, наверно, делался нервный припадок, а в довершение всего брат начинал громко петь, чтобы волки знали: он их совсем не боится! Это он умеет так оглушительно грохотать!

Проработал Вириато на шахте недолго, всего двенадцать лет. Врачи сказали, что начинается силикоз (профессиональная болезнь шахтеров от воздействия угольной пыли на легкие), и брат ушел с шахты. Поскольку нужно было кормить себя, маму и бабушку (деда уже не было в живых), он отправился во Францию работать на стройке, сначала разнорабочим, а затем, со временем, маляром, паркетчиком и кем-то еще. Во Франции ценили испанских рабочих за добросовестность и высокую производительность и вследствие того прилично платили, на что местные рабочие, бывало, жаловались. Както Вириато пришел по делу к прорабу, застал там француз-

ских рабочих и сразу догадался, о чем речь, потому что начальник, увидав его, зло сказал рабочим: "Работайте не хуже его — тогда и требуйте!"

К шахтерской инвалидной пенсии брата приплюсовывалась заработанная во Франции, так что, вернувшись в Испанию, Вириато стал *жить припеваючи*. Много читает, любит гулять по горам с транзистором. Жаль, что женился он поздно, жена была уже в летах, и детей у них нет (а у меня — племянников).

О втором брате Марселино рассказ совсем короткий. Он проработал вместе с братом десть лет (с четырнадцати до двадцати четырех) и, не успев ни жениться, ни народить детей (опять же я лишился племянников) погиб в шахте. Вириато рассказал, как это случилось. Я уже говорил, что между выработками разного уровня проделаны большие отверстия, обложенные железным листом в виде воронки, через них уголь ссыпается в вагонетки с верхнего уровня на нижний. Так вот, если подняться по этим воронкам (что требует изрядной ловкости), можно сразу попасть на верхний уровень и не идти сотню метров до лестницы. Надо только рычагом открыть люк, но главное — надо чтобы воронка была пуста. Марселино или забыл об этом, или думал, что воронка пуста, дернул за рычаг — и на него обрушились тонны две или три угля. И похоронили под собой. (Видимо, когда под воронкой стоит вагонетка, рычаг двигают издалека, с помощью ремня или цепи.)

В письмах ко мне таких-то годов мать жаловалась на Марселино, писала, что он любит кутить с друзьями и приносит в дом мало денег. А я помню только его озорное, улыбчивое лицо, его шутки, игры с ним, беготню, и мне очень жаль брата.

Сестра Леониса у меня самая любимая. Она умная, добрая, да еще и работящая. Родила двух детей: Маноло и Бегонью. Пишет стихи — и неплохие, присылает их мне. Терпелива с мужем: он ниже ее по развитию, и, когда я жил у них в семидесятом, сестра мягко намекнула, чтоб я был с ним поделикатнее — ненароком не ранил его легко уязвимое самолюбие и не раздражался, видя, как он озабочен постоянным желанием доказать, что *и он не дурак*. Зовут мужа Мануэль Тока; по профессии штукатур. Живут они в приморском городе Сантандере у Бискайского залива.

Вот некоторые из стихов Леонисы (в моем подстрочном переводе):

Поэзия, как ты мила,
Сколько желанных мечтаний
Пробуждаешь ты в умах
Отчаявшихся людей.

Не оставляй меня никогда —
Я умру от горя:
Как мне жить без крыльев,
Которые ты мне даришь?

* * *

Охвати меня забвение,
Не хочу вспоминать
Ни плохое ни хорошее,
Коль плохое одолевает.

* * *

Хотел срезать розу
Влюбленный юноша,
Но, рассмотрев ее вблизи,
Был ею очарован.

Лишь прикоснулся он к стеблю –
И роза задрожала,
И представилось ему,
Что и она в него влюбилась.

С пустыми руками
Он удалился.
Роза осталась сиять
Несказанной гармонией.

Если бы он обернулся
В печали,
Увидел бы, что роза
Умирает от любви.

* * *

Ты ищешь неустанно
Лекарство для своей печали,
Это все равно что искать
Ручей в песчаной пустыне.

Сердце все бьется и бьется
В целом море смуты,
Меж тем как душе все снятся
Гирлянды разных цветов.

На смерть матери

Приготовь мне место рядом,
Буду тебе попутчицей,
Будем с тобой неразлучны
И днем и ночью.

Оставь дверь к себе открытой,
Поставь стражем свою душу,
Когда настанет мое время
Я тихонько лягу рядом.

Я приду к восходу,
Чуть только утро забрезжит,
И не будет больше ночи,
Приносящей столько боли.

Соединятся наши души,
И осветится наш путь,
И будем навеки счастливы,
Поменяв землю на небо.

Ангелу-хранителю

Играй мне на своей арфе
Так, как один ты умеешь,
Твои ангельские звуки
Утишают мои горести.

Не прерывай свое пение,
Я буду всегда внимать ему,
Пой, ибо без этих звуков
Душа моя опустеет.

Если тебе неуютно
На нашей жесткой земле,
Оставайся в своем раю,
Пусть звуки льются с небес.

* * *

Если мы еще способны
рассматривать
Всяческое изящество сада,
Разноцветие цветов,
Испускающих свой аромат,
Что же мы жалуемся?

Если любо нам смотреть
Как льется вода с обрыва,
Как солнце садится красное,
Иль встречать прелесть рассвета,
Что же мы жалуемся?

Если в ночном небе
Любуемся блеском звезд
И одна из них завлечет тебя
Среди прочих,
Что же мы всё жалуемся?

Марию, самую младшую, во время гражданской войны отправили в Бельгию, там добрые люди ее взяли на воспитание. Она до сих пор живет в Бельгии. Мы расстались, когда ей было четыре года, и я ее, маленькую, почти не помню. Не знаю почему, но мы, братья, мало общались с сестрами. С Марией мы встретились только в 70-м году, в Испании. Она выше всех нас, низкорослых (брат ростом около 170 см, а она заметно выше). Сестра мне понравилась: добрая, мирная женщина, улыбка очень приятная и голос. Муж ее тоже испанец, занимается ремонтом автомашин. Хороший парень. У них трое детей. Живут всей семьей в небольшом бельгийском городке Конблан-о-понт, построили хороший двухэтажный кирпичный дом, при нем красивый ухоженный садик (сестра показывала фотографии).

Сестры пишут мне и звонят несколько раз в год, расспрашивают что и как, зовут побывать у них, а я, в общем, домосед, все обещаю — и все откладываю. Они уж посмеиваются надо мной: "Значит, приедешь? А сколько лет ждать?" Что до брата Вириато, так он вообще ставит меня в безвыходное положение: "Я, — говорит, — оплачу тебе дорогу в оба конца и здесь обеспечу всем необходимым". В ответ я длинно и витиевато оправдываюсь.

Сам я ни разу никому не позвонил, на письма отвечаю редко. По этому поводу Леониса сложила такие стихи:

Стоял такой перезвон колоколов
В тот день,
Что я выглянула в окно
Посмотреть, что же случилось,
И увидела почтальона
С письмом —
Сияющее разными цветами
Это было письмо от брата.

Глава четвертая

Я уезжаю из дому. – Наш разговор с дядей. – Жизнь с Томасом и Эстер. Ловля певчих птиц. – Воздушная тревога. – Мои выступления с военными песнями. – Мои заработки. – Приезд отца. – Расставание с Томасом и Эстер. – Отплытие из Хихона. – Остановка во Франции. Перст Судьбы. – На советском пароходе. – Прибытие в Ленинград. – Моя первая ангина.

Когда в июле 1936 года началась гражданская война (мне было уже семь с половиной), республиканские власти мобилизовали рабочих на фронт или на работы в тылу, и многие семьи остались без кормильцев. Ввиду этого было решено отправить детей из этих семей к тем, кто вызвался помочь. Нас, братьев и сестер, почему-то отправили в разные места. Расставшись тогда в Орильесе, мы встретились только через 34 года.

Приведу рассказ о том времени моего дяди Руфо (мужа тети, маминой сестры), с которым я тоже встретился, когда побывал в Испании в 70-м году. До войны Руфо служил на шахте каким-то мелким начальником (вроде десятника) и, кроме того, имел приличный земельный надел. Жил он в другом селе, пониже Орильеса. Так вот, узнав, что меня хотят отправить к чужим людям, он пришел к нам, отвел меня в сторону и говорит: "Зачем тебе ехать к чужим людям? Живи у нас, с тетей, с братишками..." Я насупился и замотал головой. Почему? Ни тогда, ни теперь толком не отвечу на этот вопрос. Тут — *Судьба работает.* Дядя стал уговаривать: "Да ты подумай как следует: увезут тебя бог знает куда, к чужим людям... Что с тобой будет? Умрешь на чужбине..." И тут я сказал: "Что там, что здесь, а умереть придется". "Знаешь, — прибавил к своему рассказу дядя, — а тогда ты вышиб у меня слезу!" Разговор с дядей я помнил, но как ему ответил — забыл. Это был самый первый случай, когда меня хотели взять в семью. А всего таких случаев набралось пять (расскажу о них *по ходу действия*).

Хорошо помню, что меня отвезли в долину, там текла речка, были проложены шоссе и железная дорога. Меня, вместе с другими детьми, (наверное, человек двадцать) посадили на поезд (или в автобус?) и привезли в город Португалете, уже не в Астурии, а в Басконии. Там нас собрали в каком-то помещении, повесили на шею квадратные картонки с крупно выведенными на них номерами и усадили на стулья вдоль стен. Затем объяснили, что какое-то время мы поживем у добрых дядей и тетей и что нам у них будет очень хорошо. После чего в комнату вошли взрослые, тоже с картонками вроде на-

ших. Оказывается, чтоб не было обид и не досталось кому-то "получше", а кому-то "похуже", нас решили попросту "разыграть": желающие приютить ребенка, вытаскивали из мешка номер, а затем по номеру искали "своего" ребенка. Выбрать можно было только одного — мальчика или девочку. И вот подходит ко мне высокий дядя с тетей ростом поменьше, посмотрели на меня — улыбаются (остались довольны) и спрашивают:

— Как тебя зовут?

— Дионисио.

— Хочешь пожить у нас?

Отвечаю: "Да". (Наверно, поверил, что *будет хорошо.*)

Они тоже назвали себя: Томас и Эстер.

Мне, во всяком случае, уж точно повезло: люди они оказались очень хорошие. Мы подружились, и прожил я у них — совсем иной, удивительной для меня жизнью — почти год. Сначала в Португалете, на берегу моря, а затем в Толосе, тоже в Басконии, но уже без моря (примерно 30 км южнее Сан-Себастьяна). Почему они переехали в другой город — не знаю (хотя нельзя забывать, что шла гражданская война).

Томас работал в маленькой пекарне, но был ли он хозяином или просто пекарем вместе с другими четырьмя рабочими, или же был главным пекарем у хозяина, не знаю. Ясно одно: он там руководил. Иногда Томас брал меня с собой, показывал, как железная "рука" месит тесто в вертящихся котлах. Молодые пекари быстрым простым движением лепили цветки из теста (что-то вроде розы) и выпекали специально для меня — чудесное было угощение. А если я уставал, меня укладывали на мешки с мукой и накрывали пустыми мешками. Я лежал и глядел, пока не засну, как ловко они работают.

Брал меня Томас и на охоту. Втроем с Эстер мы поднимались на лесистую гору, Томас уходил в лес, а мы располагались на поляне. Спустя какое-то время вдалеке слышались выстрелы. Эстер, зная и время обеда и свое дело, разжигала костерок, чтобы разогреть пищу, стелила скатерть и раскладывала припасы.

Особенно удивительным казалось мне устройство, которым Томас ловил певчих птиц: он срезал молодое деревце, метра два в высоту, заострял нижний конец, прочно втыкал его в землю метрах в десяти от места, где мы сидели, убирал всю листву и некоторые ветки, обмазывал оставшиеся ветки особым клеем, подвешивал на деревце маленькую клетку с певчей птичкой (наверное, выбирая самца или самку, смотря по тому, кого нужно поймать) и садился за обед. Птичка в клетке пела, к ней прилетала другая, садилась на веточку — и приклеивалась лапками так прочно, что Томас успевал подой-

ти, схватить птичку и посадить в клетку, принесенную из дома. Я молча следил за его действиями. Не думаю, что я радовался, когда птичка попадала в клетку...

Живя в Португалете, я узнал войну вблизи. Раздавался вой сирены — "Воздушная тревога!" — тетя Эстер наспех совала в сумку какие-то вещи, бутылку с водой, и мы бежали на улицу, в подвал соседнего дома — в бомбоубежище. Вскоре раздавались взрывы бомб, иногда так близко, что содрогались стены. Было страшно; Эстер крепко обнимала меня. Однажды мы оказались в бомбоубежище вместе с дядей Томасом, тогда бомба упала рядом с домом. Такого грохота я никогда прежде не слышал — ни от грома, ни от чего другого. Я оцепенел. Когда мы вышли наружу, увидели людей, столпившихся возле большой воронки от бомбы: все говорили разом, показывая на кровавые полосы и прилипшую к стене густую беловато-розовую массу — человеческие мозги. Тут же на тротуаре, среди битого стекла и штукатурки, чернела большая лужа крови. Труп уже убрали. Отовсюду слышалось: "Чуть-чуть не добежал..." Почему противник бомбил это место? Я думаю потому, что рядом находился португалетский "висячий мост" (так его называли, а вернее сказать, это был висячий паром). На другой стороне залива — городок Алгорта. По обе стороны залива — две железные башни, соединенные на большой высоте (чтобы могли проплывать пароходы) длинной металлоконструкцией. Наверху по рельсам шли железные тележки, а к ним, на стальных канатах, была подвешена большая крытая платформа для перевозки людей (а может, и автомашин). Эти-то перевозки, наверное, и хотел уничтожить враг, а нам доставалось, так сказать, заодно.

Расскажу забавную историю.

У меня был хороший музыкальный слух и хорошая память, так что я легко запомнил некоторые республиканские, антифашистские песни. Такого рода песни всегда появляются во время войны (например, "Вихри враждебные" и т. п. в России...). Спел раз, другой, попросили еще и еще раз — слушали и радовались. И вот я в окружении нескольких молодых бойцов республиканской армии, одетых в синие форменные комбинезоны, с кобурами на боку, звонким мальчишеским голосом, воздевая кулачок, пою:

Бросай гранату!
Пусть летят осколки!
Подкладывай бомбы
И сжимай в руке пистолет!
Нет пощады этим канальям,
Которые...

Не помню, ни что дальше, ни что это за "канальи" и зачем их уничтожать. Пение мое всех приводило в восторг и умиление. "Выступал" я на улице возле нашего дома. Соседи — или просто прохожие — давали мне деньги на конфеты и мороженое. Сейчас, вспоминая, я себя не узнаю — это совершенно не в моем характере. Нужно найти объяснение. Да, случалось, я играл для других, не для себя, на флейте — это еще можно понять: хотел показать свое "искусство". Но петь как артист партийные песни?!

На первом этаже под нами был продуктовый магазинчик. Хозяйка знала, что я не здешний — из "приемышей", полюбила меня и тоже давала деньги, причем иногда сразу по пять песет ("пятак" — это самая большая серебряная монета). Как завидит, говорит: "Поди сюда, миленький!", и обязательно угостит чем-то или денег даст. Я деньги не тратил, а копил, поскольку все, что нужно, мне покупали Томас и Эстер. Только иногда покупал мороженое. Они поддержали мое решение копить деньги и, чтоб легче было хранить (и считать), меняли мою мелочь на монеты в пять песет. У меня накопился довольно высокий столбик этих "пятаков". И вот что из этого вышло.

Однажды я, видимо, долго сидел молча, глядя в одну точку. Томас заметил и спросил: "О чем задумался?" Я ответил: "Об отце". И что же? Через несколько дней приходит письмо от отца: он хочет навестить хозяев и повидаться со мной! (Разумеется, родителям сообщили, где их дети.) И вот отец приехал. Мы не виделись примерно год. Как я уже говорил, отец не отличался сентиментальностью: он внимательно посмотрел на меня, похлопал по плечу, спросил, как живется. Эстер накрыла на стол, все сели, и за едой и питьем начался общий разговор о положении дел в стране. Среди прочего, Томас рассказал отцу, что я зарабатываю деньги пением и игрой на флейте. Я принес свои монеты, показал ему. Отец спросил, что я собираюсь с ними делать. Я сказал: "Не знаю, — и добавил: — Если хочешь, возьми себе". Отец подумал и сказал: "Ну что ж, пожалуй, возьму", — и тут же стал, не торопясь, совать их в кармашки жилета. Видимо, очень уж нужны ему были деньги.

И все же так и хочется сказать: "О времена! О нравы!"

Мое житье у этих приятных людей кончилось тем, что однажды к нам явился один из моих родственников, скорей всего дядя (их у меня много) и сказал Томасу, что меня отправляют в Советский Союз... Показал какие-то бумаги. Теперь-то мы знаем, что отправку детей организовала Компартия. Томас не хотел меня отдавать и сопротивлялся, как мог. Они долго спорили при мне. Дядя что-то объяснял про Россию, Советский Союз, социализм, и мне запомнился один из дово-

дов: в России мне бесплатно дадут хорошее образование. Томас возражал: незачем ради этого отправлять меня в такую даль, он берется обеспечить мне образование в том учебном заведении, какое я выберу. Наконец спросили меня, хочу ли я в Россию. Я, конечно, очень хотел: ничего себе — поехать в Россию, страну социализма, вместе с другими ребятами! Но и обижать хорошего человека не хотелось, так что я опустил голову, уперся глазами в пол и ничего не ответил. Но, как известно, молчание — знак согласия. Дядя переночевал у нас, и на следующий день мы с ним уехали.

Расставание было очень печальным. Эстер плакала навзрыд.

Дядя повез меня в Астурию, в крупный портовый город Хихон и сдал в особый детдом, где собирали всех, кого отправляли за границу: в СССР, во Францию, в Бельгию. В этом детдоме я впервые ощутил *дух социализма*: совместное житье множества детей, распределенных по группам, воспитатели, ходьба строем с песней, пылкие речи взрослых о фашизме, о социализме, о могучей Советской России, где все люди братья, о Ленине и Сталине. Мне, с моей врожденной независимостью, все это казалось странным и чужим. Помню, как я, бывало, стоя в сторонке, думал: "Вот — я, а вот — они". В строю я нарочно шел не в ногу и лягал того, кто сзади попадал мне носком по ноге. Воспитатели меня за это ругали. Прожил я в этом детдоме, наверное, больше месяца, и в конце концов что-то мне в нем полюбилось. Что именно? Может, все-таки общность, равноправие, повседневная ясность жизни и взрослые люди, твердо руководящие домом и пекущиеся об общем благе? Конечно, ребенок принимает или отвергает что-либо только инстинктивно. А как же моя независимость? Она никуда не делась. Если я что принимаю, значит, это мне подходит. Но хождение строевым шагом так и осталось для меня противным делом — и в детдомах, и позже в художественном училище на занятиях по военному делу вечно кричали: "Гарсиа! Что за ходьба вразвалочку?!" Я слегка напрягусь, вытянусь, а потом снова за свое. Ну и получал "тройку".

Запомнилась посадка на пароход в порту Хихон. Незнакомые звуки и запахи порта, торопливые движения взрослых, их возгласы, громада корабля, тихие, оробевшие дети — все свидетельствовало о том, что совершается нечто значительное. Но вот что удивительно: я, деревенский мальчик, поднимаюсь по трапу на громадный черный корабль, который увозит меня в далекую страну, один, оторванный от родной семьи, в толпе чужих людей — а мне хоть бы что: иду, как на экскурсию (в детдоме нас возили на автобусах на экскурсии показывать разные достопримечательности). Что станет со

мной? Мне будто бы всё равно. Теперь, постигая свое тогдашнее состояние (оно врезалось в память), я понимаю: то не была бездумная покорность "овцы" в стаде. Нет, я бессознательно верил в свое хорошее, интересное будущее и с готовностью шел ему навстречу. Примерно так мы идем в театр: билет куплен, место известно, пьеса, говорят, интересная – что ж, посмотрим.

Стоял октябрь 1937 года, и мне было без малого девять лет.

Пароход – большое грузовое судно – предоставили французы. Нас разместили в наспех оборудованных трюмах, где пахло углем и свежеструганой древесиной. По дощатому трапу, правда, с перилами, мы спустились в трюм, где по обе стороны от прохода были сделаны многоярусные нары. Отхожие места (для многих сотен людей!) устроили вдоль одного из бортов: прикрепили к палубе длинные бревна, один конец которых зависал над водой, настлали на них пол с нужными отверстиями, соорудили "домики" с дверями – и всё в порядке. Страшновато было сидеть там "орлом": пол качается, а под тобой, далеко внизу, играет море.

Приплыли в Брест, крупный портовый город на северо-западе Франции. И тут судьба в очередной раз показала мне свою силу.

Дело в том, что небольшая часть детей с нашего парохода должна была выгрузиться во Франции (французское правительство тоже выразило готовность принять партию беженцев), остальные направлялись в Советский Союз. Так вот, при приближении к порту нам опять надели на шею картонки, на сей раз с надписью "СССР" или же "Франция". На причале детей встречало множество людей, в основном женщин. Спускавшихся на берег обнимали, целовали, тут же совали им плитки шоколада, коробки со сладостями. Оставшиеся смотрели на это с некоторой завистью: вот он, конец пути и добрые люди! У трапа выстроилась очередь детей, покидавших судно. Выходит из очереди знакомый мальчишка, спрашивает меня: "Хочешь во Францию? Если хочешь, давай картонками поменяемся". Я подумал и решил: "Эх, быстрей будет!" – и мы поменялись. Стою в очереди, вдруг, откуда ни возьмись, появляется строгий, высокий дядечка, который всем распоряжался. Заметил меня и спрашивает грозно (откуда-то он знал, что я должен ехать в Советский Союз): "А ты что тут делаешь?!" Посмотрел на картонку, все понял, схватил меня за ворот, оттащил в сторону, трясет меня и кричит: "Говори, с кем поменялся! Не скажешь – за борт кину!" – и тащит за собой по палубе. Я испугался, гляжу во все глаза. Увидел того мальчика и показал. Руководитель подошел к не-

му, сам переменил нам картонки, дал тому пару затрещин и потащил к трапу.

Что стало бы со мной, если б он случайно не подошел к очереди? С большой вероятностью могу предположить. Немцы, захватившие в 1940 году половину Франции, отправили бы меня, как и других детей, в том числе и моих братьев, обратно в Испанию, а там я, по стопам деда, отца и братьев, пошел бы работать в шахту. Правда, если Томас был бы к тому времени жив, а мать наша с пятью детьми на руках известила бы его о моем возвращении, то, скорей всего, он взял бы меня к себе, и судьба моя повернулась бы иначе. Но для меня ясно одно: то, что я обрел в России, кем я стал здесь — нигде в другом месте не получилось бы, а если бы и получилось, то все равно вышло б не лучше, а хуже. Я в этом убежден, хотя проверить мое предположение невозможно.

Между прочим, меняясь картонками, я проявил не только своеволие, но и легкомыслие: позабыл о Советском Союзе — стране сказочной жизни, где детям живется лучше всего и куда я так стремился.

Из Бреста мы поплыли в Лондон (то есть в лондонский порт, в стороне от столицы), где нас ждал советский пассажирский пароход "Кооперация". Нас переместили туда, и это было для детей рабочих и крестьян подобно чуду: нас разместили по каютам — коврики на полу, мягкие кожаные сиденья. Обедали мы в ресторане (было два ресторана на разных палубах), официантки ласково нам улыбались. В Северном море наш корабль с обеих сторон, в отдалении, сопровождали английские военные корабли. Мы разглядывали их с восхищением.

Запомнилась, причем очень четко, такая картинка.

Накрапывал мелкий дождик. Мне стало скучно сидеть в каюте вместе со всеми или бродить по коридорам, и я отправился на верхнюю открытую палубу. Там увидел множество больших ящиков, накрытых брезентом. Я издалека заметил уютное местечко между ящиками, пошел за приятелем и говорю ему: "Давай спрячемся на палубе, я знаю где". Пошли, улучили момент, когда моряки отвернулись, добежали до ящиков и спрятались между ними под брезент. Лежим в своем "домике", дождик стучит, брезент колышется от ветра, палуба качается, а нам хорошо — шепчемся, следим за ногами моряков, которые мимо ходят. Но вот один моряк нас заметил (наверно, услышал шепот), нагнулся к нам. Улыбнулся — и исчез. Ну, думаю, все: сейчас приведет воспитателя. Вскоре он вернулся с двумя другими матросами, поднял угол брезента — смотрят они на нас и смеются. Потом он присел на корточки и дал нам по банану. Мы пришли в восторг. Я, наверное, поду-

мал: "Вот он какой, советский человек. Это о таких людях нам рассказывали!"

Между прочим, на "Кооперации", общаясь через переводчика с матросами, официантками и другими служащими, мы стали понимать и запоминать первые, самые главные слова русской речи: "я", "ты" "он", "да", "нет", "хорошо", "плохо", "это", "то", "хочу", "не хочу".

Прибыли в Ленинград. У всех настроение приподнятое: "Вот она — страна социализма!" Нас встречала несметная толпа народа. Милиционеры, взявшись за руки, устроили для нас коридор в этой толпе. Все смотрят на нас, как на диковину, улыбаются. Однако некоторые плакали. Суют нам шоколадки, конфеты — милиционеры не вмешиваются. Мне (наверно, и другим детям) надавали денег, видимо, те, кто не догадался купить сладостей — не знали же, как все будет. Деньги я быстро, деловито совал за пазуху.

Потом нас повели в баню. И — о ужас! Какая-то толстая пожилая тетка стала раздевать меня — донага! — а затем мыть какими-то лохмотьями (т. е. мочалкой). Я сопротивлялся, закрывал руками свои "места", но она цепко меня держала, вертела во все стороны, терла, терла и что-то лопотала, улыбаясь. Потом другие тетки надели на нас новую, красивую одежду. Мне досталась, кроме всего прочего, матроска — и я вдоволь налюбовался на себя в зеркале.

Найденные у нас деньги не вернули. Воспитатель объяснил, что они нам ни к чему: в город нас одних все равно не пустят, языка мы не знаем, а в детдоме всего будет вдоволь. Как распорядились теми деньгами, мне неизвестно.

Повели нас в ресторан обедать. Там, во время десерта и после обеда для нас играл скрипач, пели девушки в красочных костюмах, но особенно понравились нам две большие "куклы", которые забавно боролись (потом оказалось, что это проделывал один человек: согнувшись пополам и передвигаясь на четырех — надев на руки ботинки. Две головы и четыре руки борцов были тряпичные). В общем, старались для нас, как могли.

Пробыв в Ленинграде, кажется, с неделю, мы разъехались на поезде по детским домам. Но еще до отъезда у меня началась ангина, причем, очень болезненная и опасная — "флегмонозная" (ее еще называют "заглоточный абсцесс"). Представьте себе, что в горле у вас большой фурункул! Ни разу в Испании не было у меня никакой ангины. А уже в поезде мне стало так плохо, что по прибытии в Москву меня тут же на машине отвезли в больницу. Через два или три дня, когда нарыв созрел, его вскрыли скальпелем, и я выплюнул в блюдце боль-

шую порцию гноя с кровью. Таким "боевым крещением" началась моя жизнь в Советском Союзе.

В больнице мне подарили заводную игрушку — грузовичок (наверно, копию знаменитой советской "полуторки"). По моей просьбе, выраженной знаками, мне принесли цветные карандаши и тетрадку. Потом я попросил отвертку и разобрал машину — кабину и кузов — на составные части, отделил колеса и мотор с пружиной. Понял, как все устроено. Тут в палате появилась медсестра и, увидев на тумбочке части машины, всплеснула руками, засмеялась и быстро вышла. Вскоре вернулась, с ней другие медсестры и врач, который меня оперировал. Все что-то весело говорят друг другу, улыбаются. Одна из женщин погладила меня по голове — мол, все хорошо. Вечером я аккуратно собрал машинку. Пришла утром медсестра с термометром и видит: я, полулежа в постели, играю с целенькой машинкой — катаю ее по буграм и впадинам одеяла. Опять засмеялась и выбежала. Вернулась с той же компанией: все глядят на меня с изумлением, улыбаются, одобрительно кивают головами: "Вот какой молодец!" Они наверняка думали, что мне лет семь — я был маловат для своего возраста.

Страсть к починке всякой техники — игрушек, часов, электроприборов, патефонов, музыкальных инструментов — осталась у меня на всю жизнь.

Мария Самбрано

Между зрением и слухом

Из книги “Философия и образование: рукописи”

Перевод и вступление Бориса Дубина

Покровительница

Добрый гений испанской мысли, наследница нескольких поколений школьных учителей, университетских преподавателей, провинциальных журналистов и редакторов, дочь сверстника и друга Антонио Мачадо, Унамуно, Пио Барохи — славного грамматиста дона Бласа Хосе Самбрано Гарсиа де Карабанте, оставившего соотечественникам “Основы кастильского языка”, ставшие классическими, Мария Самбрано была с малых лет всякий день и самым тесным образом связана со звучащим и писаным испанским словом, а уже через него — со своей страной, ее природой и историей. Однако с землей и воздухом Испании ей, как и многим, после поражения Испанской республики пришлось расстаться. Всю зрелую, наиболее деятельную пору жизни — сорок пять лет — она провела далеко от Малаги, Сеговии и Гранады своего детства и от Мадрида своей юности, скитаясь по пансионам Нью-Йорка и Мехико, Гаваны и Сан-Хуана, Парижа, Рима и Женевы с верной младшей се-

© Ángel Casado
© Juana Sánchez-Gey
© Борис Дубин. Перевод, вступление, 2011
Редакция благодарит Фонд Марии Самбрано за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации.

строй Арасели и бесчисленными разномастными кошками. С миром ее опять-таки связывало слово — бесконечные, изо дня в день, частные разговоры и письма, не говоря о беспрерывных публичных выступлениях, статьях, книгах. А среди ее друзей, собеседников, конфидентов и корреспондентов были на протяжении десятилетий первые люди века, и вовсе не одни испанцы — это (назову лишь нескольких) Лорка и Ортега-и-Гассет (первая публикация Самбрано состоялась в его журнале "Западное обозрение"), Валье-Инклан и Хуан Рамон Хименес, Леон Фелипе и Хосе Бергамин, Луис Сернуда и Хосе Анхель Валенте, Сесар Вальехо и Октавио Пас, Камило Хосе Села и Хосе Лесама Лима, Габриэль Марсель и Рене Шар, Эмиль-Мишель Чоран и Альбер Камю (Камю вез в издательство "Галлимар" рекомендованный им французский перевод ее книги "Человек и божественное", когда погиб на бургундском шоссе, не доехав до Парижа).

Неудивительно, что ведущим мотивом написанного Самбрано стало изгнание, чужбина, где она чувствовала себя похороненной заживо, как героиня ее драмы и многих эссе Антигона. Другой, связанный с тем же, мотив — многолетнее, мучительное странничество, кружной и долгий, лабиринтообразный путь домой, сначала к Европе, а затем в Испанию; здесь ее герой — Одиссей. Наконец (после сказанного это понятно), вся жизнь Самбрано, можно сказать, прошла в соперничестве глаза и голоса — видимого прямо перед собой и того, что только доносят и о чем косвенно предупреждают звуки, всегда отсылающие к чему-то иному за пределами зримого и осязаемого; тут ее героиня — легендарная Диотима, направлявшая Платона к свету знания стезей любви. Для Самбрано путь к этим нездешним, но никогда не чужим краям самого важного в жизни указывает поэзия, прежде всего — лирика испанских мистиков, Святого Иоанна Креста (Хуана де ла Круса), Святой Тересы, сестры Хуаны (Хуаны Инес де ла Крус).

После двух названных великих монахинь и писательниц Мария Самбрано — вероятно, самая известная послушница испанской речи. А вместе с тем провидица и пророчица Испании, не зря Лесама Лима в своих стихах почтительно именовал ее "сивиллой", а неиссякаемую энергию, легкость на подъем и, буквально, вездесущесть сравнивал с "прыгучим зайчиком света". И наконец она — непререкаемый моральный авторитет нескольких поколений, незаменимая наперсница, исповедница и наставница многих и многих. Но при этом, опять-таки, не давящая правотой, а дающая свободу, в чем, мне кажется, и состоит значение и вместе с тем загадка ее личности.

Современный итальянский философ и писатель Массимо Каччари отнес нашу героиню к редкому разряду "счастливцев" (так называлась последняя книга Самбрано, вышедшая в 1990 году), связав это с тем, что она изначально и всегда исходила из "простой единичности каждого". О притягательности ее уникального личностного склада и о том, чем он был обоснован и обеспечен (а трудное становление личностью, "роды самого себя", по заглавию книги Самбрано, — еще один сквозной мотив ее мысли и слова), может быть, лучше всех сказал язвительный обычно Чоран в неожиданно восторженном для него коротком эссе "Мария Самбрано. Решающее присутствие". Он писал, что Самбрано "сохранила свою неповторимую суть, поставив опыт

Неразрешимого выше размышлений о нем и этим, в конечном счете, превзойдя философию…" Поэтому, продолжал Чоран, "…нас и тянет посоветоваться с ней в поворотные минуты жизни — накануне обращения в новую веру, разрыва, измены прежнему, в пору последних, непосильных и нестерпимых признаний. Мы хотим, чтобы она раскрыла и растолковала нам нас самих, в каком-то смысле дала нам мысленное отпущение и бесконечно примирила каждого с его пороками, отчаянием и столбняком".

Есть что-то, не принадлежащее по отдельности ни зрению, ни слуху, ни уху, ни глазу, но возникающее между ними. Так в химических реакциях из сочетания двух элементов образуется то или иное вещество. Допустим, вода. Чтобы этот процесс породил нечто новое, составные части должны быть разными или, если они — вещества сложные, содержать элемент, который отличен от них обоих и выделяется в ходе реакции. Иными словами, одинаковое всего лишь складывается, разное же, соединяясь, дает начало чему-то новому.

Конечно, поиск того, что происходит, когда два наших чувства объединяются, — дело не простое. Возникающее трудноуловимо, как, в конечном счете, все относящееся к нашей душевной жизни. Больше того: у каждого чувства есть помощники среди других чувств, тайные или явные. Разве мы знаем, сколько у нас чувств на самом деле? Разве нет чувств, которые нам пока неизвестны и либо скрыты в других, либо расположены в еще не опознанных зонах психики?

Я говорю не о физиологии, а о психологии, нас ведь интересуют чувства. Вернее, в этих заметках я исхожу даже не из психологии, а только из феноменологии — размышляю над показаниями наших чувств.

Мы совершенно не разбираемся в наших чувствах. Но для того чтобы стать личностью, необходимо понять, что ты чувствуешь, по возможности четко увидеть все, что в тебе происходит. Текущая в нас жизнь не отличается ясностью.

Чувства, точнее, то, что они до нас доносят, вырисовывается на определенном фоне. Свидетельства чувств предполагают и содержат в себе целый мир — может быть, даже мир как целое. Но делают это по-разному. Каждое чувство — это один из путей к реальности, один из способов до нее дойти. Иначе и быть не может, поскольку реальность неисчерпаема, а мы потеряли с ней непосредственный контакт, если вообще когда-нибудь его имели.

Зрение и слух — два главных чувства, они наиболее благородные и наиболее самостоятельные. Осязание и вкус — лишь вариации нашей общей способности чувствовать. Обоняние отчасти близко к слуху: оба вбирают реальность через длинные, извилистые ходы.

Слух поглощает звуки, это понятно. Но эти звуки воспринимаются как призывы, извещения, сигналы — они дают знать о чем-то приближающемся или уходящем. Внешний шум становится звуками только для чьего-то непроизвольного внимания, которое открывает нам больше, чем внимание направленное, — живущая в нас и движущая нами природная способность. Сколько раз мы, казалось, слышали чей-то зовущий голос, а это был просто раздавшийся звук, даже не принадлежавший живому существу: просто скрипнула дверь, задребезжало стекло. В ветре нам чудится плач, жалоба, стон. Шум, а тем более звук, разом охватывает душу, как будто слух это о́рган, теснее всего связанный с душой, ее тайнами, страхами, надеждами. И тогда, благодаря слуху и даже его ошибкам, мы можем почувствовать в себе самую последнюю, самую тайную, необъяснимую, но живущую в каждом надежду — быть названным по имени кем-то или чем-то неведомым, услышать, как нас наконец позвали. Различить зов, который дарит глубочайшую уверенность в том, что мы узнаны, узнаны целиком, раз и навсегда определены кем-то или чем-то, находящимся за пределами обыденности.

Слышимое трогает душу сильнее видимого. Крик жертвы потрясает еще острее, чем ее вид. Слово может сказать больше, чем присутствие человека въяве, если речь идет о том, чтобы ему поверить, поверить в него. Слышимому веришь больше, чем видимому. Это не имеет отношения к традиционной формуле веры, гласящей, что верить — значит верить в невидимое. Однако и сама эта традиции опирается на услышанное и сохраненное слово.

Между видимым и видящим всегда есть промежуток. Промежуток не просто физический — он существует и для слуха, — а душевный: это область действий того, кто видит. Физически подступая к предмету, чтобы лучше его рассмотреть, видящий в то же время отдаляется от него, чтобы выделить ему пространство, дать место. Так видимое превращается или должно превратиться в предмет. Слышимое, наоборот, входит прямо в душу, в самую глубину. Когда что-то рождает в нас двигательную реакцию, движение — если речь о видимом — заставляет приблизиться, чтобы к нему прикоснуться, неваж-

но, касаемся мы его на самом деле или нет. Если же речь о слышимом, то мы тоже к нему приближаемся, но не затем, чтобы коснуться. Смысл движения здесь в том, чтобы явиться или предстать перед скрытым, — это оно оповещает слух о том, что нам предстоит увидеть. Входящее через слух зовет присоединиться — вот почему Одиссей запечатывает себе уши воском, чтобы не слышать песни сирен. Голос — носитель судьбы.

1964

Хосе Бергамин

Лопе – земля и небо Испании

Эссе из книги "Приглушенный голос"

Перевод Ирины Ершовой

Чьим пламенем смутится воздух.
Кальдерон[1]

Создается ощущение, что судьба писателя – человека пера – есть не что иное, как оставшийся нам невидимый след его полета. Мимо проносится он. В полете проносится он.

Летит под небом. Летит над землей. Летит между небом и землей, между небесами и землями. Между небом и землей Испании, всегда любовно касаясь почвы, прежде чем взмыть ввысь, прижимаясь грудью к земле, вобрав ее в свое сердце, подобно ранней пташке, стремящейся взлететь в сияющие небеса как можно выше и круче, – Лопе де Вега, человек пера, пролетел сквозь свое время, пронес свое время в полете, под небом и над землей нашей Испании.

Пронестись сквозь время на лету и в полете! Сквозь время, что проходит, пролетает для нас!

Однако что же остается нам?

Что нам осталось от Лопе?

От его взлета и парения, от того завихрения слов, что выплеснул Лопе в воздух, наружу, в шлейф своего полета, в невидимый след своего голоса – нам остается его мысль, его поэзия.

Перо вспорхнуло в воздух
и оставило нам, удивленным этим взлетом, несколько парящих слов. Мы можем схватить их руками, словно пучок перьев.

От чтения Данте, по словам Х. Ортеги-и-Гассета, у нас сохраняется ощущение, что все, что осталось в ладони – горсть драгоценных камней; то, что осталось и хранится после прочтения Лопе – сокровище более легкое и невесомое, более изысканное и нежное, более легкое и окрыленное, воспоминание о чем-

1. Эпиграф из пьесы Кальдерона "Жизнь есть сон". Перевод К. Бальмонта. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

© José Bergamín, 1964
© Ирина Ершова. Перевод, 2011

то ускользающем, рвущемся прочь из наших рук. Так вырывается на свободу птица, оставив лишь пучок прелестных перышек.

> Я родился лишь с пером,
> как птица, хотя был человеком.

Что это за птица, этот человек с пером, коим был Лопе де Вега?

Что за птицей был наш парящий поэт, сумевший так пройти и перешагнуть из своего времени к нам, так донести до нас свое слово, свою поэзию?

Как мог некий человек, просто прохожий, прорваться сквозь время своим голосом, передав с ним свое наследие и свою жизнь, которые мы называем бессмертными?

Что уцелело от всего этого — от того поэта и от его жизни, такой далекой и одновременно близкой, от той жизни, как и от той поэзии, что отдаляет и вместе с тем приближает его эпоху к нашей?

> Времена всегда полны перемен,
> никогда — постоянства.

Времена меняются. Все движется вместе со временем. Движемся и мы, проживая время, наше время. Проживаем мы его или теряем?

В Бургосе, на воротах старого кладбища, есть надпись, которая гласит: "Отмерено твое время и быстротечен его полет; горе тебе навечно, если упустишь его!"

Мы все знакомы, или полагаем, что знакомы, с тем, как утекает сквозь пальцы время, как проходит время. Но уверены ли мы, что знаем, как оно измеряется, как мерит нас самих? Как это — сосчитать время? Не это ли и есть история, наша история?

Сообщая о том, что нечто *осталось в истории*, мы, похоже, ведем речь о двух разных вещах. В первом случае, оставляя нечто в истории, мы признаем бессмертие этого чего-то, причем бессмертие закрепленное, можно сказать, в факте и в букве — мы словно бы увековечиваем это окончательное бессмертие словесной формулой. Во втором — это своего рода желание скинуть камень с плеч: "нечто", говорим мы, "ушло, кануло в историю". Мы словно хотим сказать: не стоит говорить о чем-то; нас это больше не заботит. И снова, так буквально, оставить нечто в истории, по сути, означает поставить значок или сделать помету в записной книжке, чтобы однажды, в нужную минуту, она напомнила нам о том, что сию минуту данное явление нам не интересно и не важно.

Таким образом, самое важное и занимательное — не то, что уходит или уже ушло в прошлое, что мы забираем из жизни и оставляем в истории, дабы больше не задумываться об этом, а нечто обратное — то, что история сохраняет ради нас, что она донесла до нас, вписывая в нашу собственную жизнь.

Уходить в прошлое — значит умирать. Если мы остались в истории, значит, мы умерли. Удивительное дело: хотя главное, если не единственное, что нас заботит, — это жизнь, мы великодушно ода-

риваем остальных фактическим или литературным бессмертием смерти, уходом в историю, лишь для того, чтобы не приходилось вновь размышлять о них.

Однако время от времени, по чисто хронологической причине созвучия, совпадения временных пространств — при линейном, пространственном развертывании времени, отделяющем нас от времени другого человека, от времен других людей, мы из этой фактической или литературной истории, словно из старинного гардероба, извлекаем — дабы оно засияло с прежним или новым блеском — какое-нибудь древнее имя, а вместе с ним человека и его судьбу. Вот тогда-то мы и прозреваем великую истину: история существует для нас, а не мы — для истории. Она движет нами, уводит нас к жизни длящейся. Непрерывной. Остается, не попадая в человеческую историю, то, что записано дословно, буква за буквой, в точном соответствии с фактом, — своего рода метка или порядковый номер памяти, бессмысленный знак. Историки проводят время, расшифровывая или пытаясь расшифровать эти ничего не значащие иероглифы — вот один из способов, подобно прочим, а может, и в большей степени, чем прочие, растрачивать время. Так же как писать свои воспоминания на бумаге. Это все пустые слова. То, что на самом деле доходит, доносится до нас, совсем иное: то, что остается от нас без нас — это отзвук голоса, невидимый след полета.

И все же именно человек пера — его также неверно именуют "человеком буквы"[1] — является тем, кто пишет историю и летопись своей жизни, историю и летопись своего времени, своей эпохи. И эти истории проходят свой путь, чтобы в итоге погрузиться в забвение или удержаться — легкие, невесомые — на плаву, странствуя и черпая из собственной легкости основание и смысл своего постоянства.

А потому *человек пера* и *человек буквы* —не одно и то же, а нечто совершенно противоположное. Даже если перо превращается в шпагу, в клинок, яростно и глубоко проникающий в нашу мысль словом. Ибо это стальное перо — или золотое перо — движется в воздухе, порывом воздуха, ради воздуха, как и все перья. Словом и в слове, иначе говоря, духом. Человек пера — это человек живых слов, а не мертвых букв. Человек пера — это человек духа; человек легких, странствующих, летучих слов; человек летящих в воздухе слов.

Слова — это воздух, они выходят с дыханием, как *вздохи* у Беккера[2]. И в каждом из них, быть может, подобно рождающимся из шорохов и

1. Бергамин использует и противопоставляет буквальный смысл выражений "hombre de pluma", "hombre de letras" (*исп.* "писатель"), поэтому в тексте дан их дословный перевод.
2. Бергамин цитирует первую строку четверостишия поэта-романтика Густаво Адольфо Беккера, звучащую в переводе М. Квятковской так: "Вздохи — всего лишь ветер и с ветром по свету бродят..."

вздохов средневековым поверьям, затерялась капелька крови.

Лопе, само испанское жизнелюбие, был поэтом, воплощенным человеком пера. Или как сказал бы Карлейль: "Герой как поэт"[1]. Хотя это определение героя может показаться нам сомнительным. Мне, в частности, так и кажется. Как и с великими людьми. Герой, великий человек, ни в коем случае не может быть человеком пера, ибо герой, великий человек, — это, на мой взгляд, человек с перьями. С той самой минуты, как он стал героем, с момента его включения в историю он сразу же обнаруживает себя, сразу виден плюмаж на его шлеме. Перья пустого тщеславия. На шлеме героя они смотрятся так же, как перьевые султаны на оголовьях лошадей, впряженных в повозку смерти, в погребальные дроги, их носят на голове, они водружены на голову, как и у лошадей, помпезно тянущих за собой пустую повозку. Торжественнейший знак тщеты собственной смерти. Эти слова о героях, о великих мужах я мог бы отнести и к великим народам, народам героическим.

Лопе не был ни таким героем, ни таким великим мужем. Совсем наоборот. Он был человеком очень легким — из самых легких, из самых невесомых; истинный человек пера, каким он себя считал.

А есть еще люди свинца. Их тоже неверно было бы причислять к героям. Ведь человек свинца, если он и в самом деле таков, это человек духа. Не меньше, чем человек окрыленный. Таких обычно и в жизни, и в истории называют "человек действия". И справедливо, потому что люди пера поглощены лишь страстями — вот почему они писатели, поэты. Они, можно сказать, легче воздуха, люди свинца — тяжелее. Но и те и другие связаны с воздухом и полетом. Иначе говоря, они совпадают в духе и истине. В духе истины, как и в истине духа. Они тождественны своим революционным порывом, воплощенным в полете, и порыв этот удерживает их в потоке воздуха. Мы сказали бы, это люди постоянного обращения — как звезды. Люди-движители, они подвижны и движимы бунтарским порывом.

Однако я принялся рассуждать о революции, позабыв объявить, что Лопе был революционным поэтом.

Лопе был великим поэтом-мятежником. Великим народным поэтом.

Я не открываю здесь ничего нового, речь идет о двух наиболее известных и сущностных свойствах его стиля.

Менендес-и-Пелайо, характеризуя театр, сотворенный Лопе де Вега, определял его так: "Испанский театр, независимый и революционный".

Я же хотел бы подчеркнуть связь между этими двумя определениями, добавив к ним третье, способствующее успеху Лопе.

1. Из работы английского писателя, историка и философа Т. Карлейля "Герои, почитание героев и героическое в истории".

Был ли театр Лопе народным в силу своей "испанскости", в силу присущих национальному сознанию независимости и бунтарского духа? Или он обрел свою независимость и революционность, став народным?

Нам стоило бы задуматься, в чем же суть народности этого театра, созданного человеком пера, писателем, поэтом.

Народ для театра Лопе де Вега — что это? То же что и публика? Был ли среди его публики народ, народ собственной персоной, тот самый народ, который вынудил Лопе творить его революционный театр? Он утверждал — да! Сей человек пера весьма иронично рассуждал на эту тему языком литературы того времени, утверждая, что стремится отдать должное вкусу толпы, который не что иное, как выражение народной воли — "гнев зрителя-испанца", бунтующий гнев испанского народа:

...гнев
Зрителя-испанца не угомонится,
Коль не изобразят ему
за два часа
События от Бытия
до Страшного суда.

Гнев этот сродни раздражению ребенка, сродни нетерпению детства. Это тяга, горячее желание прожить всю жизнь в настоящем, без прошлого и будущего. "Вся жизнь — единый миг", вся жизнь лишь момент, теперь, сейчас, — говорил Лопе. Ведь хорошо известно, что у детей нет ничего, кроме настоящего, что реальность для них заключена только в таком способе существования — без прошлого и без будущего. Она — в слове, в отрицании времени. Ребенок воспринимает вечность, как явление звезд; для него всякое движение жизни — это вращение вокруг себя, это живой бунтарский порыв, порыв воображаемый, вселенский, вне развития и прогресса, непрекращающееся вращение. Так же воспринимает жизнь и народ, который сам по себе, быть может, есть не что иное, как живое воплощение универсального проявления детства, множественность ликов детства. Народ сам ощущает, что живет тем самым детским способом — вечным, воображаемым, космическим, живет в постоянном брожении. Именно поэтому нас так поражает это *присутствие духа* в детях и народах. Так оно и есть на самом деле: быть ребенком и быть народом — значит являть собой предельное состояние присутствия духа. Они исполнены Духа. Устами ребенка и гласом народа говорит сам Бог. Христова весть призывает быть или становиться подобным ребенку ради обретения вечного спасения, вечной жизни, ради неувядающего революционного духа в нас — это и есть жизнь духовная, жизнь в вере. Тогда и становится ясен смысл вековой истины: глас народа есть глас Божий. У Бога есть голос, но он не слышен. Народ говорит лишь одним способом — бунтуя, потому что дух, гласящий устами народа, не есть понятие временно́е, последовательное и преходящее, оно вечное, постоянное, наличествующее, дух не процесс, это взрыв.

Именно этот дух — божественный, детский, народный — наш Лопе, человек пера, смог ухватить и передать своим словом, уловить в воздухе и передать парящим словом. Именно потому в его театре слышен чистый детский голос, извечный голос испанского народа, исполненный духа: живой поток народной испанской речи обнажает его нетерпеливую, страстную революционную волю.

Люди буквы того времени, естественно, не раз закидывали упреками Лопе, человека пера; его попрекали литераторы, звавшиеся в ту эпоху защитниками традиций и поборниками порядка. На него нападали за бунтарство и неграмотность. И справедливо, ведь действительно, именно от народности и детскости, от этого присутствия духа в ребенке и народе, исходит духовная непросвещенность. Ребенок перестанет быть ребенком, если утратит свою неграмотность. Как и народ. Народы умирают тогда, когда научаются грамоте, подобно детям, когда отрекаются от духовности, когда утрачивают вкус жизни ради того, чтобы взамен научиться буквам, последовательному порядку слов — этому буквальному движению к смерти. Одним словом, народы умирают как народы, когда они отвергают бунт, духовную непросвещенность революции, ее злободневность и неизменность. Народы умирают, когда начинают полагаться на незыблемый порядок истории или подчиняться ему, когда следуют за историей, вместо того чтобы делать ее, творить ее, вместо того чтобы история следовала за ними, продлевая их, унося их в вечность. Повторю, народы умирают, стоит им сдаться этому алфавитному порядку, существующему во времени, в последовательности, в развитии — порядку, который обездвиживает их, разрушая всеобщим прогрессирующим параличом наступающей учености; они умирают, стоит им отринуть разумный, одухотворенный, примитивный ход революции, революционного движения их духа.

Народ, как и дитя, в силу самой своей природы, есть революционный порыв — действенный, непрекращающийся; это живая революция, скрытая и явная, злободневная и действенная.

Свобода и справедливость — два *предельных* понятия, два полюса, которые всегда организуют любое революционное движение. Всякая революция — реальная или поэтическая — испытывается ими. Свобода — это нечто парящее, оперенное. Нечто летящее. Справедливость — это нечто свинцовое, земное. Справедливость — несгибаемая прямота, врастающая в землю, тогда как свобода — несгибаемая стойкость, устремленная в небо. Человек пера, каким был Лопе, — это всегда бунт свободы. Человек свинца — таким был Ленин — это всегда бунт справедливости. Вот только похоже, что, настойчиво стремясь стать такими, как того требует стойкость воли, упорно смотря вниз, в пол, в землю, люди свинца забывают о

свободе, пренебрегают ею. Однако и людям пера не стоило бы никогда забывать о том, что революционная справедливость должна действовать осмотрительно — ноги, давящие виноград ради вина, налиты свинцовой силой. Порой люди пера, как Лопе, имеют обыкновение — упиваясь своим полетом, неуклонно следуя путем, указанным сильной божественной волей, — забывать о земном, забывать бросить взгляд вниз. Им случается забывать о чаяниях правды.

Лопе — плоть и дух Испании — был поэтом-мятежником, поэтом свободы. Но никогда не забывал он о правде. Никогда не предавал ее. Из-за этого вставали против него люди буквы, его современники, те, что защищали ученый строй поэзии. Следуя за живым потоком народной речи, припадая к его источнику, бьющему и изливающемуся источнику духа, Лопе отстаивал непросвещенность народа, новый порядок, порядок духа, подлинную революцию. Страстно и яростно, словом, поэзией, порывом воздуха перевернул он театр, внеся в него жизнь, и свою жизнь — театром.

Лопе де Вега, наш великий национальный поэт-революционер, раскрыл Испанию навстречу свету, возжег свободу в небесах ее и в землях ее. Отворил ее и оставил открытой. Он открыл ее дуновению духа, всем ветрам духа, и в вышине, и в низине — как мягкому дуновению Гермесовых ветерков зари в небесах, так и дионисийской земной страсти революционного вихря.

Лопе, открывший Испанию.

Лопе, открывающий Испанию.

Театр Лопе, поэзия Лопе открывают нам Испанию. Распахивают настежь, словно окно. Мы видим — земли и небеса, небо и землю, небо и почву; сияющие, объятые солнцем истины, солнцем, про которое говорят, что оно "жжет как раскаленный металл". Видим мы и безмятежность звездного неба — зримое присутствие духа в вечном брожении звезд.

Лопе, плоть и дух Испании, той Испании, что вместе с ним распахнулась свету, ветру, тревожному беспокойству, духовному, изначальному беспокойству новой жизни, Лопе, человек пера, бунтарь, а значит, поэт любви, веры, надежды, был народным поэтом, и, будучи таковым, он сотворил, породил своей жизнью и своей поэзией новый порядок.

Этому новому порядку, порядку созидания, мысли, Лопе научился у народа, он был обучен народом, его божественным, неученым, исполненным духа голосом, голосом извечной и глубинной жизни.

Народы, как говорят, никогда не учатся. Это правда. Народы не учатся, они обучаются. Как дети. И подобно детям, когда они учатся, единственное, чему они могут выучиться, это перестать быть собой. Перестать быть тем, что они есть: перестать быть народом, перестать быть детьми. Они научаются стареть и умирать. Это именуют процессом политического воспитания. Они учатся загнивать. Умирать от тоски. Подчинять-

ся в конце концов смертельному диктату времени, всех времен. Давлению власти и давящей сытости червей.

Будет ли судьба Испании, Испании Лопе, такой несчастной и печальной, суждено ли ей так стариться и умирать? Какова будет судьба народа, народа Лопе, испанского народа, свободного и мятежного?

В XIX веке в Испании ее народ совершил революцию пера, оперенную революцию, революцию свободы. Но почему не произошла у нас революция свинца, революция справедливости?

Однако вернемся к Лопе, вернее последуем за нашим Лопе де Вега, полагавшим справедливой свободу и свободной правду, ведь его учителем стал тот самый испанский народный гнев, бунтарски требовавший свободы и правды. Научившись творить новый порядок, он усвоил — по его собственным словам — и то, что революция несомненно является единственной причиной, единственным законом, единственным законным источником всякого нового порядка:

Я пишу согласно вкусу,
изобретенному
Теми, кто толпы
рукоплесканий ищет,
Ведь если платит чернь,
справедливо
Нести чушь, чтобы доставить ей
удовольствие.

Поскольку полагая, что гнев
Зрителя-испанца не угомонится,
Коль не изобразят ему
за два часа
События от Бытия
до Страшного суда,
Решаю так — коль должно вкусу
угодить его,
Все, чем достигнем этой цели,
справедливо.

Часть этих утверждений очевидно отдает пустословием.

Что справедливого в том, чтобы так вольно отзываться на капризные требования, которые к тому же кажутся нам глупыми и вульгарными?

Как кажется, нет ничего более демагогического, чем эти слова, однако, в действительности, нет и ничего более революционного, чем повиновение нашего поэта народной воле, бунтующей столь причудливо, что понятия свободы и справедливости в ней оказываются неразличимыми и, по сути, неотличимыми от инстинкта. Жизненного инстинкта, инстинкта раздражаться, беспокоиться, гневаться, "коль не изобразят ему за два часа / События от Бытия до Страшного суда". Другими словами, потому что народ хочет и хочет всего в один момент, и этот момент — настоящее, всегда настоящее. Иного времени он не хочет.

Испанская публика нашего Лопе, свободная и мятежная, не хочет терять время. Она не желает, чтобы время проходило, она не желает видеть его уходящим. Чего хочет публика, так это чтобы времени не было. Чего она хочет, так это уничтожить время. Она жаждет быть, существовать, она желает жить вечно. Она желает длить и продлевать: оставаться. В конце концов, она не хочет умирать. Она желает, чтобы ей рассказывали сказку,

которая никогда не заканчивается, как детям — еще и еще раз. Публика желает звезд, ей нужна нескончаемая революция.

Обычай и полет, справедливость и свобода — именно они лежат в глубине этой извечной яростной воли. Потому и сумел Лопе обнаружить глубоко в основании этого инстинктивного способа существования своего народа сам народ, народ собственной персоной. Народ — собственной персоной, ибо народ — личность, а не толпа. Народ — не масса. Когда народ становится массой, он перестает быть народом, ведь тогда он перестает быть личностью, превращаясь в нечто инертное, без правды, без свободы. Нет ничего легче, чем управлять подобной массой, народом, сбившимся в массу. Это самый бездарный из Маккиавеллиевых секретов всех современных тираний. Напротив, нет ничего более сложного, более невозможного, чем противостоять воле, святейшей воле народа, народа собственной персоной, народа свободного и требующего справедливости.

Лопе удалось отразить этот драматический народный характер в своем театре — он всегда там. Я вновь вспоминаю "Фуэнте Овехуну", драму о народе как личности, о народе в его драматических судьбах.

И сам Лопе был человеком народным, революционным. Для нас Лопе, человек пера, стал мерилом свободной личности: он воплотил и утвердил своим словом — своей поэзией, своим театром — ту самую волю и извечную мятежность духа, которые и есть сам народ. Святая божественная воля, отразившаяся в невидимом отзвуке народного голоса, еще доносится до нас в шлейфе его полета, над землей, под небесами его Испании, она и есть наша Испания. Испания, нация которой — народ, потому что народ всегда нечто сегодняшнее, постоянное (тем самым он революция, а не эволюция; дух, а не буква); народ всегда есть, нарождающийся, возрождающийся вновь, он лишь тень прошлого, как ребенок. Ведь это безмолвная и трепетная полнота грядущего; мрачное обещание, что взорвет будущее.

Если Лопе живет среди нас, то только потому, что жив народ и живы в нем тот гнев, то нетерпение, то воодушевление, что взбунтовали нашего поэта, подняли его голос, как перо, вознесли его голос — в самую высь, в самую даль, чистую и сверкающую, в воздух, в небеса нашей Испании.

Кто сумеет — спрашивает нас Лопе — остановить полет птицы?

> Кто, приоткрывая воздушный
> занавес, задержит полет птицы,
> забрызгивая частичками свинца
> лазурный
> плащ, на который я натолкнулся,
> пролетая?

Я пытался едва лишь приоткрыть — едва приподнимая с превеликими усилиями, дуновением воздуха или в воздухе, — этот "воздушный занавес" на-

шего Лопе, не затем, чтобы "задержать полет птицы", — Лопе был нешуточной птицей! — но затем, чтобы явить вашему взору его вершинное место: над землей, под небом нашей Испании, чтобы показать его полет легким всполохом моей мысли, моими словами, этим словесным залпом в воздух, "частичками свинца", почти не коснувшимися "лазурного плаща", на который наш поэт "натолкнулся, пролетая", словно птица. Это небесный лазурный плащ его свободы, свободы по-революционному оправданной соответствием обновленному духовному порядку.

Я не хотел "вытаскивать" из Лопе ничего, кроме того что о нем говорят обычно. Я взял очевидную идею, несерьезную, самую легкую, давнюю идею. Легкая и быстрая мысль, несерьезная мысль, давняя мысль — это и есть самая подходящая идея в разговоре о Лопе де Вега, о поэте, о человеке пера. Самая верная, самая справедливая, самая точная: своей беспечностью, стремительностью, древностью и легкостью, своим витанием в воздухе, своей невесомостью и отдаленностью.

Идея, вызванная в памяти его словами, воплотившимися в живые образы его почвы и его полета: плоть и дух Испании. Идея, отразившая сладостный образ нашего народного поэта, человека пера, свободного и мятежного испанца.

Бургос, 1935 г.

Наталья Ванханен

"По-королевски, без фальши"

О книге Анатолия Гелескула "Огни в океане"[1]

Вышла книга избранных переводов с испанского и португальского Анатолия Гелескула.

Уже стало общим местом, что переводчик — это голос за кадром. Он невидим, незаметен, мало известен. Он вроде как даже обязан к этой своей "шапке невидимке" тянуться: говорить-то следует поэтам, которых он переводит, не ему самому.

Или вообразите только: прославленный артист кукольного театра! То есть бывает, конечно, взять хоть Образцова, однако, как правило, человек, говорящий то голосом Пьеро, то Коломбины, зрителю лично не знаком.

Нет, не в обиду будь сказано поэтам, классикам и современникам — я вовсе не сравниваю их с ведóмыми марионетками. И все же они зависимы, и весьма зависимы от человека, берущегося передать самую суть их высказывания на чужом языке, который зачастую иначе организован, имеет иную мелодику и наполнен другими ассоциациями.

Как, например, русскому, никогда не видавшему Испании, понять испанскую пословицу, в буквальном переводе звучащую так: "Если река шумит, значит, вода в ней есть"? (Означает она то же, что наше "Нет дыма без огня".) А что, спросит он, в реке может не быть воды? И разве река непременно должна шуметь? Вон Нева или там Волга — воды залейся, а тихо.

А невдомек ему, что реки в Испании ничуть не похожи на наши. Обычно они капризны и переменчивы: подтаял снег в горах — наполнились, пришла засуха — обмелели, а то и вовсе высохли, хоть бери метлу и подметай русло, если охота.

Это я к тому, что при слове "река" у испанца и у русского возникают совершенно разные ассоциации. А что в поэзии важнее ассоциаций? Мысль? Музыка?

Музыкантам и живописцам повезло больше — их искусство, как известно, перевода не требует. Композитору, тем не менее, важен исполнитель. Многим, наверное, приходилось слышать на концерте возмущенный шепот: "Господи, что он играет! Он же ничего не понял!" Или, напротив, ловить завистливое восхищение: "Ведь совсем ребенок исполнитель-

© Наталья Ванханен, 2011

Анатолий Гелескул. Огни в океане. Переводы с испанского и португальского / Сост. Н. Р. Малиновская. — М.: Центр книги ВГБИЛ имени М. И. Рудомино, 2011.

то. Что он может в этих чувствах понимать? А ведь как точно сыграно! Поразительно!"

Заблуждается тот, кто думает: выучу немецкий, прочту Рильке в подлиннике, без всяких посредников. Да, прочтет, если вообще привык и умеет читать поэзию — свою, родную. Прочтет, если сумеет вникнуть в мир иноязычной поэзии, в мир самого Рильке. А нет — иноязычный поэт так и останется за семью печатями. Даром что язык выучил.

Переводчик — толкователь, интерпретатор, исполнитель стихотворения на другом языковом инструменте. Чем этот исполнитель тоньше и виртуознее, тем больше у нас возможностей получить на родном языке настоящего Рильке или Шекспира.

Анатолия Гелескула не надо представлять читателю. Он стал первым лауреатом премии "Мастер" в области перевода, да, впрочем, не в премиях тут дело. Его Лоркой зачитывались уже в шестидесятых: "Цыганский романсеро" стал для целого поколения открытием — в самой русской поэзии появился новый звук, новая образность, иной мир для нас распахнулся, трагический и прекрасный. Настоящий.

По-испански "настоящий" — "real". И "королевский" так же точно. Реалом называлась старинная испанская монета. Почему, понятно. Человек пробовал золотой на зуб: "real o no", то есть королевским монетным двором отчеканено или фальшивка? Таким образом, "по-настоящему" означает "по-королевски". Анатолий Гелескул и одаривает нас иностранной поэзией в своих переводах — по-королевски, без фальши.

"Огни в океане" — четвертая книга его избранных переводов. В 1993 увидел свет сборник "Темные птицы", включавший его переводы из испанской, французской, немецкой, португальской, польской поэзии. Пять тысяч экземпляров разлетелись мгновенно, эту книжку давно уже невозможно достать. В 2006 вышло расширенное "Избранное" — переводы Гелескула в серии "Мастера перевода". Год назад отдельной книгой появились его переводы польской поэзии — работа поразительная не только по качеству, но и по объему: мы-то, испанисты, грешным делом числили его в основном по своему ведомству, а тут оказалось, что Польша значит в его жизни не меньше, чем Испания!

И вот наконец — и впервые! — книга переводов только испано-язычной и португало-язычной поэзии. Впрочем, нет, не совсем. Есть ведь еще и галисийская поэтесса Росалия де Кастро. Точнее, наверное, было бы выразиться так: поэзия Пиренейского полуострова и стран, вовлеченных в его орбиту.

Сам переводчик в предисловии, как всегда с гелескуловской образностью, говорит об особенностях этой оконечности Европы, о древности и культурной бездонности полуострова, о его камнях и корнях. Корни у испанской поэзии такие же глубоко уходящие в почву, как и у растений этой выжженной каменистой земли. В книге есть заметки переводчика о каждом из переводимых

поэтов — он называет их заметками на полях. В одной пересказан разговор поэта Мигеля Эрнандеса со скульптором Альберто Санчесом. Оба они, тогда совсем молодые люди, бродили по полям в окрестностях Мадрида, в окраинном районе Вальекас (теперь там никаких полей — город), срывали пахучие стебельки тимьяна, удивляясь, какой длинный и причудливо изогнутый у него корень — как жизненный путь человека. Вот только редко какая жизнь издает такой аромат, заметил Мигель Эрнандес.

Переводы Анатолия Гелескула доносят до читателя аромат Кастилии и Андалусии, дух времени, запах и звук минувших веков. Он так говорит с нами словами Кеведо и Гарсиласо, языком монаха-кармелита, мистика и мученика, а главное, поэта — Сан Хуана де ла Крус, что, кажется, он знал всех этих людей и они рассказали ему обо всем самом главном. А главным всегда остается одно и то же — любовь, смерть, вера, — как бы мы ни порывались легкомысленно об этом забыть.

Кстати, если бы "заметки на полях" были изданы отдельным изданием, вышла бы самостоятельная, бесконечно интересная книга — столько в них неожиданных наблюдений, глубокого понимания слова, а порой и невероятной эрудиции. Я уж не говорю о живом языке и вспыхивающих тут и там блёстках юмора. Чего стоит, например, остроумная находка в авторском предисловии — перевод стихотворения немецкого поэта Моргенштерна:

Беседа рыб

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ -
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ -

Перевел А. Гелескул

И в стихах, и в прозе Гелескул верен поэзии. Знаток и переводчик Хименеса, он приводит его слова: "Мы слабы, когда слабеет в нас поэзия жизни. Давайте же доверять нашей подлинной силе". Вольное дыхание поэзии живет в этой книге, созданной на протяжении почти что полувека. В нее включены не только знакомые нам стихи и переработанные варианты уже известных стихотворений — Гелескул из тех немногих, у кого творческий процесс никогда не затухает, а всякий вариант не окончателен, — но и совершенно новые работы последних лет. И всегда забываешь, что перед тобой перевод. Просто читаешь прекрасные стихи:

Эта жизнь моя,
камешек легкий,
словно ты. Словно ты,
перелетный,
словно ты,
скиталец убогий,
сирота проезжей дороги;
словно ты,
певучий клубочек,
бубенец дорог и обочин...

Это Леон Фелипе Камино, XX век. До чего же по ритму, по звуку это близко к подлиннику! Я слышала, как песню на эти стихи, по-испански разумеется, пел Пако Ибаньес, легендарный бард, вроде нашего Окуд-

жавы или Галича. Одно существенное отличие: он, как правило, пел не свои слова, а сочинял мелодии на стихи известных поэтов. Так вот, по-моему, перевод этого стихотворения точно ложится на музыку Пако. Случай редчайший, ведь для музыкальных произведений обычно приходится "подгонять строку", делая так называемый эквиритмический перевод. Леон Фелипе — одна из ранних работ Анатолия Гелескула, и чуть ли ни первая его публикация. Она попалась на глаза Анне Ахматовой, и та пришла в восторг. Правда, переводчик уверяет, что ее восхитил не "камешек", а другое стихотворение, которое ему самому, кажется, нравилось меньше. Называется оно "Дознание":

...И кто-то приказал мне: —
Говори!
Припомни всё. Припомни,
что ты видел...

"Должно быть, что-то ей там лично оказалось близким", — говорил Анатолий Михайлович. Как бы там ни было, вскоре состоялось их знакомство.

Много лет переводчик посвятил собиранию и переводу народной испанской песни, которую всегда считал родником, питающим поэзию Испании. В этой книге испанские песни стали важным, заключительным разделом. Переводить их трудно, почти невозможно. Потому что, как бы поточнее выразиться, нет никаких формальных зацепок: стон и вздох — какими словами их передать?

Пройдет и моя любовь,
пройдет и моя беда,
и слезы мои пройдут,
и все пройдет навсегда.

Книга названа "Огни в океане". Почему? Ответ в словах того же Леона Фелипе: "Поэзия для меня — лишь система световых сигналов. Костры, которые мы зажигаем во тьме, чтобы кто-то нас видел, чтобы нас не забыли... Такова моя эстетика — эстетика корабля, блуждающего в тумане. Сегодня, как никогда, поэзия для меня — организованное и организующее пламя, знак, зов и зарево бедствия".

Прочитав это, я сказала Наталье Малиновской, составителю и комментатору книги:

— Ну да, понятно: кругом туман, а тут вдруг свет, ясность какая-то.

— Да нет же, — отозвалась она. — Просто в океане думаешь, что ты — один. А оказывается — нет.

Карен Степанян

Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени[1]

Как писал М. Бахтин, каждое крупное художественное произведение, входящее в "большое время", обогащается "новыми значениями, новыми смыслами", все более раскрывая заложенное в нем содержание. Нередко это происходит в результате встречи с другим крупным художественным явлением: "один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим <...> смыслом: между ними начинается как бы *диалог*"[2]. К романам "Дон Кихот" и "Идиот" это относится в высшей степени. Со времени создания первого из этих гениальных произведений прошло почти четыре века, второго — около ста сорока лет, но можем ли мы сказать, что поняли хотя бы в главном ту правду о человеке и человечестве, которая заложена в них? Осмелимся сказать, что далеко не полностью (по ироническому замечанию испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета, "Сервантес на небесах все вслушивается в наши споры о его романе, ожидая, когда у него родится внук, чтобы понять его"[1]; то же можно с еще большим правом сказать о Достоевском). Споры, активно ведущиеся сейчас в России вокруг романа "Идиот", помогают по-новому понять и роман "Дон Кихот", и, главное, перекличку этих произведений через века. Но еще более важен диалог — опять же в бахтинском понимании — между "завершенными высказываниями" их авторов, Достоевского и Сервантеса, в

© Карен Степанян, 2011

1. Монография К. А. Степаняна "Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени" готовится к печати в издательстве "Языки славянских культур". Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 10-04-93801к/К.

2. М. М. Бахтин Ответ на вопрос редакции "Нового мира" // М. М. Бахтин Собрание сочинений. — Т. 6. — М.: Русские словари. Языки славянской культуры, 2002, с. 454–457. Здесь и далее во всех цитатах слова, выделенные автором цитаты, даются курсивом; выделенные нами — жирным шрифтом.

1. Смысл тут, видимо, в том, что Дон Кихота Сервантес в Прологе романа называл своим "сыном". Цит. по: Isabel Martinez Pita. Largo, pero bueno: El lenguaje esotérico de Don Quijote de la Mancha (http://www.chilewarez.cl/foros/showthread.php/24189-Mensajes-ocultos-en-quot-el-Quijote-quot-).

контексте мировой культуры, духовного развития Испании и России.

Есть немало общего в биографиях Сервантеса и Достоевского. Оба происходили из старинных, но обедневших дворянских родов. Оба узнали в молодости тяготы военной службы и вынесли почти одинаковый срок (4–5 лет) тягчайшей неволи: сибирская каторга у Достоевского и алжирский плен у Сервантеса. Мы помним о пережитом Достоевским ожидании неминуемой смертной казни, отмененной в последний момент. Сервантесу такие страшные мгновения пришлось вынести даже несколько раз, когда срывались организованные им попытки побега из алжирского плена.

Надо ли говорить, сколь многое дал обоим писателям этот *уникальный* в истории мировой литературы опыт — опыт существования в условиях экстремальных, выявляющих все свойства человеческой натуры, вплоть до пребывания *буквально* на грани жизни и смерти? Кстати, интересно, что и тот, и другой вышли на свободу, когда им исполнилось 33 года. Свою литературную деятельность Сервантес начал, как и Достоевский, с драматического жанра (впоследствии *драматургичность* их романов будут отмечать как совершенно особое в мировой прозе явление). Обоим приходилось почти всю жизнь отчаянно бороться с нищетой.

Очень схожи типологически и те ситуации, в которых создавали свои шедевры испанский и русский писатели.

"Есть мировая перекличка от страны к стране", — писал Константин Бальмонт[1]. Многое объединяет Испанию и Россию. В период Реконкисты, восстанавливая и вновь создавая свое государство в противоборстве с иноземными захватчиками, испанцы опирались на веру как основу жизни нации — как и Россия в эти же времена и позже, противостоя татарам, немцам, шведам и полякам; и потом еще много веков *религиозность* отмечали как одну из определяющих особенностей русского и испанского менталитета. Очень важно и нахождение в некоем пограничье между европейским и мусульманским, западным и восточным мирами и культурами, а также между Европой и Америкой (Латинской) — как Россия между Европой и Азией. Испанский литературовед Г. Диас-Плаха пишет: "Как не отметить тот исторический факт, что в прошлом и Испания, и Россия складывались в пограничных зонах, на окраинах Европы? <...> И вы и мы чувствуем себя частью Европы, но вместе с тем умеем взглянуть на европейскую культуру извне, из более широкого исторического контекста"[2]. И, рискнем сказать, *на пике этого схождения двух духовных континентов – России и Испании – находятся именно Достоевский и Серван-*

1. Константин Бальмонт. Малое приношение // http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0740.shtml
2. Г. Диас-Плаха. От Сервантеса до наших дней / Перевод с испанского. — М.: Прогресс, 1981, с. 6–7.

тес. Совершенно не случайно писал Юрий Айхенвальд: "Пускай Испания – историческая родина Дон Кихота. В России он нашел себе второе отечество"[1].

Кризисная для традиционных ценностей эпоха Возрождения в Испании имела свою специфику – и философскую, и литературную. Замечательный испанский поэт и философ Мигель де Унамуно писал: Испания "прошла, по необходимости, через Возрождение, Реформацию и Революцию, кое-чему научившись, правда, у них, но сохранив нетронутой свою душу..."[2]. "В эпоху Возрождения (XVI–XVII вв.) испанский гуманизм органически вобрал в себя средневековое мироощущение, поэтому испанская философия (того времени. - *К. С.*) имела скорее религиозный, чем светский характер"[3]. А один из крупнейших современных испанских писателей Хосе Лосано Хименес утверждал, что "в Испании Возрождение носило литературный характер" и литература обретала "статус способа познания реальности, т. е. возможности говорить об истине и мыслить через повествование – что так заботило самого Сервантеса"[1].

Русская религиозная философия, начиная с последней трети XIX в., ставила перед собой те же задачи: осмысление роли человека в мироздании, определение границ его свободы и степени ответственности за мировое зло, перспективы его грядущего обновления. Но *прежде того* статус "способа познания" реальности и истины обрела русская классическая литература. Создававшаяся в эпоху, быть может, еще более сурового, нежели на рубеже XVI–XVII веков, кризиса традиционных ценностей, утраты основ человеческого существования, она взяла на себя миссию восстановить эти основы, используя многовековой отечественный и мировой духовный опыт. Творчество Достоевского – на мой, возможно, субъективный взгляд – квинтэссенция этой грандиозной работы.

Говоря о "Дон Кихоте", известный теоретик литературы Д. Лукач писал: "Этот первый великий роман в мировой литературе появляется на пороге эпохи, когда христианский Бог начинает устраняться из мира; когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе"[2]. Та-

1. Он въезжает из другого века... Дон Кихот в России / Сост., автор вступит. статьи и примеч. Л. М. Бурмистрова. – М.: Рудомино, 2006, с. 11.
2. Цит. по: К. Н. Державин. Сервантес. Жизнь и творчество. – М.: ГИХЛ, 1958, с. 633.
3. Н. Н. Арсентьева. Становление антиутопического жанра в русской литературе. – Ч. 1. – М.: Изд-во МПГУ им. В. И. Ленина, 1993, с. 82–83.

1. Хосе Лосано Хименес. Три встречи с Достоевским / Пер., вступит. заметка и примеч. А. В. Ковровой // Достоевский. Материалы и исследования. – Т.18. – СПб.: Наука, 2007, с. 307.
2. Д. Лукач. Теория романа// Новое литературное обозрение, 1994, № 9, с. 53.

кая эпоха наступала в России в середине XIX века и в силу особенностей развития страны была наиболее остро прочувствована именно здесь.

Но была и другая важнейшая типологическая общность времен создания романов "Дон Кихот" и "Идиот". Испания в XVI веке переживала невиданный расцвет. Было наконец завершено освобождение от мавританского ига и произошло объединение страны, состоявшей до XV века из разрозненных королевств. С воцарением на испанском престоле в 1516 году императора Карла I из династии Габсбургов под властью испанской короны оказалась большая часть Германии и Италии, нынешние Голландия и Бельгия; открытие Колумбом Америки и создание центрально-американских и латиноамериканских колоний привело к колоссальному обогащению и расширению границ империи, над которой действительно, как тогда говорили, "не заходило солнце". Вторую половину XVI века и XVII век принято называть Золотым веком испанской культуры. Современниками Сервантеса были Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Кеведо, Матео Алеман, Гарсиласо де ла Вега, Гонгора, Эль Греко, Веласкес, Мурильо...

Сходной была и ситуация в Российской империи времен Достоевского. После разгрома Наполеона Россия стала ведущей силой в мировой политике, а после отмены крепостного права по-настоящему перешла от феодализма в буржуазное настоящее, и, как с горечью писал Достоевский, культ денежного мешка стал вытеснять в сознании людей все прежние ценности, изменилась вся *иерархия* ценностей. Но *начало* этого периода знаменовалось энергичным подъемом во всех областях, а какими величайшими именами в литературе и искусстве отмечен русский XIX век, видимо, не стоит и говорить.

И вот именно в такие времена невиданного подъема и могущества своих стран два великих писателя создают произведения, основной темой которых является определение границ земной власти человека, ставящего своей задачей индивидуальными усилиями и личным примером переделать мир, превратить его из злого в хороший, преобразить ад в рай.

* * *

Как ни удивительно, но в художественных произведениях и в статьях и письмах Достоевского первой половины его жизни упоминания имени Сервантеса и его героя практически отсутствуют.

А известен герой Сервантеса был в России уже во времена Петра I: в ходе одной из поездок в Европу, проезжая по Австрийским Нидерландам и увидев в каком-то месте "великое множество ветряных мельниц, государь, рассмеявшись, Павлу Ивановичу Ягушинскому сказал: 'То-то бы для Дон-Кишотов было здесь работы!'"[1]. Первая публика-

1. Он въезжает из другого века... Дон Кихот в России. – С. 25.

ция "Дон Кихота" на русском языке (только начальные двадцать семь глав) относится к 1769 году, переводчиком был некто Игнатий Тейлс, перевод был сделан с французского издания. Второй перевод — тоже с французского — был сделан в конце XVIII века Николаем Осиповым. Уже тогда "Дон Кихот", по утверждению М. Дмитриева, "непременно находился в каждой деревенской библиотеке"[1] — библиотеке дворянской усадьбы, разумеется. С 1804-го по 1806 год выходят шесть томов нового перевода, сделанного замечательным русским поэтом Василием Андреевичем Жуковским, — но опять-таки по французской версии романа. Наконец, в 1838 году Белинский поздравлял русских читателей с выходом "великолепного издания" "Дон Кихота". Это был перевод первой части романа Сервантеса (уже с языка оригинала, хотя некоторыми это оспаривается), выполненный К. Масальским. Но перевод второй части Масальским осуществлен не был, это сделал только В. Карелин в 1868 году. Таким образом, полного качественного перевода "Дон Кихота" на русский язык к середине XIX века не существовало. В полном виде Достоевский читал роман, видимо, все же по-французски, в переводе Луи Виардо. Первое издание этого перевода вышло в 1836-м, второе — в 1862—1863 годах (за несколько лет до начала работы Достоевского над романом "Идиот"). Именно это издание имелось в библиотеке Достоевского[1]; о "превосходном переводе" "Дон Кихота", сделанном Луи Виардо, Достоевский писал в статье "По поводу выставки" в 1864 году. Но вот *когда* Достоевский впервые прочитал роман Сервантеса и каковы были его первые впечатления от этого произведения, мы, к сожалению, не знаем. Особенно любопытно, что в письмах молодого Достоевского брату (служившему в Ревеле), в которых описываются читательские впечатления будущего писателя и которые представляют собой как бы краткий курс истории мировой литературы от Гомера до Бальзака и от Корнеля до Гофмана, имя Сервантеса не упоминается ни разу.

Первое краткое упоминание о "Дон Кихоте" мы встречаем у Достоевского в маленьком юмористическом "Романе в девяти письмах", написанном, по словам автора, "за одну ночь" в ноябре 1845 года. Потом — еще одно, тоже краткое, упоминание в показаниях по делу петрашевцев; далее — почти 20-летний перерыв, и, кроме вышеприведенных слов о переводе, имя Дон Кихота возникает еще только раз в неподписанной статье в журнале "Время" в 1864 году. За первые сорок с лишним лет жизни Достоевского — это все.

1. К. Н. Державин. Сервантес. — С. 607.

1. См.: Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. — СПб.: Наука, 2005, с. 214.

А уже находясь на вершине развития своего творческого дара, в 1876 году, *после* создания романов "Идиот" и "Бесы", Достоевский писал о романе "Дон Кихот" в "Дневнике писателя": "Во всем мире нет глубже и сильнее этого *сочинения*[1]. Это пока **последнее и величайшее слово человеческой мысли**, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: 'Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что можете о ней заключить?' — то человек мог бы молча подать Дон Кихота: 'Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?' Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но..."

Но мы несколько забежали вперед. В 1866 году выходит в свет роман "Преступление и наказание", в котором с невиданной прежде в литературе силой показан ужас положения человека, отпавшего от Бога, и намечен путь преображения человеческой природы. *Уже здесь, по существу, была выявлена "донкихотская" проблема, о которой пойдет речь в дальнейшем: совместимы ли любовь к человечеству, желание помочь людям, со стремлением к личной славе, жаждой приобщиться к избранным, вправе ли человек устанавливать справедливость в мире по собственному разумению и решать: "кому жить, кому умирать"?* Но в этом первом великом романе Достоевского личное, эгоистическое начало в Раскольникове заметно перевешивает все остальное, он скорее вождь и бунтарь, нежели человеколюбец. Дальнейшее развитие творческой мысли Достоевского потребовало решения вопроса: а как может жить и что должен делать в современном мире человек, действующий не наперекор воле Бога, как Раскольников, а "по Богу", в соответствии с христианскими заповедями смирения и служения ближним, — то есть "положительно прекрасный", по определению самого писателя, человек, какие опасности подстерегают его на *этом* пути.

И *вот тут* в сознании Достоевского первым из всех созданий его предшественников встает образ Дон Кихота. В письме к племяннице Софье Ивановой он признается: "Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а **особенно теперь**. Все писатели, не только наши, но **все европейские**, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно

1. Думается, Достоевский потому здесь иронически выделил это слово, почему писал чуть ранее в полемике с критикой своего времени: "Неужели фантастичный мой 'Идиот' не есть действительность, да еще самая обыденная!"

есть бесконечное чудо. <...> Из прекрасных лиц в **литературе христианской** стоит законченнее всего Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет. <...> У меня нет ничего подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача".

О том, что "получилось" у Достоевского в романе "Идиот", мы будем говорить далее. Пока же вспомним еще одно высказывание Достоевского о создании Сервантеса, сделанное спустя несколько лет после окончания работы над романом о "положительно прекрасном" человеке. "Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собой человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней **глубочайшую и роковую тайну** человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара — именно: *гения*, чтобы управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества!" *Никто* почему-то до сих пор не обращал внимания, что тем самым Достоевский лишает "hidalgo **ingenioso**" — лишает "именно: *гения*"! Попробуем разобраться в этом.

Дон Кихот и князь Мышкин стремятся спасать души и тела своих ближних, "воскрешать" их, восстанавливать справедливость, помогать страдающим и обиженным. При этом они отдаются своей миссии беззаветно, вплоть до готовности "пожертвовать собой". В подготовительных материалах к роману "Идиот" Достоевский трижды назвал своего героя "Князь Христос". Мигель де Унамуно в своей книге "Житие Дон Кихота и Санчо" приводит многочисленные параллели между земной жизнью Христа и романной историей Дон Кихота[1]. Это же делает в своих "Лекциях о Дон Кихоте" В. Набоков[2]. На одной из иллюстраций Сальвадора Дали к "Дон Кихоту" главный герой изображен в позе распятого Христа. Распятым (но на дубе, к которому прислонено его "копьецо") изображен Дон Кихот, "кастильский Христос", и на рисунке Мигеля де

1. Мигель де Унамуно. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно / Издание подготовил К. С. Корконосенко. — СПб.: Наука, 2002, с. 31,40, 43, 64, 89, 148 и др. — (Серия "Литературные памятники").

2. В. В. Набоков. Лекции о "Дон Кихоте" / Пер. с англ.; Предисл. Ф. Бауэрса, Г. Дэвенпорта. — М.: Изд-во Независимая газета, 2002, с. 65, 88, 97, 144, 146, 210.

Унамуно, включенном в его книгу "Житие Дон Кихота и Санчо". Но главное, конечно, в том, с чем отправляются герои Сервантеса и Достоевского "в мир", что им удается там сделать и к чему они приходят в результате своего земного пути.

Решив стать странствующим рыцарем, Дон Кихот вознамерился "тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на **человеческом роде**: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить (почти прямая цитата из пророчества Исайи [Ис. 40:3–5] и слов Иоанна Крестителя, предрекающих приход Спасителя [Лк. 3:5. — *К. С.*]), несправедливостей устранить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить"[1]. При этом он уверен, что знает, в чем справедливость, ибо закон и уложения для странствующего рыцаря — его меч и его "собственная добрая воля". В определенной степени это можно уподобить намерениям Мышкина, заявленным в самом начале романа "Идиот": он едет в Россию, полагая, что после своего швейцарского затворничества "теперь к людям идет", чтобы "исполнить свое дело честно и твердо", рассчитывая "умнее всех прожить" и, пожалуй, "мысль имеет поучать". Дон Кихот же уверен, что может не только "покровительствовать и помогать несчастным, живущим в этом мире", но и "вызволять и выручать обездоленных, отошедших в мир иной" и делать добро "душам, томящимся в чистилище", то есть претендует на явно божественные прерогативы.

Но первый же "подвиг" его на постоялом дворе завершается тем, что он разбивает головы двум совершенно безвинным погонщикам мулов, чуть не убив их, а затем переименовывает двух дам легкого поведения (называя их "чистые девы") и прибавляет к их новым именам титул "донья"; так же как ранее он переименовывает свою деревенскую знакомую Альдонсу (общеупотребительное имя для девушек с сомнительной репутацией, вошедшее в испанскую пословицу: "если не найдется (честной) девицы, хороша и Альдонса") — в Дульсинею Тобосскую. Можно вспомнить тут предложение Мышкиным руки и сердца и титула княгини Настасье Филипповне, после чего она, "как все утверждали потом, <...> и помешалась".

Затем следует первое вмешательство Дон Кихота в происходящее в мире с целью искоренить несправедливость — история с подростком Андресом и избивавшим его хозяином Хуаном Альдудо, — история, заканчивающаяся весьма печально для Андреса, которого после отъезда Дон Кихота хозяин избил втрое сильнее и тот остался на всю жизнь калекой. Дон Кихот же уезжает "в восторге <...> и весьма довольный собою", по ироничному замечанию повествователя. Встретив Дон Кихота вновь — уже во время его второго выезда "в мир", — Андрес восклицает в ярости: в следующий

1. Мигель де Унамуно. Житие Дон Кихота и Санчо. — С. 28, 337.

раз "не защищайте и не выручайте меня и не избавляйте от беды, ибо ваша **защита навлечет на меня еще горшую**, будьте вы прокляты Богом, а вместе с вашей милостью и все странствующие рыцари, <...> чтобы с ними все так рыцарствовали, как они порыцарствовали со мной".

В структуре романа "Идиот" Андреса можно сравнить, полагаю, с самым непримиримым противником Мышкина — Ипполитом, при первом же столкновении с участливым отношением князя восклицающим: "Если я кого-нибудь здесь ненавижу <...> вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас более всех и всего на свете! <...> Это вы меня довели до припадка! <...> Не надо мне ваших благодеяний!" В финале Ипполит, так и не получив от князя никакой помощи, кроме фразы "Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье", умирает в злобе, отчаянии и "ужасном волнении".

Встретившись некоторое время спустя с монахами-бенедиктинцами и экипажем дамы из Бискайи, Дон Кихот чуть не убивает монаха, а затем, набросившись на бискайца, бьет того мечом так, что "кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей". После этого наш рыцарь нападает на похоронные дроги, причем тут повествователь, ранее ограничивавшийся лишь намеками, уже напрямую сравнивает его с дьяволом. Сопровождающие процессию люди разбегаются, одного из них, бакалавра, сбрасывает испуганный мул и у него оказывается сломана нога. Когда Дон Кихот громогласно заявляет ему, что странствует по свету, "выпрямляя кривду и вступаясь за обиженных", бакалавр отвечает, что лично его он искалечил, и ногу ему теперь не выпрямить до конца дней, и обида ему тоже нанесена до конца дней. На что Дон Кихот не находит ничего лучшего, чем заявить ему: "раз на раз не приходится". Но очень характерно, что при этом у него "жалкий вид", и **именно здесь** Санчо впервые называет своего господина "рыцарем Печального Образа". И в дальнейшем все "подвиги" Дон Кихота либо приносят убыток окружающим ("победы" над стадами коз и овец и винными бурдюками), либо же те, кому он пытался помочь, оказываются в положении худшем, чем были до того (Андрес, дуэнья Родригес и ее дочь). То же происходит и в романе "Идиот": те, кто в наибольшей степени доверялся Мышкину, терпят от него наибольший урон (Настасья Филипповна, Аглая, Ипполит). Достоевский называл роман Сервантеса "самой *грустной* из книг", он даже говорил об "отчаянии", исходящем от этой книги: "Что отчаяннее Дон Кихота"[1]. И далее: "Шекспир наших времен тоже вносил бы отчаяние. Но во времена Шекспи-

1. "Мечта о человеке, о сверхчеловеке рождается в слезах религиозного отчаяния, — писал А. Волынский, — когда рассеялась другая великая мечта, когда всем своим сознанием человек окончательно уразумел тщетность своих умственных мечтаний в старом направлении" (А. Волынский. Достоевский. — СПб.: Академический проект; Издательство ДНК, 2007, с. 263).

ра была еще крепка вера. Теперь же все действительно хотят счастья. <...> Требуют изображения тех людей, которые счастливы и довольны воистину без Бога и во имя науки и прекрасны, и тех условий, при *которых все это может быть, то есть положительных изображений*". Здесь Достоевский прежде всего имел в виду, конечно, требования тогдашней революционно-демократической критики — показывать в литературе "новых людей", боровшихся за народное счастье. Но Достоевский видел гораздо дальше и объемнее сторонников и противников "новых людей" по Чернышевскому. Он понимал, что, даже руководствуясь в своем стремлении спасти и помочь ближним и устранить зло и несправедливость из мира самыми высокими религиозными идеалами и оставаясь, по крайней мере внешне, в рамках христианского миропонимания, можно лишь еще более увеличить "количество" зла и принести много бед этим же ближним. И это будет тем трагичнее, что станет неожиданным для самого *спасителя* и для благодетельствуемых им. **Может быть, именно благодаря Достоевскому, благодаря тому, в частности, что есть роман "Идиот", мы можем осознать весь трагизм романа Сервантеса.**

Достоевский писал, что человек находится в постоянной борьбе между стремлением "приносить *любовью* в жертву" себя всем — и законом "я", "законом личности". Этот закон "я" — следствие греховной пораженности человеческой природы, и жизнь человека, утверждал Достоевский, есть постоянное противостояние своей "натуре", во имя идеала. Однако и Дон Кихот, и Мышкин просто игнорируют этот закон "я" в себе, не желают его замечать, либо же считают навеянным извне наваждением ("демоном", колдовскими чарами), по большей же части полагают, что следование обоим противоположным началам (отдачу себя во имя спасения людей — и неуемную гордыню, стремление к славе и к "наибольшим почестям" у Дон Кихота, заботу о личном счастье у Мышкина) можно както "совместить"[1]. В результате природа, земное постоянно берут над ними верх. После "моральной победы" над львом Дон Кихота исцарапали коты, после смелого противостояния страшному *вепрю* его истоптало стадо *свиней*, после сопоставления себя с великими святыми древности (статуи которых несли встреченные им паломники) он оказывается в сетях, развешенных между деревьями мнимыми "пастушками", а в результате попытки доказать, что эти "пастушки" — самые прекрасные дамы на свете, он попадает под стадо быков (бык — символ плотского начала). То же и с Мышкиным: "отупение, душевный мрак, идиотизм", следовавшие *сразу вслед* за "вос-

1. Достоевский писал в "Зимних заметках о летних впечатлениях": "беда", если при самопожертвовании "всего себя в пользу всех" попадется "один самый тоненький волосок" — малейший "расчет в пользу собственной выгоды", — "все разом треснет и разрушится".

торженным молитвенным слитием с самым высшим синтезом жизни" во время припадков, в конце концов побеждают его. После этих припадков в его сознании возникает вопрос, который, можно сказать, является фундаментальным и для Дон Кихота, и для Мышкина: **"Что же в самом деле делать с действительностью?"** Но это лишь внешнее выражение гораздо более глубоких конфликтов.

Н. Арсентьева считает Дон Кихота и Мышкина носителями утопического сознания. Основной признак такого сознания — "конструирование действительности в соответствии со своим идеалом"[1]. Истоки и сущность утопического сознания в свое время очень точно выявил философ Г. Флоровский, который еще в начале прошлого века, после чудовищной катастрофы 1917 года, задался вопросом: какова же общая основа утопических проектов по "переделке" жизни? Он видел эту основу в "*одержимости миром*" — убежденности в том, что внешние обстоятельства жизни человека имеют самодовлеющий характер, то есть с изменением их неизбежно изменится и сам человек (но если так, то подобное переустройство "подлежит осуществлению *во что бы то ни стало*" — "отсюда диктаторский и деспотический пафос, пафос насильственного дарования 'счастья'"). При этом сам носитель подобного сознания уверен в том, что он познал "мировые тайны" и обязан осуществить "вложенные в него природой устремления"[1].

В XXI главе первой части Дон Кихот пересказывает Санчо задуманный им собственный рыцарский роман, где постепенно безличное "рыцарь" заменяется местоимением "я". Не осуществив всего этого на бумаге, он не просто *сочиняет свою* жизнь — он хочет заставить всю реальность соответствовать принятым им образцам, "выстроить" ее под себя — не зря ведь он назван *хитроумным*: нет вражеских войск, которые нападали бы на него, — вместо них будут овцы, козы и бараны (причем он отнюдь не всегда принимает овец за вражеское войско, а лишь тогда, когда ему надо что-либо доказать себе и окружающим), нет великанов — вместо них будут мельницы и винные бурдюки, нет злых волшебников — их роль будут играть обычные люди, нет прекрасной принцессы — сойдет Альдонса, реальный облик которой он едва ли помнит[2]. Но в результате подлинная реальность проходит мимо него.

Однако ярче всего разлад наших героев с реальностью происходит в сфере любви. И Дон Кихот, и Мышкин стре-

1. Н. Н. Арсентьева. Становление антиутопического жанра... — Ч I, с. 137.

1. Г. Флоровский. Из прошлого русской мысли. — М.: Аграф, 1998, с. 270–283.
2. "Дон Кихот — демиург. Он создает свою вселенную рядом с реальной, будучи с ней в разладе. Он своеобразный падший Ангел, возжелавший в своей гордыне невозможного и за это наказанный" (Вс. Багно. Дорогами "Дон Кихота". — М.: Книга, 1988, с. 83).

мятся "расколдовать", "воскресить" своих возлюбленных. Но "расколдовать" Дульсинею так и не удается. В "Идиоте" же зародившееся *личное* чувство князя к Аглае вступает в губительное противоречие со стремлением пожертвовать собой для спасения Настасьи Филипповны и приводит к тому, что князь так и не сумел воскресить Настасью Филипповну, а Аглая достается злым волшебникам (польскому эмигранту и "знаменитому патеру").

Дело в том, что своих избранниц Дон Кихот и Мышкин любят исключительно в идеальном, воображаемом облике: первое восторженное увлечение Мышкина обликом Настасьи Филипповны вызывает ее портрет; "как на портрет ее, а не нее самое" смотрит он и на Аглаю. Но перенесение любви, которая является *всецелым* "восприятием конкретного живого существа" (С. Франк)[1], в чисто идеальную, ангельскую сферу, игнорирование реальности во всем ее объеме приводит к печальным результатам. Подлинная любовь есть прежде всего *творчество*. Творчество, преображающее любимого, помогающее ему (ей) победить "запинающий нас грех" (Евр. 12:1). Но если просто игнорировать этот грех — то он, как всякая болезнь, в итоге побеждает человека. Между тем Мышкин поступает именно так: он или не замечает греха, или все всем прощает. Он, может быть, и видит развращенность и демонизм в Настасье Филипповне, но отказывается верить этому (как пытается "не верить" ненависти к нему крестного брата Рогожина); то же и в отношении Аглаи: "о, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи; но он более верил чему-то другому, и **мрак исчезал сам собой**. Раз уверовав, он уже не мог поколебаться ничем". Однако "сам собой" мрак не исчезает. Чудо (в том числе и чудо воскрешения) происходит только тогда, когда *человек* сделал все, что в его силах, для этого. Но Настасья Филипповна для Мышкина — только "чистая", объект жалости и сострадания, Аглая — "свет", объект мечтаний, существующий "не все ли равно, что во сне, что наяву". В итоге Мышкин фактически погубил Аглаю и привел к смерти Настасью Филипповну. Вспомним многозначительное замечание Рогожина, высказанное им Мышкину о Настасье Филипповне: "Она тебя все пужалась". Слова В. Набокова о финале "Дон Кихота" — "Дульсинея расколдована. Она — смерть"[1] — могут показаться чересчур жесткими по отношению к роману Сервантеса, но очень точны для финала романа Достоевского.

1. С. Франк. Религия любви // Русский Эрос, или Философия любви в России / Сост. и авт. вступит. ст. В. П. Шестаков; Коммент. А. Н. Богословского. — М.: Прогресс, 1991, с. 402.

1. В. Набоков. Лекции о "Дон Кихоте". — С. 129.

* * *

Однако гораздо масштабнее бывают последствия, когда носитель подобного утопического сознания обладает достаточной силой воли и возможностями действительно в серьезных масштабах начать переделывать жизнь в соответствии со своими представлениями о должном. Сопоставление Дон Кихота с Игнатием Лойолой — общее место в испанской сервантистике (а приоритет здесь принадлежит Вольтеру[1]), и вызвано это в первую очередь поразительным совпадением ключевых эпизодов биографии основателя ордена иезуитов и романной судьбы Дон Кихота. Происхождение из знатного, но обедневшего рода, проживавшего в далекой от столиц местности, увлечение в юности рыцарскими романами, особенно тем же "Амадисом Галльским", платоническая любовь к высокородной принцессе, склонность к видениям и галлюцинациям, тайный уход из дома, ночное "бдение над оружием" перед алтарем Пресвятой Девы в монастыре Монсеррат в начале деятельности "по искоренению всякого зла в мире", эпизод, когда он подарил нищему свою одежду, а того потом арестовали, предъявив обвинение в краже... А затем пребывание в пещере, где, сподобившись некоего откровения, Лойола написал свои знаменитые "Духовные упражнения", проповедь перед недоумевающими и поднявшими его на смех моряками на корабле по пути в Иерусалим (куда он отправился, чтобы обратить в христианство "всех сарацин-мусульман"), объявление себя и своих товарищей по созданному им Ордену иезуитов "рыцарями, призванными самим Богом, чтобы духовно покорить весь мир", и многое другое — так что даже можно подумать, что Сервантес писал некую *пародию* на своего старшего современника. Решающую роль видений — "столь прекрасных, что он готов был умереть за них"[1] (вспомним "мгновения самосознания" Мышкина перед эпилептическим припадком, за которые, по его словам, "можно отдать всю жизнь"), — в духовной судьбе основателя ордена иезуитов отмечают многие исследователи. Немало общего у Дон Кихота и с другими подобными деятелями той поры, жившими ранее, — Савоноролой и Торквемадой. Причем во всех этих случаях мы имеем дело с объективно честными, абсолютно искренними и благородными в своем стремлении спасти ближних людьми, деятельность которых, *в конечном итоге*, приводила лишь к увеличению зла в мире. Приводила потому, что по мере осуществления их идей все более сказывалась опора на *собственную*

1. И. А. Тертерян. Философско-психологическое истолкование образа Дон Кихота и борьба идей в Испании XX века // Сервантес и мировая литература. — М.: Наука, 1969, с. 61.

1. Луи Бернарт SJ. Фундаментальный опыт Игнатия Лойолы и опыт психоанализа // Символ. Журнал христианской культуры. — Париж—Москва, 2006, № 50, с. 286.

праведность, нежели на *праведность Божию* (по слову апостола Павла – Рим. 10:2–3).

И как знать, не вследствие ли все более набиравших силу от века к веку катастрофических изменений в человеческих умах и вождей, и ведомых, оторвавшихся от веры и восторженно ожидавших спасения и счастья от земного мессии, в середине XX века явилось повсеместное и почти одновременное торжество "великих инквизиторов": Сталина, Гитлера, Франко, Салазара, Муссолини[1]?

Таким образом, можно сказать: кроме очевидной для многих читателей и исследователей линии, идущей от Дон Кихота к Мышкину, менее очевидная, но тоже безусловная связь существует между Дон Кихотом и великим инквизитором в "Братьях Карамазовых" (и – косвенно – Иваном Карамазовым как его "создателем"). А отсюда возникает некое совсем уж неожиданное сопоставление: Мышкин – великий инквизитор. И ясно, на чем основаны все эти сопоставления: на взгляде на человека как на существо слабое, не способное к самостоятельному внутреннему преображению, которому надо все прощать или же силой вести его к "правильному" образу мыслей и действий.

* * *

Долгое время после своего появления Дон Кихот был в сознании читателей лишь комическим героем, образцом для подражания его сделали романтики: Шлегель, Шеллинг, Тик, Гейне. Романтическое восприятие "Дон Кихота" "господствовало и в сервантистике, и в читательской среде на протяжении всего XIX и первой половины XX столетия"[1], затем сменившись экзистенциалистской трактовкой героя как представителя "разочарованного сознания", трагического "самостояния" личности в абсурдном мире. По-иному было в России, где зияние в духовном центре мироздания, образовавшееся в эпоху торжества секулярной философии, ощущалось, в силу традиционных особенностей развития страны, особенно остро. Здесь такие герои, как Рахметов, Корчагин, а после дискредитации революционной идеологии – князь Мышкин и Дон Кихот, стали поистине "заместителями" Христа, абсолютными героями и мерилом нравственности. Если Мигель де Унамуно называл Дон Кихота "испанским Христом" или "светским святым", противопоставляя его "внутреннее христианство" официальному церковному, то разве не таким же было отношение к Мышкину в России, особенно в среде

1. К. Г. Юнг писал об этом так: "Наш век сделал акценты на 'здесь' и 'сейчас' и тем самым обусловил демонизацию человека и его мира" (К. Г. Юнг. Аффект цивилизации // Матрица безумия. – М.: Алгоритм-ЭКСМО, 2007, с. 136).

1. С. И. Пискунова. "Дон Кихот": поэтика всеединства. // Вступит. статья к: М. де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. В 2-х тт. – Т. 1. – М.: Наука, 2003, с. 5. – (Серия "Литературные памятники").

отечественной интеллигенции, искавшей альтернативы церковному христианству, в 1960–1970-е годы, а во многих случаях и по сию пору? Однако Достоевский проницательно постиг в таком замещении Христа *земным человеком* трагизм и отчаяние, что и воплотил в романе "Идиот".

Часто пишут о том, что Сервантес в своем романе осудил, в числе прочего, мечтательность и склонность к иллюзиям испанского общества того времени. Но точно так же разоблачал мечтательность русского общества своего времени и Достоевский, только в ином ключе. Главной иллюзией русского образованного общества тогда (и вплоть до наших дней) было убеждение, что каждый честный мыслящий человек должен сражаться с господствующими в стране порядками и властями, не считаясь с жертвами, помогать "обездоленному и бесправному" народу (про который они мало что знали и который их вовсе о том не просил), ощущая себя избранными на великое дело, учить окружающих "обывателей", как им надо жить (презирая их при этом), — а все рассуждения о том, что только духовное совершенствование, только "жизнь по Богу" может спасти и каждого, и всю страну, считать вредной и реакционной "поповщиной". Вот отрывок из воспоминаний Веры Засулич: "Я мечтала о подвигах, о борьбе 'в стане погибающих за великое дело любви'. Жадно читала Некрасова. <...> 'Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекрасней желания тернового венка'. <...> Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в стан 'погибающих'. Никаких ужасов крепостного права я не видела"[1]. Можно сказать, что "Дон Кихот" нередко выполнял в России работу, противоположную замыслу Сервантеса: он как бы "санкционировал" от имени истины поведение тех, кто выдумывал себе действительность, а потом в реальном мире начинал действовать как в воображаемом, стараясь насильственно подогнать первый под второй — где можно было чувствовать себя героем и обладателем индульгенции во всех тех случаях, когда, по словам ламанчского рыцаря, "раз на раз не пришелся"... Мудрый литературовед А. Горнфельд писал в 1913 году: "Дон-Кихот — высокий тип человеческого развития, но не заключительная его точка. Особенно важно это помнить в России, где форма и напряженность самоотвержения слишком часто скрывают его существо и направление"[2]. Увы...

Тысячи и десятки тысяч чистых и благородных юношей и девушек (да и людей постарше) закладывали основу тех ужасных катастроф, что произошли с Россией в XX веке. Достоевский обозначил и осудил эту страшную болезнь русского общества — с разных

1. П. Кошель. История наказаний в России. История российского терроризма. — М.: Прогресс, 1995, с. 252.
2. Он въезжает из другого века... Дон Кихот в России. — С. 135.

сторон — в двух не случайно следующих один за другим романах — "Идиот" и "Бесы", но, к сожалению, услышан не был.

В романе Сервантеса приводятся такие знаменательные строки из старинного испанского романса: "Тростья копьями стальными, А друзья врагами стали"; в романсе этом повествуется, как во время празднества потешная игра — метание тростинок, заменявших копья — превратилось в кровавое действо, когда один из рыцарей подменил тростинку копьем. Можно сказать, что *"тростинки" из времен Сервантеса, когда "еще была крепка вера", стали "копьями стальными" во времена Достоевского и в последующие.*

* * *

Но эти наши рассуждения страдали бы безусловной односторонностью, если бы мы не учли одно чрезвычайно важное обстоятельство. Именно во второй половине обоих романов, когда все окружающие в "Дон Кихоте" и в "Идиоте" начинают активно "взаимодействовать" с главным героем, в одном случае — чтобы насмеяться над ним, в другом — чтобы попытаться "использовать" его, а потом — оттолкнуть или снисходительно пожалеть, герои эти нравственно возвышаются над миром и обретают тот ореол, который потом сохраняют в читательском сознании на века. И дело тут не только в том, что, смеясь над ближним или отталкивая его, ты тут же делаешься виновным перед ним, оказываясь тем самым *ниже* его (Христос нигде не смеется в Евангелии). Справедливо утверждение, что Сервантес не только *защитил* своего героя смехом[1], но и *возвысил* его с помощью смеха. Все персонажи "Дон Кихота" и "Идиота" озабочены исключительно личными интересами, и только в основе судеб Мышкина и Дон Кихота — добровольное принесение себя в жертву всем, то есть Голгофа, пусть трагически неудавшаяся (по законам христианской трагедии — когда герой гибнет оттого, что не нашел подлинной реальности). На одном из упомянутой серии рисунков Сальвадора Дали по мотивам "Дон Кихота" наш рыцарь предстает в окружении темных сил, клюющих его в щит, на котором изображен в качестве девиза широко открытый человеческий глаз (а глаз издавна считается символом человеческой души). Весь рисунок — в черно-серых тонах, и лишь в далеком верхнем правом углу кусочек голубого неба и парящий в нем белый голубь (в христианском искусстве прежде всего символ Святого Духа). А на другом рисунке — парящая в небе Рафаэлева Мадонна с Младенцем. Если убрать из романного пространства Дон Кихота и Мышкина и оставить лишь Санчо, дона Диего, Самсона Карраско, Лебедева и Радом-

1. Э. Я. Цюрупа. Бессмертие Дон Кихота. — М.: Советская Россия, 1977, с. 92.

ского, мир предстанет еще большей иллюзией, чем он предстает в сознании Дон Кихота и Мышкина. Но при этом Сервантес и Достоевский показывают: человек, рассчитывающий спасти *всех* собственными силами и собственным разумением, обречен на то, что результаты его действий будут противоположны его целям.

Но почему же столь различаются векторы повествования в обоих романах: от уничижительного тона повествователя в начале "Дон Кихота" к уважительно-печальному в финале — в противоположность направленности в романе Достоевского, где Мышкин поначалу успешно справляется со своей миссией, но становится все более бессильным под конец? Думается, это связано с подмеченным Достоевским фактором времени: "тогда (во времена Сервантеса и Шекспира. — *К. С.*) разрешалось. Теперь неразрешимо". Убежденность в силе и способности человеческого духа преодолеть все искушения и испытания дала возможность Сервантесу привести своего героя от свихнувшегося дурачка к победителю в самой сложной борьбе человека — с самим собой[1], как заявляет в конце романа устами Санчо автор. Достоевскому же выпало противостоять уже глубочайшему кризису человеческого сознания — перенесению центра мироздания внутрь земных, эмпирических границ, в пределе — внутрь собственного капризно-эгоистического "я". Пророческое осознание разрушительных (и скрытых до поры) масштабов этого кризиса не позволило ему на "светлой" ноте завершить повествование о Дон Кихоте "серьезном, а не комическом", как характеризовал он князя Мышкина. Слишком серьезные настали времена. Вот почему, думается, Дон Кихоту довелось "пробудиться" от своего сна-наваждения и стать снова Алонсо Кихано Добрым, а Мышкин так и уходит из романа, еще глубже погрузившись в свой сон. Финал "Идиота" — самый трагический из всех великих романов Достоевского.

* * *

Завершается творческий путь двух гениев мировой литературы созданием романов "Странствия Персилеса и Сихизмунды" и "Братья Карамазовы". Эти произведения, насколько мне известно, никогда не сопоставлялись ранее, между тем в них немало общего.

Сервантес всегда мечтал написать идеальный рыцарский роман, в отличие от тех, которые он высмеивал в "Дон Кихоте". Мечту эту он, как считается, осуществил в "Персилесе". Но поначалу повествование о странствии и бесчисленных приключениях двух влюбленных, Периандра и Ауристелы ("в целях кон-

1. В сумасшедший дом почти в самом конце романной судьбы помещает своего героя автор "поддельной" второй части "Дон Кихота" Авельянеда.

спирации" взявших себе иные имена), с севера Европы в Рим читается даже не как рыцарский роман, а как сказка. Однако, начиная примерно с середины романа, сюжет перестает быть просто цепью нанизываемых одно к другому приключений и становится рассказом о духовном становлении главных героев. На уровне фабулы это проявляется в том, что прекращаются скитания героев по морям и островам, они попадают на землю Испании и начинают свой прямой паломнический путь в Рим. Когда путешественники достигают Рима, они достигают в то же время и некоего зенита своего духовного развития. Сервантес хотел изобразить здесь идеальный союз мужчины и женщины, возможно, такой, каким он будет в грядущем Царствии Божием, после Второго Пришествия, в той жизни, где, как писал Достоевский, цитируя Евангелие от Матфея, "не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божии". Роман этот именно о любви — любви к человеку, постепенно очищающейся и возвышающейся до подлинного духовного соединения с любимым — и через это приводящей к Богу.

Но ведь о любви — вернее, о счастливом браке — и роман "Братья Карамазовы"! Как считает Т. Касаткина, на это указывает и посвящение романа Анне Григорьевне, в счастливом браке с которой Достоевский прожил 14 лет. А в самом романе, считает она, мотив брака разворачивается на трех уровнях: муж — жена, человечество — земля, Христос — человечество[1]. Можно добавить, что на всех этих уровнях происходит преображение осквернённой, искаженной любви — в подлинную, преодоление тотального сиротства *всех* в начале романа — началом создания "новой семьи" человечества.

Что же касается "Персилеса...", то ведь главное в *подлинном* рыцарском романе — подвиги героя во имя любви и тем самым возвышение души читателя. В "Персилесе..." и то и другое (любовь и внутреннее совершенствование как подвиг) переводится в духовный план — и становится не уроком "рыцарской чести", а посланием, преобразующим внутренний мир читателя. "Творчество Сервантеса, — говорил замечательный испанский филолог М. Менендес-Пелайо — это не антитезис, не сухое и прозаическое отрицание рыцарского романа, но очищение и дополнение его. Оно не убивало, а преображало и возвышало его идеал"[2]. Достоевский же в своем *неоконченном* романе "Братья Карамазовы" — на основе криминально-детективной истории об отцеубийстве — тоже стремился создать идеальный "теургический" роман, который содействовал бы преображению окружающего мира.

1. Т. А. Касаткина. "Братья Карамазовы" как роман о счастливом браке // Достоевский и современность. — Великий Новгород: 2008, с. 119.
2. Сервантес и всемирная литература. — С. 260–263.

Согласно художественному принципу (высказанному в "Персилесе..." безымянным поэтом) — жанр жизнеописания героев зависит от окончания их судьбы — можно сделать вывод, что *сказка* о Персилесе и Сихизмунде *преображается* в финале в *житие*. Становится ясно и то, почему в первой половине романа бóльшая часть действия происходит на море, в морских странствиях: согласно древней христианской традиции, бушующая морская стихия и мореплавание являются символом прохождения человеческой души (на лодке или корабле, символизирующим Церковь) по жизненным испытаниям и искушениям, а благополучное прибытие в гавань (и вообще на сушу) — спасение.

Надо еще отметить, что традиционный перевод названия последнего романа Сервантеса (в оригинале — "Los trabajos de Persiles y Sigismunda"), на наш взгляд, не совсем верен. Испанское слово "trabajo" во множественном числе имеет несколько значений: "труд как результат", "труды", "трудности, препятствия", "мучения, страдания". Исходя из всего вышесказанного, думается, что наиболее точным переводом названия было бы "Паломничество Персилеса и Сихизмунды". Сервантес, несмотря на довольно высокую самооценку своего последнего произведения, понимал, что очень важное в нем недосказано или же будет понято только впоследствии. В драматическом Прологе к роману, написанном буквально перед смертью, он говорит: "А вдруг да настанет такая пора, когда, связав порванную нить, я доскажу все, чего здесь недостает и что следовало бы сказать?" А Достоевский, тоже в последний месяц жизни, уже после "Братьев Карамазовых", делает в своих "Записных тетрадях" такую загадочную запись: "Вы думаете, я теперь разъяснять стану: нимало, нисколько. Это все потом и неустанно".

* * *

В заключение — несколько слов о творческом методе Сервантеса и Достоевского. В своем гениальном романе Сервантес сумел воссоздать реальный мир в полном его объеме, так что мы видим и своеобразный героизм Дон Кихота, и печальные плоды его усилий по восстановлению справедливости в мире, и — в контексте прошлой и будущей мировой истории и культуры — все страшные последствия подобного образа действий. Видный испанский писатель и критик Асорин писал, что произведение Сервантеса "распространилось на все Человечество. <...> В нем присутствует одно событие — испанское и безмерная действительность — всечеловеческая"[1]. Мы видим мир иной и мир этот в их неразрывном единстве и взаимопроникновении, видим, что судьба каждого человека осуществляется одновременно и в физиче-

1. Цит. по: А. А. Полякова. Сервантесовская тема в публицистике Асорина // Сервантесовские чтения. 1985. — Л.: Наука (Ленингр. отд-ние), 1985, с. 206.

ском и в метафизическом мире, и оттого, насколько он осознает это, зависит степень его свободы. Иными словами, мы видим подлинную реальность, подлинное строение и иерархию мироздания. Это и есть то *ви́дение гения*, которого лишены Дон Кихот и Мышкин, тот "реализм в высшем смысле", о котором как о своем творческом методе писал Достоевский незадолго до смерти. "Важная отличительная особенность испанского воображения, — писал Р. Менедес Пидаль, — состоит в том, что чудо трактуется не как плод чистого вымысла, а как необычайная **реальность, как вторая реальность**. <...> Мир верований изображается столь же реально существующим, как и мир, данный нам в ощущениях". Как главную черту "реализма в высшем смысле" Достоевский определял изображение "всех глубин души человеческой". В. Короленко, который вряд ли знал эту запись Достоевского, так писал о Сервантесе: "В своем бессмертном романе Сервантес зачерпнул такие глубины человеческого духа, где мы имеем дело уже с первичными, так сказать, фактами человеческой природы"[1].

"Есть преступления и впечатления, — писал Достоевский в Записных тетрадях 1875—1876 годов, — которые не подлежат земному суду. Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог". Сервантес же вкладывает в уста Дон Кихота следующее рассуждение: истинный поэт "создает такие произведения, которые подтверждают правильность слов: est Deus in nobis (Бог внутри нас)". А третью книгу "Персилеса и Сихизмунды" повествователь начинает таким рассуждением: "Душа человеческая вечно в движении, и прекращает она это движение и успокаивается, только возвратившись в свою сердцевину, сердцевина же эта есть не что иное, как Бог, ради слияния с которым душа человеческая и рождается...". Именно эта связь (Бога с человеком и человека с другими людьми и с вечностью) и составляет главный "предмет" искусства Сервантеса и Достоевского.

1. Цит. по: В. Е. Багно. Дон Кихот в России и русское донкихотство. — СПб.: Наука, 2009, с. 207.

Мабель Велис Блинова

События последнего испанского кинофестиваля "Гойя"

В феврале этого года в Королевском театре Мадрида торжественно отмечалось двадцатипятилетие со дня учреждения премии "Гойя", ежегодно присуждаемой Академией искусств и кинематографических наук Испании. Это событие с нетерпением ожидалось как деятелями испанского кино, так и зрителями, любителями национального кинематографа, готовыми отложить свои воскресные дела, чтобы удобно устроиться у телевизора и разделить эмоции своих кумиров.

Среди выдающихся представителей испанского кино вновь можно было увидеть импозантную фигуру Хавьера Бардема. Хавьер Бардем — на сегодняшний день самый крупный испанский актер, завоевавший международное признание, — является обладателем наибольшего количества премий "Гойя" в номинации "Лучший исполнитель главной роли" за всю историю кинофестиваля. На этот раз он удостоился пятой по счету премии, врученной ему за главную роль в фильме "Бьютифул", повествующем о трагической истории больного раком человека, семейство которого прозябает в нищете, жена — наркоманка, и он один воспитывает двух детей, ставя на карту все, чтобы обеспечить их будущее.

В том, что испанское кино продолжает оставаться международным явлением, немалая заслуга Хавьера Бардема, который в последние годы большую часть времени проводит в США вместе со своей женой, красавицей и замечательной испанской актрисой, Пенелопой Крус. Бардем принадлежит к когорте тех, чья слава основана не только на таланте, но и на кропотливом труде, и фильмы, роли в которых ему предлагают играть, он выбирает, руководствуясь, в первую очередь, художественными, а не коньюнктурными или финансовыми критериями.

Еще один видный деятель испанского кинематографа, Фернандо Труэба, был удостоен премии "Гойя" за лучший анимационный фильм для взрослых — "Чико и Рита". Этот кинорежиссер известен в России благодаря своему худо-

© Мабель Велис Блинова, 2011

жественному фильму "Эра красоты", который получил в 1994 году "Оскара" как лучший иностранный фильм и был удостоен премии "Гойя" в 1993 году. В этой картине был задействован необыкновенно удачно подобранный коллектив актеров, таких как Пенелопа Крус, Ариадна Хиль, Марибель Верду. В России имя Пенелопы Крус ассоциируется с кинорежиссером Педро Альмодоваром и его лентами "Все о моей матери", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", в которых актриса играла главные роли. Другую актрису, Ариадну Хиль, российские зрители видели не только в "Эре красоты", но и во "Второй коже", где она играла вместе с Бардемом, и в фильме "Алатристе", поставленном по роману Артура Переса Реверте, а также в удостоенном трех Оскаров фильме мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Лабиринт Фавна", в котором играла и Марибель Верду, чью главную роль в ленте Висенте Аранды "Любовники" российские любители испанского кино запомнили надолго.

На этот раз Фернандо Труэба вместе с испанским художником мультипликатором Хавьером Марискалем пробует себя в полнометражном мультипликационном фильме. По словам режиссера, "Чико и Рита" — "это история обо всех кубинских музыкантах"[1], одновременно это и *история любви* (а именно так называется одно из самых известных в мире болеро) между пианистом и певицей на фоне Гаваны и Нью-Йорка в атмосфере, полной чувственности и мелодраматичности, столь свойственных золотой эпохе 40—50 годов прошлого века.

Фильмом победителем кинофестиваля "Гойя" стал "Черный хлеб", поставленный режиссером майоркинцем Агусти Вильяронгой. О "Черном хлебе" говорили мало до момента присуждения ему премии, особенно в сравнении с тем вниманием, которое в средствах массовой информации было уделено фильмам "Бьютифул" и прежде всего "Погребенному заживо", премьера которого прошла в Соединенных Штатах. Затем картина была показана в Испании и имела немалый кассовый успех у зрителей в Англии, Италии и Франции, как это обычно бывает с киноленгами, построенными на захватывающем сюжете: в картине показана история человека, который обнаруживает себя в гробу. У него есть мобильный телефон и всего пара часов, чтобы спасти свою жизнь. "Погребенный заживо" был удостоен на кинофестивале "Гойя" трех премий: за оригинальный сценарий, звуковое оформление и монтаж.

Возвращаясь к фильму "Черный хлеб", нельзя не процитировать газету "Эль Паис", которая подчеркивает безусловную справедливость присуждения главной премии "этому правдивому, сложному, глубокому, жестокому, исполненному красоты и мрачности рассказу о варварствах, совершаемых после войны, об изде-

1. http://www.rtve.es/noticias/chico-y-rita/

вательствах победителей и о полной страха жизни побежденных, о смешении света и тени"[1]. Эта тема по прежнему является животрепещущей в Испании: гражданская война между республиканцами и франкистами (а в фильме речь идет о первых послевоенных годах) и по сегодняшний день разделяет на два лагеря огромную часть испанского общества, являясь объектом анализа и дискуссий в литературе, кино, публицистике.

В "Черном хлебе" необходимо выделить игру актера Сержи Лопеса, его мастерство российский зритель давно мог оценить по испанской кинокартине "Между ног" с Викторией Абриль и Хавьером Бардемом в главных ролях, и французской ленте "Порнографическая связь". Российский зритель также мог увидеть этого известного актера в уже упомянутом "Лабиринте Фавна".

Говоря о кинофестивале "Гойя" этого года, мы должны упомянуть Алекса де ла Иглесиа, известного испанского кинорежиссера, до недавнего времени президента Испанской киноакадемии. Алекс де ла Иглесиа оставил этот высокий пост после церемонии вручения премий "Гойя" в знак протеста против антипиратского закона, предложенного министром культуры Испании под предлогом защиты авторских прав. Новый закон пытается воспрепятствовать испанским любителям кино скачивать киноленты через Интернет, а именно в Интернете Алекс де ла Иглесиа видит спасение для испанского кинематографа. Не в первый раз представители киноакадемии покидают ее ряды. Возможно, самое известное событие этого рода связано с Педро Альмодоваром, который покинул академию в 2004 году, протестуя против системы голосования при присуждении премий "Гойя" в тот период. И вот сейчас, не в последнюю очередь благодаря усилиям Алекса де ла Иглесиа, Альмодовар возвращается в Испанскую киноакадемию.

Поскольку мы заговорили о Педро Альмодоваре, то необходимо упомянуть, что осенью этого года вышел на экраны его новый фильм "Кожа, в которой я обитаю" с Антонио Бандерасом в главной роли. Это возобновление творческого союза между режиссером и актером, которые когда-то успешно работали вместе в таких замечательных фильмах (бывших в российском прокате), как "Матадор" и "Женщины на грани нервного срыва".

На этот раз Бандерас играет роль пластического хирурга, который после тяжелой аварии, пережитой его женой, исступленно исследует возможности создания искусственной человеческой кожи. В фильме, снятом по мотивам романа Тьерри Жонке "Тарантул", смешаны террор, драма и научная фантастика. В этой киноленте мы легко узнаем почерк испанского мастера: страсть на грани престу-

1. Карлос Бойеро. Все в "Черном хлебе" безупречно // Эль Паис, 15.02.2011.

пления, чувственность и музыка, без которой невозможно представить себе его творчество.

Что касается Алекса де ла Иглесиа, который поставил фильм "Печальная баллада для трубы", отмеченный Серебряным львом за лучшую режиссуру и премией за лучший сценарий на кинофестивале Мостра, в Венеции, то в Мадриде ему пришлось довольствоваться премией за лучший грим, а также премией за спецэффекты. Это снова гражданская война, послевоенные годы, и на их фоне разворачивается запутанная и странная история, нечто между драмой и черной комедией.

Одним из самых трогательных моментов кинофестиваля было чествование недавно ушедшего из жизни Луиса Гарсии Берланги, признанного во всем мире классика испанского кино. Луис Берланга в 1985 году участвовал в создании академии и был ее почетным президентом. В видеоматериале, посвященном Берланге, который, как справедливо было отмечено выступавшими, "возможно являлся лучшим испанским кинорежиссером всех времен", были показаны эпизоды из его фильмов, таких как "Добро пожаловать, мистер Маршалл" (1953 год), "Пласидо" (1961 год), "Национальная винтовка" (1978), "Коровка" (1985) и, конечно же, "Палач", наиболее известный в России фильм Берланги еще со времен Советского Союза. При франкистском режиме, несмотря на цензуру, Берланга, используя свой талант и изобретательность, смог создать шедевры, ставшие блестящей сатирой на испанское общество того времени.

Будем надеяться, что испанское кино, с его крупными современными мастерами, будет достойно гениального наследия таких титанов, как Берланга, Карлос Саура, Луис Бунюэль и Хуан Антонио Бардем. "Позади двадцать пять чрезвычайно плодотворных лет, — подчеркнул Алекс де ла Иглесиа в своей последней речи в качестве президента академии, — но у нас впереди долгие годы, и, конечно же, они будут еще плодотворнее"[1].

1. http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/premios-goya-2011-segunda-parte-13-02-11/1016372/

По *материалам испанской прессы*

Javier Marías *Los enamoramientos.* — Madrid: Alfaguara, 2011. — 460 p.

В начале апреля в Обществе изящных искусств состоялась презентация последней книги Хавьера Мариаса, испанского академика и мадридского писателя, высоко ценимого и критикой, и читателями. Речь идет о романе "Влюбленности", в котором, как пишет газета "Эль Паис", "вселенная Мариаса дышит чувствами, вопросами и сомнениями, возникающими у каждого человека в тот или иной момент жизни". В романе, фоном для событий которого служит современный Мадрид, автор углубляется в таинственный мир любви скорее как пессимистически настроенный наблюдатель, отражая темные стороны чувств, способных пробудить как лучшее в человеке, так и самые жестокие и циничные его качества. Мариас, утверждает газета "АБЦ", вспоминая слова самого автора, не верит, что судьба играет какую-либо роль во влюбленности. Это скорее вопрос слепого случая.

Журнал "Ке леэр" ("Qué leer" — "Что читать") представляет новый роман Мариаса в рецензии под названием "Приготовьтесь снять шляпу". Эти слова, как замечает "Эль Паис", "говорят все" об "одной из ключевых книг года", где "неспешная и рефлексирующая проза Хавьера Мариаса... более чем когда-либо пробуждает в читателе желание узнать, что же скрывается за историей", которую рассказывает героиня романа Мария, каждое утро наблюдающая за счастливой парой в кафе, где она обычно завтракает, пока однажды эта пара не исчезает, чтобы снова появиться, но на этот раз на страницах газет, сообщающих о трагической и внезапной смерти героя.

Belen Gopegui *Acceso no autorizado.* — Barcelona: Mondadori, 2011. — 320 p.

Последний роман испанской писательницы Белен Гопеги "Допуск запрещен" тотчас же стал объектом полемики в центральной прессе, в Интернете и провинциальных газетах. Это несколько необычная история общения двух совершенно незнакомых людей — хакера и влиятельного вице-премьера, — живущих в одной стране, но в разных мирах, однако прежде всего это рассказ об одиночестве и о жестокости власти.

Белен Гопеги, родившаяся в 1963 году, в начале своего творческого пути считалась лишь многобещающим авто-

ром. Получив несколько престижных литературных премий и став известной, Белен Гопеги предпочла посвятить себя жанру политического романа.

"Допуск запрещен" — политический триллер, герои которого напоминают читателю известных испанских политиков. Газета "Эль Паис" упрекает писательницу в том, что она "осмелилась проникнуть в святая святых — частную жизнь представителей Власти — и попыталась домыслить убеждения, поступки, интимную жизнь людей первого эшелона".

Провинциальная газета "Эль Коррео де Андалусиа" отмечает, что в романе "переплетены личные, общественные, политические и криминальные конфликты, хорошо известные всем, кто постоянно следит за газетными публикациями ". "Нотисиас де Наварра", рассуждая об идее романа, подчеркивает, что речь в нем идет о том, что могли бы сделать, но так и не сделали левые во время их правления в стране. Журнал "Культура", обращая внимание на композицию романа, пишет, что книга захватывает читателя с самых первых строк, и напряжение не спадает, достигая апогея на самых последних страницах.

ELOY MORENO *El bolígrafo de gel verde.* — Madrid: Espasa-Calpe, 2010. — 300 p.

У книги с неброским названием "Зеленая гелевая ручка" удивительная судьба. Книга родилась и повзрослела в Интернете, затем автор, приободренный благодарным интернет-сообществом, сделал еще один шаг — издал ее на свои средства и сам стал ее распространителем, и только потом на книгу обратило внимание одно из крупнейших испанских издательств — "Эспаса".

"Зеленая гелевая ручка" — это подробное, скрупулезное повествование о том, как люди впустую растрачивают время и, как следствие, свою собственную жизнь. Это первая и пока единственная книга молодого провинциального автора Элоя Морено из маленького испанского городка Кастельон, где он родился в 1976 году.

История написания этой книги интересна сама по себе. Элой Морено как-то узнал, что некий писатель получил крупную премию в одном видном испанском издательстве, и премия эта была ни больше ни меньше как 600 тысяч евро. Элой прочел роман и был неприятно удивлен: роман оказался посредственным, не пробуждающим никаких чувств и никаких мыслей. Молодой человек решил сесть за письменный стол сам.

Герой его книги, благополучно женатый, отец маленького ребенка, имеющий хорошую работу, живущий вполне успешной жизнью, решается на резкие перемены вследствие казалось бы совсем незначительного события — у него на работе пропадает зеленая гелевая ручка. Он принимается за ее поиски как какой-нибудь детектив, и эти поиски приводят к решительным переменам в его жизни, к серьезным размышлениям и непредвиденным последствиям. Книга написана в виде дневника, в строго реалистичной манере.

Журнал "Экслибрис" подчеркивает, что за внешней три-

виальностью "Зеленой гелевой ручки" скрывается подлинно философский роман. Отвечая на вопросы "Эль Паис", Элой Морено говорит, что "иногда ветряные мельницы не так велики, как нам кажется". Газета отмечает, что его книга теперь выставлена в витринах крупнейших книжных магазинов страны, уже переведена на каталанский язык и необычайно востребована молодежной аудиторией.

MATILDE ASENSI *Martin ojo de plata.* — Barcelona: Planeta, 2011. — 592 p.

В этом году вышла в свет трилогия автора популярных исторических романов Матильды Асенси, объединенная под общим названием "Мартин — серебряный глаз". Действие трилогии разворачивается во второй половине XVI века. Героиня трилогии, молодая испанка Каталина Солис, отправляется в Новый Свет и, после нападения пиратов на корабль, оказывается вовлеченной в череду необычайных приключений. Она вынуждена скрываться под личиной юноши, поскольку участь одинокой женщины среди "морских волков" была незавидной. Как признается писательница, работая над образом Каталины, она много размышляла над драматичным положением женщины в Золотом веке.

В своем творчестве писательница опирается на подлинные документы. Исследования архивов привели Асенси к мысли о необходимости опровергнуть в своих произведениях "демонизацию" Испании XVI—XVII веков, прежде всего знаменитую Черную легенду, в которой испанцы времен Золотого века выглядели как кровожадные завоеватели. Автор старается разоблачить привычные стереотипы восприятия конкисты и испанского присутствия в Америке.

Газета "Эль Паис" подчеркивает, что Асенси "...описывает эпоху Филиппа Второго, Контрреформации, Святой инквизициии времен ее расцвета, когда сколачивались грандиозные состояния, а народ жил в абсолютной нищете". Газета "АБЦ" выделяет тот факт, что писательница давно занималась глубоким изучением событий, связанных с открытием Америки и с последующей эпохой колонизации, стремясь опровергнуть предвзятые представления об эпохе. Асенси, говорит газета, своим творчеством пытается смягчить чувство вины у испанцев. Сама писательница в интервью агентству "Эфе" утверждает, что из всего богатства, которое было привезено из Америки, народу не досталось ничего.

В апреле 2011 года писательнице была вручена Почетная премия, присуждаемая за исторические произведения городом Сарагосой, и среди главных заслуг Матильды Асенси учредители премии особо отметили "познавательность ее произведений и красоту повествования".

Подготовила МАБЕЛЬ ВЕЛИС БЛИНОВА

Испанская литература на страницах "ИЛ"

1956

Альберти Рафаэль — *Стихи.* Перевод О. Савича [6]

Гарсиа Лорка Федерико — *Избранное.* Стихи. Перевод и вступление И. Тыняновой [8]

1957

Ландинес Луис — *Дети Максима Худаса.* Роман. Перевод М. Былинкиной. Под ред. О. Савича [7—8]

Хименес Хуан Рамон — *Стихотворения.* Перевод П. Грушко [12]

1960

Ландинес Луис — *Прометей, 1959.* Стихотворение. Перевод П. Грушко [1]

Современная испанская поэзия. Перевод О. Савича, Ф. Кельина, П. Грушко, М. Алигер, Л. Мартынова, Д. Самойлова. Вступительная статья Альфонсо Гоньи [2]

Гоньи Альфонсо — *Остановить прогресс нельзя* (Заметки о литературной жизни Испании) [4]

1961

Гойтисоло Хуан — *Прибой.* Роман. Перевод Л. Синянской [6]

Карнес Луиса — *Два рассказа.* Перевод Р. Сашиной [7]

Гарсиа Лорка Федерико — *О себе, о жизни, об искусстве.* Вступительная статья, перевод и примечания З. И. Плавскина [8]

1962

Лопес Пачеко Хесус — *Стихотворения.* Перевод и предисловие Е. Солоновича [2]

Эрнандес Мигель — *Стихи разных лет.* Переводы И. Тыняновой, Д. Самойлова, Ю. Мориц, М. Самаева. Вступительная статья В. Ясного [6]

Альберти Рафаэль — *На реке Парана.* Стихи. Перевод О. Савича. Предисловие Сесара Арконады [12]

1964

Поэты Испании – Кубе. Перевод А. Гелескула и М. Самаева [1]

Гойтисоло Хуан — *Ронда.* Рассказ. Перевод Д. Гарсиа [12]

Гроссо Альфонсо — *Страстная пятница.* Роман. Перевод Н. Лесковой [12]

Доменеч Рикардо — *Счастье привалило.* Рассказ. Перевод М. Абезгауз [12]

Састре Альфонсо — *Красная земля.* Драма в 5 картинах с эпилогом. Перевод Р. Похлебкина [12]

Стихи испанских поэтов. Перевод О. Савича, Б. Слуцкого, И. Тыняновой, Т. Макаровой, Д. Самойлова, Ю. Мориц, Н. Горской [12]

Фелипе Леон — *Стихотворения.* Перевод и вступление А. Гелескула [12]

1965

Альберти Рафаэль — *Друзьям, в Испанию.* Перевод и вступление П. Грушко [5]

1966

Гарсиа Лорка Федерико — *Стихотворения.* Перевод и вступление А. Гелескула [9]

Матуте Ана Мария — *Гражданская война и писатели моего поколения* [9]

1967

Гойтисоло Хуан — *Особые приметы.* Роман. Перевод Л. Синянской [8—9]

Альберти Рафаэль — *С тобой, что станет с тобой...* Перевод О. Савича [12]

Альварес Карлос — *Памяти Антонио Мачадо.* Стихотворение. Перевод О. Савича [12]

Мачадо Антонио — *Любимая, белое платье...* Перевод О. Савича [12]

1968

Эрнандес Мигель — *Стихотворения.* Переводы Ю. Мориц. А, Якобсона, А. Гелескула [11]

1969

Мачадо Антонио — *Стихотворения.* Переводы П. Грушко, В. Столбова, О. Савича, О. Чухонцева, В. Васильева [3]

Альварес де Толедо Исабель — *Тревожные дни в Санлукаре.* Повесть. Перевод Р. Похлебкина. Послесловие В. Ясного [5]

Матуте Ана Мария — *Три рассказа.* Перевод Е. Любимовой [9]

1970

Пикассо Пабло — *Десять стихотворений.* Перевод В. Волькенштейна. Вступление М. Ваксмахера [3]

Альберти Рафаэль — *1917.* Стихотворения. Перевод П. Грушко [4]

Отеро Блас де — *Стихотворения.* Перевод П. Грушко [4]

1971

Из испанской поэзии. Перевод В. Столбова. Вступление Н. Томашевского [2]

Матуте Ана Мария — *Новелисты в Испании* [6]

Медио Долорес — *Сеньор Гарсиа.* Повесть. Перевод Р. Похлебкина [9]

1972

Лопес Пачеко Хесус — *Стихотворения.* Перевод Н. Горской. Вступление Н. Томашевского [4]

1974

Унамуно Мигель де — *Стихотворения.* Перевод С. Гончаренко. Вступление И. Тертерян [2]

Делибес Мигель — *Пять часов с Марио.* Роман. Перевод Е. Любимовой. Послесловие Сельсо Амьева [11—12]

1975

Амьева Сельсо — *Стихотворения.* Перевод Б. Слуцкого [6]

Хименес Хуан Рамон — *Стихи.* Перевод и вступление А. Гелескула [8]

Гойтисоло Хосе Агустин — *Из книги "Псалмы на ветру".* Перевод Н. Горской [11]

Кастельет Хосе Мария — *Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло.* Перевод Н. Горской [11]

1976

Гарсиа Павон Франсиско — *Рыжие сестры.* Роман. Перевод и послесловие Л. Синянской [3]

1977

Испанская классическая и анонимная эпиграмма. Перевод П. Грушко [1]

Гонгора и Арготе Луис де — *Стихи.* Перевод и вступление С. Гончаренко [1]

Альберти Рафаэль — *Из книги "К живописи".* Перевод и вступление В. Левика [2]

Альберти Рафаэль — *"Я верую в поэзию, живущую в памяти..."* Перевод Э. Брагинской. Вступление В. Ясного [2]

Диас-Плаха Гильермо — *Слово о Хуане Рамоне Хименесе.* Перевод Н. Малиновской [9]

Диас-Плаха Гильермо — *Ленинграду.* Вольный перевод К. Симонова [11]

1979

Алейсандре Висенте — *"Быть сопричастным всему сущему".* Перевод и составление Т. Коробкиной [5]

Алейсандре Висенте — *Стихи разных лет.* Переводы Б. Дубина, С. Гончаренко [5]

Альберти Рафаэль — *Возвращение проклятой жены.* Перевод И. Чежеговой [10]

Лера Анхель Мария де — *Продается человек.* Роман. Перевод В. Спасской [10—11]

Унамуно Мигель де — *Стихи из книги "Поэтический дневник".* Перевод и вступление С. Гончаренко [12]

1980

Диас-Плаха Гильермо — *Стихи разных лет.* Перевод С. Гончаренко [9]

1982

Делибес Мигель — *Кому отдаст голос сеньор Кайо?* Роман. Перевод и вступление Л. Синянской [1]

Гойтисоло Хосе Агустин — *Стихи из новых книг.* Вступление и перевод Сергея Гончаренко [3]

Гарсиа Лорка Федерико — *Драма без названия.* Перевод и вступление Натальи Малиновской [4]

Гомес де ла Серна Рамон — *Грегерии.* Перевод Натальи Малиновской [10]

1984

Лаиглесиа Альваро де — *Рассказы.* Перевод Александра Балжи [4]

Альберти Рафаэль — *"Сколь ты немилосердна, о сладкая Испания!"* Перевод и вступление Хуана Кобо [11]

1985

Марко Хоакин — *Стихи разных лет.* Перевод и вступление Сергея Гончаренко [1]

Ногалес Хосе — *Визит дьявола.* Рассказ. Перевод Александра Балжи [3]

Суньига Хуан Эдуардо — *Годы наедине с русской книгой.* Перевод Вероники Спасской [3]

Гарсиа Лорка Федерико — *Сонеты темной любви.* Вступление и перевод А. Гелескула. *Четыре интервью.* Перевод с испанского Н. Малиновской, с итальянского Е. Костюкович [7]

1986

Канте хондо, андалусская песенная поэзия. Перевод и вступление А. Гелескула [7]

Гарсиа Лорка Федерико — *Как поет город от ноября до ноября.* Перевод, вступление и комментарии А. Гелескула [9]

1988

Падрон Хусто Хорхе — *Лирика.* Перевод и вступление Н. Ванханен [4]

Самора Висенте Алонсо — *Новеллы.* Перевод А. Косс [11]

1990

Села Камило Хосе — *Мой сосед Жоан Миро и другие миниатюры.* Перевод Н. Трауберг [9]

1991

Дали Сальвадор — *Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим.* Фрагменты книги. Перевод Н. Малиновской [12]

1992

Гомес де ла Серна Рамон — *Чудища, призраки, колдуньи* (Из книги "Гойя"). Перевод Н. Малиновской [3]

Гойтисоло Хосе Агустин — *Стихи* Перевод и вступление Натальи Ванханен [4]

Дали Сальвадор — *Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим.* Фрагменты книги. Перевод Н. Малиновской [5-6, 8-9]

1993

Ортега-и-Гассет Хосе — *Эссе об Испании.* Перевод А. Гелескула, Н. Малиновской. Вступление Н. Малиновской [4]

Хименес Хуан Рамон — *Записки в изгнании.* Перевод и послесловие А. Гелескула [12]

1994

Чампурсин Эрнестина де — *Стихи.* Перевод и вступление Натальи Ванханен [6]

1995

Современные поэты Арагона. Ильдефонсо Мануэль Хиль. Томас Сераль-и-Касас. Гильермо Гудель. Антонио Фернандес Молина. Хосе Антонио Рей дель Корраль. Хоакин Санчес Вальес. Перевод А. Гелескула. Вступление Натальи Ванханен [5]

Падрон Хусто Хорхе — *Стихи.* Перевод Н. Ванханен [11]

Сернуда Луис — *"Молчаливый, траурный, тонкий..."* Стихи. Перевод и вступление Н. Ванханен [12]

Альберто Санчес, скульптор из Толедо. К 100-летию со дня рождения. Переводы. Предисловие А. Гелескула [12]

1996

Дарио Рубен — *Поль Верлен.* Перевод Натальи Малиновской [7]

Гойтисоло Хуан — *"...я никогда не заигрывал ни с какой властью"* (Беседа Хуана Гойтисоло с Натальей Матяш). *Выстоять.* Эссе. Перевод Н. Матяш [12]

1997

Сернуда Луис — *Стихи.* Перевод и вступление Н. Ванханен [1]

Салинас Педро — *Стихи.* Перевод и вступление Н. Ванханен [7]

1998

Ортега-и-Гассет Хосе — *В гуще грозы.* Перевод и вступление Анатолия Гелескула [3]

Гарсиа Лорка Федерико — *Стихи и эссе* (К 100-летию со дня рождения). Вступление Анатолия Гелескула. Переводы А. Гелескула и Н. Малиновской [6]

1999

Торренте Бальестер Гонсало — *Дон Хуан.* Роман. Перевод Н. Богомоловой [1—2]

2000

"Капли дождя". Испанская песенная поэзия. Перевод и вступление А. Гелескула [7]

Вилья Хосе Морено — *Стихи.* Перевод Натальи Ванханен [10]

2001

Унамуно Мигель де — *Два эссе.* Перевод Н. Богомоловой [3]

Перес-Реверте Артуро — *Клуб Дюма, или Тень Ришелье.* Роман. Перевод Н. Богомоловой [10—11]

2002

Родореда Мерсе — *Рассказы.* Перевод с каталанского Н. Беленькой [3]

Гарсиа Лорка Федерико — *Ода Сальвадору Дали.* Перевод А. Гелескула [4]

Дали Сальвадор — *Стихи.* Перевод и вступление Н. Малиновской [4]

Мариас Хавьер — *В час битвы завтра вспомни обо мне...* Роман. Перевод Надежды Мечтаевой [5]

2003

Алейсандре Висенте — *Стихи.* Перевод и вступление Бориса Дубина [5]

Атенсиа Мария Виктория — *Стихи.* Перевод и вступление Натальи Ванханен [8]

Ривас Мануэль — *Карандаш плотника.* Роман. *Рассказы.* Перевод и вступление Н. Богомоловой. *Вместо послесловия.* Мануэль Ривас: из интервью разных лет [11]

Гомес де ла Серна Рамон — *Новая теория сновидений.* Эссе. Перевод Е. Матерновской [12]

Гонсалес Анхель — *Стихи.* Перевод и вступление Н. Ванханен [12]

2004

Мендигурен Шавьер — *Фетиш.* Рассказ. Перевод Надежды Мечтаевой [9]

Ачага Бернардо — *Рассказы из книги "Обабакоак".* Перевод и вступление Надежды Мечтаевой [10]

Вила-Матас Энрике — *Такая странная жизнь.* Роман. Перевод и вступление Н. Богомоловой [12]

2005

Гильен Хорхе — *Стихи.* Перевод Н. Ванханен. Вступление Натальи Ванханен и Татьяны Пигаревой [7]

2006

Испанские пословицы и поговорки. Перевод Павла Грушко. Вступление Е. Солоновича [10]

2007

Гарсиа Лорка Федерико — *Небесный балаган.* Перевод и вступление Анатолия Гелескула [4]

Вила-Матас Энрике — *Бартлби и компания.* Роман. Перевод Натальи Богомоловой [5]

Вила-Матас Энрике — *Здесь плачет сама проза.* Перевод Бориса Дубина [7]

Хименес Хуан Рамон — *Тишина лучше соловья.* Проза поэта. Перевод Анатолия Гелескула. Вступление Натальи Малиновской [7]

2008

Мариас Хавьер — *Рассказы.* Перевод Н. Мечтаевой [6]

2009

Хуан Хосе Луис де — *Вспоминая Лампе.* Роман. Перевод Т. Родименко [3]

Порпетта Антонио — *Стихи.* Перевод и вступление Натальи Ванханен [6]

Бенет Хуан — *Из книги "Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая".* Перевод Александра Казачкова [12]

2010

Гарсиа Лорка Исабель — *Память моя, память.* Воспоминания о брате. Главы из книги. Перевод с каталанского и вступление Н. Малиновской [9]

Барбаль Мария — *Из сборника "Горячка времени".* Перевод с каталанского Марины Киеня [11]

"Барса" – это больше, чем клуб. Интервью с Альбертом Санчесом Пиньолем. Запись беседы и перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [11]

Безсонофф Жуан Даниэль — *Из книг "Карманная страна"* и *"Французское воспитание".* Перевод с каталанского Александры Гребенниковой [11]

Вердаге Жасинт — *"Я, Господи, у ног Твоих..."* Перевод с каталанского и вступление Ксении Дьяконовой [11]

Жимферре Пере — *Из ранних книг.* Перевод с каталанского и вступление Бориса Дубина [11]

Казас Фустер Жуан — *Последний день творения.* Пьеса. Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [11]

Карне Жузеп — *"Острова одиночеств".* Перевод с каталанского и вступление Марии Игнатьевой [11]

Мас-Гриера Альберт — *Солнечная машина, или В тот день я раздал множество поцелуев.* Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [11]

Матеу Мелсион — *"...когда раскупят все мои стихи".* Перевод с каталанского и вступление Ксении Дьяконовой [11]

Мунзо Ким — *Любовь до гроба.* Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [11]

Пла Жузеп — *Моя страна.* Фрагменты книги. Перевод с каталанского Марины Киеня [11]

Понс Жуан — *Барбаросса.* Роман. Перевод с каталанского Екатерины Гущиной [11]

Санчес Пиньоль Альберт — *Баллада об убывающем кашалоте.* Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [11]

Солана Тереза — *Дар.* Перевод с каталанского Александры Гребенниковой [11]

Терос Щавьер — *Festum Catalanorum.* Перевод с каталанского Надежды Беленькой. Под редакцией Нины Авровой-Раабен [11]

Эспинас Жузеп М. — *Моя профессия.* Главы из книги. Перевод с каталанского Марины Киеня [11]

2011

Гальсеран Жорди — *Метод Гронхольма.* Пьеса. Перевод и вступление Натальи Ванханен [2]

Монтеро Роса — *Истории страсти.* Главы из книги. Перевод и вступление Марины Киеня [5]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2011 год

Специальные номера

Бельгия: слова и образы [11]
Все счастливые семьи... [5]
Испания: земля и небо [12]
Италия: времена года [8]
Немецкий экспрессионизм [4]
Однажды в Америке... [1]
Польша: литература факта [10]
Старая добрая Англия [3]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Антология современного рассказа [11]

Арпман Жаклин — *Отец детей своей матери.* Перевод с французского Елены Клоковой [11]

Аста Адриано Дель — *Вступление* [8]

Бартиш Аттила — *Спокойствие.* Роман. Перевод с венгерского Дарьи Анисимовой [9]

Бенни Стефано — *Рассказы.* Переводы с итальянского И. Боченковой и Н. Симоновой [8]

Бласбанд Филипп — *В зарослях.* Перевод с французского Галины Модиной [11]

Боучкова Тереза — *Год петуха.* Фрагмент романа. Перевод с чешского Нины Фальковской. Послесловие Инны Безруковой [5]

Вивег Михал — *Ангелы на каждый день.* Повесть. Перевод с чешского Нины Шульгиной. Вступление Александра Эстиса [2]

Гальсеран Жорди — *Метод Гронхольма.* Пьеса. Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен [2]

Гилб Дагоберто — *Дядя Рок.* Рассказ. Перевод с английского А. Светлова [5]

Грюттен Фруде — *Песни пчелиного улья.* Главы из романа. Перевод с норвежского Веры Дьяконовой [5]

Гунциг Томас — *Гамба.* Перевод с французского Нины Хотинской [11]

"Дамам нравится черное". Рассказы современных итальянских писательниц Кармен Ковито, Барбары Гарласкелли, Николетты Валлорани, Дианы Ламы, Даниэлы Лозини. Перевод с итальянского и вступление Анны Ямпольской [8]

Делекруа Венсан — *Башмак на крыше.* Главы из романа. Перевод с французского и вступление Марии Аннинской [7]

Доктороу Эдгар Л. — *Уэйкфилд.* Рассказ. Перевод с английского Е. Домбаян.

Доктороу Эдгар Л. — *"...соединять зримое и незримое, прошлое и настоящее...".* Из цикла Американские беседы. Перевод с английского Е. Домбаян [1]

Карофильо Джанрико — *Рассказы из книги "Мудрости нет".* Переводы с итальянского Яны Арьковой и Марины Козловой [8]

Лав Мэтью — *Ночное дежурство.* Рассказ. Перевод с английского Льва Оборина [1]

Ламарш Каролин — *Ватерлоо, Ватерлоо.* Перевод с французского Елены Клоковой [11]

Ламбер Мишель — *День, когда исчезло небо.* Перевод с французского Елены Леоновой [11]

Либман Дэниел С. — *У кошки в брюхе.* Рассказ. Перевод с английского Антона Ильинского [9]

Лобу Антунеш Антониу — *А мне что делать, когда все горит?* Фрагменты романа. Перевод с португальского Екатерины Хованович [5]

Лодоли Марко — *Рассказы.* Перевод с итальянского и вступление Ирины Боченковой и Натальи Симоновой [2]

Нотомб Амели — *Немного китайская сказка.* Перевод с французского Нины Хотинской [11]

Поле Грегуар — *Да простятся ошибки копииста.* Роман. Перевод с французского Нины Хотинской [11]

Седарис Дэвид — *Рассказы.* Перевод с английского и вступление Светланы Силаковой [1]

Скарпа Тициано — *Фундаментальные вещи.* Роман. Перевод с итальянского Геннадия Киселева [8]

Слободзянек Тадеуш — *Одноклассники.* Пьеса. Перевод с польского Ирины Адельгейм. Вступление Виктории Мочаловой [10]

Утерс Жан-Люк — *Слабая идентичность.* О франкоязычной литературе Бельгии. Перевод с французского Елены Клоковой [11]

Фаркаш Петер — *Восемь минут.* Повесть. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева [5]

Хемон Александар — *Проект "Лазарь".* Роман. Перевод с английского Юлии Степаненко [6—7]

Черский Петр — *Отец уходит.* Минироман. Перевод с польского К. Старосельской [10]

Эмманюэль Франсуа — *Человеческий фактор.* Повесть. Перевод с французского Натальи Мавлевич [11]

Этвуд Маргарет — *О сиротах.* Миниатюра. Перевод с английского Т. Казавчинской [5]

Стихи

Антология современной поэзии. Лилиан Вутерс, Андре Бальтазар, Вильям Клифф, Вернер Ламберси, Ги Гоффетт, Ив Намюр, Беатрис Либер, Филипп Лекеш, Карел Ложист, Серж Делэв, Отто Ганц, Паскаль Леклерк. Переводы с французского Натальи Мавлевич и Натальи Шаховской [11]

Голль Иван — *Стихи.* Вступление Клэр Голль. Перевод с немецкого и послесловие Вальдемара Вебера [9]

Дамьяни Клаудио — См. *Из современной поэзии* [8]

Донхаузер Михаэль — *Стихи из книги "Лучшие песни".* Перевод с немецкого и вступление Анны Глазовой [2]

Из современной поэзии. Грегорио Скализе, Клаудио Дамьяни, Джузеппе Конте. Перевод с итальянского и вступление Е. Солоновича [8]

Конте Джузеппе — См. *Из современной поэзии* [8]

Райан Кей — *Река Ниагара.* Стихи. Перевод с английского и вступление Г. Кружкова [1]

Скализе Грегорио — См. *Из современной поэзии* [8]

Вглубь стихотворения

Фрост Роберт — *Стихи.* Переводы с английского. Вступление Леонида Ситника [1]

Современное американское эссе

Вулфсон Пенни — *Луна восходит.* Перевод с английского Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Прайс Ричард и Энн Хадсон-Прайс — *О чем говорят на улицах.* Перевод с английского Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Уокер Джералд — *Убить дракона.* Перевод с английского Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Хадсон-Прайс Энн — См. Прайс Ричард

Из классики XX века

Виллемс Поль — *Рассказы.* Перевод с французского Марии Аннинской [11]

Оден Уинстен Хью — *Стихи и эссе.* Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова [7]

Стернберг Жак — *Жуткие истории.* Перевод с французского Марии Аннинской [11]

Хини Шеймас — *Музыка Одена.* Перевод с английского Григория Кружкова [7]

Унгаретти Джузеппе — *Стихи.* Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова [2]

Юрсенар Маргерит — *Диалог в трясине.* Одноактная пьеса. Перевод с французского Галины Модиной [11]

Литературное наследие

Белли Джузеппе Джоакино — *"Воры на жалованье" и другие римские сонеты.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [8]

Вивальди Антонио — *Времена года.* Перевод с итальянского и вступление Максима Амелина [8]

Роденбах Жорж — *Стихи.* Перевод с французского Михаила Яснова [11]

Слова и образы

Магритт Рене — *Из книги "Слова и образы".* Перевод с французского Дмитрия Савосина [11]

Энсор Джеймс — *Из книги "Мои сочинения".* Перевод с французского Дмитрия Савосина [11]

Юбилей

Грудзинская-Гросс Ирэна — *Россия и Америка – две империи.* Глава из книги *Милош и Бродский: магнитное поле.* Перевод с польского Мадины Алексеевой [7]

Милош Чеслав — *Поздняя зрелость.* Стихотворение. Перевод с польского Сергея Морейно [7]

"Я медленно текущая река": Мария Луиза Спациани

Вступление Евгения Солоновича [8]
Спациани Мария Луиза — *Три стихотворения.* Перевод с итальянского Евгения Солоновича [8]
Спациани Мария Луиза — *Рассказы.* Перевод с итальянского Анны Ямпольской [8]
Пересечение меридианов. С Марией Луизой Спациани беседует Александр Сергиевский [8]

Старая добрая Англия[1]

Бетджемен Джон [3]
Блейк Уильям [3]
Вордсворт Уильям [3]
Диккенс Чарльз [3]
Ишервуд Кристофер [3]
Черчилль Уинстон [3]
Шекспир Уильям [3]
Акройд Питер — *Человек по имени Уильям Блейк.* Перевод с английского Светланы Лихачевой [3]
Бартошевич Алексей — См. Цветков Алексей [3]
Бетджемен Джон — *Стихи.* Перевод с английского и вступление О. Мишутина [3]
Блейк Уильям — *Стихи разных лет.* Переводы с английского Марии Фаликман, Валентины Сергеевой, Алексея Круглова, Светланы Лихачевой, Григория Кружкова. Вступление Анны Гениной [3]
Вордсворт Уильям — *Прелюдия, или Становление сознания поэта.* Фрагменты поэмы. Перевод с английского Татьяны Стамовой. Вступление Елены Халтрин-Халтуриной [3]
Генина Анна — *Вступление к номеру* [3]
Дагдейл Саша — *Радость.* Три монолога. Перевод с английского Марии Фаликман [3]
Диккенс Чарльз — *Современная наука поимки воров.* Очерк. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [3]
Ишервуд Кристофер — *Мемориал.* Семейный портрет. Перевод с английского Е. Суриц [3]
Пуллман Филип — *Чем я обязан Уильяму Блейку.* Перевод с английского Алексея Круглова [3]
Смоленская Галина — *Филипп Хенсло – первый театральный антрепренер* [3]
Цветков Алексей, Бартошевич Алексей — *Очередная попытка.* О новом переводе "Гамлета" [3]
Черчилль Уинстон — *Изречения и размышления.* Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [3]

1. Отдельно даются три номера с нетрадиционными для журнала рубриками.

Немецкий экспрессионизм

Бенн Готфрид [4]
Больдт Пауль [4]
Дёблин Альфред [4]
Клемм Вильгельм [4]
Эльза Ласкер-Шюлер [4]
Лихтенштейн Альфред [4]
Пинтус Курт [4]
Райнер Вальтер [4]
Шрейер Лотар [4]
Штрамм Аугуст [4]
Эйнштейн Карл [4]
Эренштейн Альберт [4]

Баскакова Татьяна — *Доктор Бенн – птолемеец и мыслепроходец.* Рецензия на русское издание прозы Бенна [4]

Баскакова Татьяна — *От составителя* [4]

Бенн Готфрид — *Позднее Я.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алексея Рашбы [4]

Бенн Готфрид — *Эпилог и лирическое Я.* Эссе. Перевод с немецкого, вступление и послесловие Татьяны Баскаковой [4]

Больдт Пауль — *Жеребята.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [4]

Больдт Пауль — *Лунный свет.* Прозаическая миниатюра. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Дёблин Альфред — *Убийство одуванчика.* Рассказ. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой [4]

Дёблин Альфред — *Футуристическая словесная техника.* Открытое обращение к Ф. Т. Маринетти. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой [4]

Клемм Вильгельм — *Магическое бегство.* Стихотворения. Перевод с немецкого Евгения Воропаева, Татьяны Баскаковой [4]

Ласкер-Шюлер Эльза — *Будь мое сердце здоровым... Кинематографическое.* Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Ласкер-Шюлер Эльза — *За деревьями таюсь я.* Стихотворения. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Лихтенштейн Альфред — *Разговор о ногах. Из набросков к новелле "Кафе 'Клёцка'". Кафе "Клёцка". Куно Коэн. Малая проза.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Лихтенштейн Альфред — *А ну-ка я надену канотье.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [4]

Лихтенштейн Альфред — *Стихи Альфреда Лихтенштейна.* Эссе. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Пинтус Курт — *Начать с того...* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Пинтус Курт — *Сорок лет спустя.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Райнер Вальтер — *Кокаин.* Рассказ. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Стихи Альфреда Лихтенштейна. Эссе. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Шрейер Лотар — *Экспрессионистская поэзия.* Эссе. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Штрамм Аугуст — *Крещение огнем.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева, Евгения Воропаева [4]

Штрамм Аугуст — *Эскизы.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Анатолия Егоршева [4]

Эйнштейн Карл — *Бебюкин, или Дилетанты чуда.* Роман. Перевод с немецкого Евгения Воропаева. Вступление Татьяны Баскаковой [4]

Эйнштейн Карл — *О романе.* Заметки. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Эренштейн Альберт — *Тубуч.* Новелла. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Испания: земля и небо

Да будет все сказано, но / ни слова не сказано даром [12]

...а истину только поэт постигает / в слепящей ее наготе [12]

Жизнь пошла по тропке дальной, / где История не бродит... [12]

И неужели явь — лишь сон о яви? / И прошлое — легенда или вздор? [12]

Господь, уйми печаль мою, тебе ли / не знать, о чем я... [12]

...все из памяти уходит, / кроме были изначальной [12]

Мимолетную грезу / исканием истины обремени [12]

...и, чтобы не сгинуть в заоблачной выси, / заботься о мощном крыле [12]

...жребий твой высок [12]

...Сервантес написал / Евангелие нам — от Дон Кихота [12]

Да пусть обман все это... [12]

...и правды не узнаешь никогда [12]

Бергамин Хосе — *Лопе – земля и небо Испании.* Эссе из книги "Приглушенный голос". Перевод с испанского Ирины Ершовой [12]

Ванханен Наталья — *"По-королевски, без фальши".* О книге Анатолия Гелескула "Огни в океане" [12]

Велис Блинова Мабель — *События последнего испанского кинофестиваля "Гойя"* [12]

Вместо поклона. Несколько слов о поколении 27 года. Стихи Хорхе Гильена и Луиса Сернуды. Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен [12]

Гарсиа Сапико Дионисио — *Испанец в России.* Главы из книги. Литературная редакция Натальи Малиновской [12]

Гильен Хорхе — См. *Вместо поклона. Несколько слов о поколении 27 года.* [12]

Грандес Альмудена — *Песня над балконами.* Рассказ. Перевод с испанского Юлии Лариковой [12]

Два голоса с разных краев. Стихи Андреса Санчеса Робайны и Андреса Трапьельо. Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина [12]

Делибес Мигель — *Безумец.* Повесть. Перевод с испанского Дарьи Синицыной [12]

Касариего Мартин — *Я знал разных людей.* Рассказ. Перевод с испанского Марии Малинской [12]

Матуте Ана Мария — *Тот, кого нет рядом. Сокровище. Праздник.* Рассказы. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [12]

Мильяс Хуан Хосе — *Незримый ущерб. Человек, который любил ночную жизнь. Почтальон всегда звонит дважды.* Рассказы. Перевод с испанского Марины Киеня [12]

Муньос Молина Антонио — *Сефард.* Фрагмент романа. *Река забвения. Комната с привидением.* Рассказы. Перевод с испанского Татьяны Родименко. *"Для меня не существует ничего само собой разумеющегося".* Интервью с писателем. Запись беседы и перевод с испанского Татьяны Родименко [12]

Памиес Сержи — *Оригами. Любимые песни Ленина.* Рассказы. Перевод с каталанского Нины Авровой-Раабен [12]

По материалам испанской прессы. Подготовила Мабель Велис Блинова [12]

Самбрано Мария — *Между зрением и слухом.* Из книги "Философия и образование: рукописи". Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина [12]

Санчес Робайна Андрес — См. *Два голоса с разных краев* [12]

Сернуда Луис — См. *Вместо поклона. Несколько слов о поколении 27 года.* [12]

Степанян Карен — *Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени* [12]

Трапьельо Андрес — См. *Два голоса с разных краев* [12]

Литературный гид

Генри Джеймс: "Жить в мире созидания" [1]

Джеймс Генри — *Записные книжки, дневники, письма, эссе.* Перевод с английского и вступительная статья А. Ливерганта [1]

Лодж Дэвид — *Автора на сцену!* Главы из одноименной книги. Перевод с английского Т. Казавчинской [1]

Документальная проза

ГРОМ: сила и честь. С генералом Славомиром Петелицким беседует Михал Комар. Фрагменты книги. Перевод с польского Марины Болевской [10]

Монтеро Роса — *Истории страсти.* Главы из книги. Перевод с испанского и вступление Марины Киеня [5]

Стесин Александр — *"Вернись и возьми"* [2, 6]

Шейнерт Малгожата — *Остров-ключ.* Фрагменты книги. Перевод с польского К. Старосельской [1]

Репортаж сегодня

Антчак Яцек — *Надежда на развалинах Всемирного торгового центра.* Перевод с польского Дениса Вирена [10]

Новак Влодзимеж — *Окружность головы.* Перевод с польского Ирины Подчищаевой [10]

Тохман Войцех — *Бешеный пес.* Перевод с польского Полины Козеренко [10]
Шабловский Витольд — *Убийца из города абрикосов.* Перевод с польского Мадины Алексеевой [10]
Шейнерт Малгожата — *Польский репортаж и китайская кухня.* Перевод с польского К. Старосельской [10]

"Двадцатый век. Казалось, войн не будет..."

Бернстин Чарльз — *Военные истории.* Стихотворение. Перевод с английского Яна Пробштейна [6]
Веллерсхоф Дитер — *Катастрофа.* Глава из книги *Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца* и авторское предисловие, написанное специально для читателей "ИЛ". Перевод с немецкого и вступление Наталии Васильевой [6]
Ергович Миленко — *Отец.* Главы из книги. Перевод с хорватского и вступление Е. Солодовниковой [6]
Ингрэм Марион — *Операция "Гоморра".* Эссе. Перевод с английского Екатерины Филатовой [6]

Из семейного архива

Ружевич Тадеуш — *Наш старший брат.* Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской [5]

Из будущей книги

Беркович Евгений — *Томас Манн в свете нашего опыта* [9]

№

Вишневский Анатолий — *"Семья эволюирует..."* [5]

Статьи, эссе

Веденяпин Дмитрий — *Далекая близость* [10]
Ефимова Марина — *Обмен. История бартерной торговли шпионами* [1]
Ефимова Марина — *Человек в белом костюме* [7]
Жежко Ирина — *Айн Рэнд на американском "Tea Party": диалог консерваторов и радикалов* [1]
Клинкенберг Жан-Мари — *Маленькие бельгийские мифологии.* Избранные главы. Перевод с французского Оксаны Чураковой [11]
Курбатов Валентин — *Свой среди своих* [10]
Лурье Самуил — *Ключ внутри* [2]
Молинский Лех — *document.pl.* Перевод с польского Дениса Вирена [10]
Новикова Светлана — *Годо не придет никогда* [2]
Померанцев Игорь — *Пять эссе* [2]
Рожье Патрик — *Ностальгия. Автобиография Бельгии.* Избранные главы. Перевод с французского Оксаны Чураковой [11]
Силакова Светлана — *Новые слова для новой семьи* [5]
Степанова Мария — *Из точки перехода.* Речь при получении премии "ЛеричиПеа — Москва-2011" [8]

Нобелевская премия

Варгас Льоса Марио — *Похвала чтению и литературе.* Нобелевская лекция. Перевод с испанского Максима Коробочкина [6]

Обратная перспектива

Берлин Исайя — *Шостакович в Оксфорде.* Перевод с английского Е. и С. Шабуцких [6]

Блюм Арлен — *Псевдопереводы на русский как литературный и политический прием* [6]

Мелихов Александр — *Евросталинизм.* Эссе [6]

Поморский Адам — *Мандельштам в Польше.* Перевод с польского и вступление Натальи Горбаневской [10]

Радзивон Марек — *Ивашкевич. Писатель на фоне катастроф.* Глава из книги. Вступление и перевод с польского В. Хорева [10]

Журнал в журнале

Козеренко Полина — *Литература в свете лампы* [10]

Трибуна переводчика

Вюильмар Франсуаза — *Перевести – значит прочесть.* Перевод с французского Нины Хотинской [11]

Пиндар — *Три Олимпийские победные песни.* Перевод с древнегреческого, вступление и примечания Максима Амелина [7]

"Я не был первооткрывателем Томаса Манна". Интервью Натальи Громовой с Соломоном Константиновичем Аптом 27 сентября 2009 года [9]

Carte blanche

Жолковский Александр — *Прекрасная маркиза* [2]

Эппель Асар — *Римское происшествие* [8]

Письма из-за рубежа

Велис Блинова Мабель — *Судьба корриды* [2]

Гандлевский Сергей — *Повторение пройденного: пять дней в Гаване* [9]

Ефимова Марина — *Путешествие в Ричистан – страну богачей* [6]

Ничего смешного

Немецкое кабаре 20–30-х годов. Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс [2]

Фюшт Милан — *К собранию моих сочинений.* Перевод с венгерского Татьяны Воронкиной. Вступление Ларисы Васильевой [7]

Наши интервью

Новые детские книги – мосты между взрослыми и детьми. С Ириной Балахоновой, главным редактором издательства "Самокат", беседует Наталья Мавлевич [5]

"...мне казалось, будто я попала в узкий круг избранных, которым открыли двери в неизведанный мир". С Клаудией Скандурой беседовала Анна Ямпольская [8]

"Эйнауди" и "Адельфи" стали неотъемлемой частью итальянской культуры... С Анной Раффетто беседовал и перевел интервью с итальянского Александр Сергиевский [8]

Наши иллюстрации

Годованец Юрий, Алёша Прокопьев *Марианна Верёвкина* [4]

Прокопьев Алёша См. Годованец Юрий [4]

БиблиофИЛ

Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым [1, 3, 9,10]

На Туринском книжном салоне с Михаилом Визелем [8]

Новые книги Нового Света с Мариной Ефимовой [1, 6]

По материалам зарубежной прессы. Подготовили Евгения Лакеева, Ника Бажанова [6]

По материалам зарубежной прессы. Подготовили Евгения Лакеева, Ника Бажанова, Екатерина Кузнецова и Мабель Велис Блинова [2]

По материалам испанской прессы. Подготовила Мабель Велис Блинова [12]

Среди книг с Михаилом Визелем [8]

Среди книг с Михаилом Ясновым [3]

Среди книг с Верой Калмыковой [5, 7, 9]

Среди книг с Верой Калмыковой, Самуилом Лурье, Светланой Новиковой и Ниной Павловой [2]

Среди книг с Таисией Паниотовой [6]

У книжной витрины с Михаилом Визелем [1, 3]

У монитора со Светланой Силаковой [5]

Библиография

Американская литература на страницах "ИЛ". 1992–2010 [1]

Английская литература на страницах "ИЛ". 1995–2010 [3]

Бельгийская литература на страницах "ИЛ" [11]

Испанская литература на страницах "ИЛ" [12]

Итальянская литература на страницах "ИЛ". 2008–2011 [8]

Польская литература на страницах "ИЛ". 2006–2011 [10]

Хор и соло. Обзор читательских писем [7]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2011 год [12]

Алфавитный указатель авторов журнала "Иностранная литература" за 2011 год [12]

Авторы номера [1—3, 5—12]

Переводчики номера [4]

Алфавитный указатель авторов журнала "*Иностранная литература*" за 2011 год

Акройд П. [3]
Амелин М. [7, 8]
Аннинская М. [7]
Антчак Я. [10]
Апт С. [9]
Арпман Ж. [11]
Аста А. дель [8]
Бажанова Н. [2, 6]
Балахонова И. [5]
Бальтазар А. [11]
Бартиш А. [9]
Бартошевич А. [3]
Баскакова Т. [4]
Безрукова И. [5]
Белли Дж. Дж. [8]
Бенн Г. [4]
Бенни С. [8]
Бергамин Х. [12]
Беркович Е. [9]
Берлин И. [6]
Бернстин Ч. [6]
Бетджемен Дж. [3]
Бласбанд Ф. [11]
Блейк У. [3]
Блюм А. [6]
Больдт П. [4]
Боучкова Т. [5]
Валлорани Н. [8]
Ванханен Н. [2, 12]
Варгас Льоса М. [6]
Васильева Л. [7]
Васильева Н. [6]
Вебер В. [9]
Веденяпин Д. [10]
Велис Блинова М. [2, 12]
Веллерсхоф Д. [6]
Вивальди А. [8]
Вивег М. [2]
Визель М. [1, 3, 8]
Виллемс П. [11]
Вишневский А. [5]
Вордсворт У. [3]
Вулфсон П. [1]
Вутерс Л. [11]
Вюильмар Ф. [11]
Гальсеран Ж. [2]
Гандлевский С. [9]
Ганц О. [11]
Гарласкелли Б. [8]
Гарсиа Сапико Д. [12]
Генина А. [3]
Гилб Д. [5]
Гильен Х. [12]
Глазова А. [2]
Годованец Ю. [4]
Голль И. [9]
Голль К. [9]
Горбаневская Н. [10]
Гоффетт Г. [11]
Грандес А. [12]
Громова Н. [9]
Грудзинская-Гросс И. [7]
Грюттен Ф. [5]
Гунциг Т. [11]
Гусев Ю. [5]
Дагдейл С. [3]
Дамьяни К. [8]
Делекруа В. [7]
Делибес М. [12]
Делэв С. [11]
Дёблин А. [4]
Джеймс Г. [1]
Диккенс Ч. [3]
Доктороу Э. Л. [1]
Донхаузер М. [2]
Дубин Б. [12]
Епифанов П. [2]
Ергович М. [6]
Ефимова М. [1, 6, 7]
Жежко И. [1]
Жолковский А. [2]
Ингрэм М. [6]
Ишервуд К. [3]
Калмыкова В. [2, 5, 7, 9]
Карофильо Дж. [8]
Касариего М. [12]
Киеня М. [5]
Клемм В. [4]
Клинкенберг Ж.-М. [11]
Клифф В. [11]
Ковито К. [8]
Козеренко П. [10]
Комар М. [10]
Конте Дж. [8]
Кружков Г. [1, 7]
Кузнецова Е. [2]
Курбатов В. [10]
Лав М. [1]
Лакеева Е. [2, 6]

Лама Д. [8]
Ламарш К. [11]
Ламбер М. [11]
Ламберси В. [11]
Ласкер-Шюлер Э. [4]
Лекеш Ф. [11]
Леклерк П. [11]
Либер Б. [11]
Либман Д. С. [9]
Ливергант А. [1, 3]
Лихтенштейн А. [4]
Лобу Антунеш А. [5]
Лодж Д. [1]
Лодоли М. [2]
Ложист К. [11]
Лозини Д. [8]
Лурье С. [2]
Мавлевич Н. [5]
Магритт Р. [11]
Матуте А. М. [12]
Мелихов А. [6]
Милош Ч. [7]
Мильяс Х. Х. [12]
Михеев А. [1, 3, 9, 10]
Мишутин О. [3]
Молинский Л. [10]
Монтеро Р. [5]
Мочалова В. [10]
Муньос Молина А. [12]
Намюр И. [11]
Науйокс М. [2]
Новак В. [10]
Новикова С. [2]
Нотомб А. [11]
Оден У. Х. [7]
Павлова Н. [2]
Памиес С. [12]
Паниотова Т. [6]
Петелицкий С. [10]
Пиндар [7]
Пинтус К. [4]
Поле Г. [11]
Поморский А. [10]
Померанцев И. [2]
Прайс Р. [1]
Прокопьев А. [4]
Пуллман Ф. [3]
Радзивон М. [10]
Райан К. [1]
Райнер В. [4]
Раффетто А. [8]
Роденбах Ж. [11]
Рожье П. [11]
Ружевич Т. [5]
Самбрано М. [12]
Санчес Робайна А. [12]
Седарис Д. [1]
Сергиевский А. [8]
Сернуда Л. [12]
Силакова С. [1, 5]
Ситник Л. [1]
Скандура К. [8]
Скарпа Т. [8]
Скализе Г. [8]
Слободзянек Т. [10]
Смоленская Г. [3]
Солодовникова Е. [6]
Солонович Е. [8]
Спациани М. Л. [8]
Старосельская К. [5]
Степанова М. [8]
Степанян К. [12]
Стернберг Ж. [11]
Стесин А. [2, 6]
Тохман В. [10]
Трапьельо А. [12]
Унгаретти Дж. [2]
Уокер Дж. [1]
Утерс Ж.-Л. [11]
Фаркаш П. [5]
Фрост Р. [1]
Фюшт М. [7]
Хадсон-Прайс Э. [1]
Халтрин-Халтурина Е. [3]
Хемон А. [6, 7]
Хини Ш. [7]
Хорев В. [10]
Цветков А. [3]
Черский П. [10]
Черчилль У. [3]
Шабловский В. [10]
Шейнерт М. [1, 10]
Шрейер Л. [4]
Штрамм А. [4]
Эйнштейн К. [4]
Эмманюэль Ф. [11]
Энсор Дж. [11]
Эппель А. [8]
Эренштейн А. [4]
Эстис А. [2]
Этвуд М. [5]
Юрсенар М. [11]
Ямпольская А. [8]
Яснов М. [3]

Антонио Муньос Молина
Antonio Muñoz Molina
[р. 1956]. Писатель, журналист, искусствовед. Член Испанской Королевской академии [1996], почетный профессор Хаэнского университета [2007]. Лауреат Премии критики [1988], Национальной премии в области прозы [1988, 1992], премии *Планета* [1991]

Автор романов *Зима в Лиссабоне* [*El invierno en Lisboa*, 1987], *Польский всадник* [*El jinete polaco*, 1991; рус. перев. 2006], *Полнолуние* [*Plenilunio*, 1997], *Карлота Файнберг* [*Carlota Fainberg*, 1999], *Лунный ветер* [*El viento de la Luna*, 2006], *Ночь времен* [*La noche de los tiempos*, 2009] и др., сборников рассказов *Другие жизни* [*Las otras vidas*, 1988], *Никакого другого мира* [*Nada del otro mundo*, 1993] и др. Фрагмент романа публикуется по изданию *Sefarad* [Santillana Ediciones Generales, S. L., 2003]; рассказы *Las aguas del olvido* и *El cuarto del fantasma* взяты из сборника *Никакого другого мира* [*Nada del otro mundo*. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 1993].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия левады. Лауреат премий ИЛ [1992], *Иллюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Ваксмахера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

Автор книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика, после и рядом* [2010], *Россия нулевых: Политическая культура. Историческая память. Повседневная жизнь* [2011], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Андрес Санчес Робайна
Andrés Sánchez Robayna
[р. 1952] Поэт, вырос и начал публиковаться на Канарских островах, теперь преподает в университете на Тенерифе, ведет мастерскую литературного перевода.

Ему принадлежат книги стихов *Климат* [*Clima*, 1978], *Скала* [*La roca*, 1984], *На краеугольном камне* [*Sobre una piedra extrema*, 1995], *Надписи* [*Inscripciones*, 1999], сборники статей о современной лирике, труды о Гонгоре и Хуане Инес де ла Крус, переводы из У. Вордсворта, У. Стивенса, С. Малларме, П. Валери, И. Бонфуа, С. Эсприу. Стихи из разных сборников переведены по книге *En el cuerpo del mundo: obra poética, 1970–2002*. [Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2004].

Андрес Трапьельо
Andrés Trapiello
[р. 1953]. Поэт, прозаик, эссеист, живет в Мадриде. Лауреат премии Надаля [2003].

Автор стихотворных книг *Вместе с водой* [*Junto al agua*, 1980], *Может, и правда* [*Acaso una verdad*, 1993], *Сон во сне* [*Un sueño en otro*, 2004], романа *Клуб идеальных убийств* [*Los amigos del crimen perfecto*, 2003; рус. перев. 2006]. Ему принадлежат также монографии о Сервантесе, об образе Гражданской войны в испанской литературе и др.
Стихи из разных книг переведены по изданию *Poemas escogidos* [Valencia: Pre-Textos, 2001].

Ана Мария Матуте
Ana María Matute
Писательница. Член Испанской Королевской академии [1996]. Лауреат премии издательства *Планета* [1954], премии Надаля [1954], премии критики [1959], Национальной литературной премии [1959], Государственной премии по детской литературе [1984], Государственной премии за выдающийся вклад в литературу [2007], премии *Мигель де Сервантес* [2010].

Автор романов *Маленький театр* [*Pequeño teatro*, 1954], *Мертвые сыновья* [*Los hijos muertos*, 1958; рус. перев. 1964], *Солдаты плачут ночью* [*Los soldados lloran de noche*, 1964; рус. перев. 1969], *Светлячок* [*Luciérnaga*, 1993], *Забытый король Гуду* [*Olvidado Rey* Gudú, 1996], Необитаемый *рай* [*Paraíso inhabitado*, 2010] и др., сборников рассказов *Время* [*El tiempo*, 1957], *Раскаявшийся* [*El arrepentido*, 1961], *Река* [*El río*, 1963] и др.
Рассказы *El ausente*, *El tesoro* и *La fiesta* взяты из сборника *Истории Артамилы* [*Historias de la Artámila*. Barcelona: Destino, 1961].

Хуан Хосе Мильяс
Juan José Millás
[р. 1946]. Писатель. Лауреат премий *Sesamo* [1974], *Планета* [2007], Национальной премии в области прозы [2008] и др.

Автор романов *Вот чем было одиночество* [*La soledad era esto*, 1990], *Глупый, мертвый, подлый, невидимый* [*Tonto, muerto, bastardo, invisible*, 1995], *Две женщины в Праге* [*Dos mujeres en Praga*, 2002], *Лаура и Хулио* [*Laura y Julio*, 2006], *Мир* [*El mundo*, 2007] и др.
Рассказ *Una carencia intima* взят из альманаха *Bitzoc Literatura* [1986], рассказы *El hombre que salía por las noches* и *El cartero siempre llama dos veces* — из сборника *Ella imagina y otras obsesiones de Vicente Holgado* [Alfaguara, 1994].

Сержи Памиес
Sergi Pàmies
[р. 1960]. Писатель, журналист, переводчик с французского.

Автор романов *Первый камень* [*La primera pedra*, 1990], *Сентиментальный* [*Sentimental*, 1995] и др., многих рассказов. Переводил произведения Аполлинера, Нотомб, Ф. Бегбедера, Пеннака и др.
Рассказы *Papiroflèxia* и *Les cançons que li agradaven a Lenin* взяты из сборника *La bicicleta estàtica* [Barcelona: Quaderns crema, 2010].

Альмудена Грандес
Almudena Grandes
[р. 1960]. Писательница.

Автор романов *Я назову тебя Пятницей* [*Te llamaré Viernes*, 1991], *Танго называется Маленой* [*Malena es un nombre de tango*, 1994; в рус. перев. *Любовь в ритме танго*, 2009], *Ледяной ветер* [*Los aires difíciles*, 2002], *Замки из картона* [*Castillos de cartón*, 2004] и др., многих рассказов.

Рассказ *El vocabulario de los balcones* взят из сборника *Modelos de mujer* [TUSQUETS, 1996].

МАРТИН КАСАРИЕГО
MARTIN CASARIEGO
[р. 1962]. Писатель, сценарист. Лауреат премии Тигре Хуан [1990].

Автор романов *Что тебе рассказать* [*Que te voy a contar*, 1989], *И сказать какую-нибудь глупость, например, я тебя люблю* [*Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero*, 1995], *Меня не купишь* [*Mi precio es ninguno*, 1996; рус. перев. 2006], *Дочь полковника* [*La hija del coronel*, 1997], *Два в одном* [*Dos en una*, 2002], *Свора собак в тумане* [*La jauria y la niebla*, 2009] и др., многих рассказов и киносценариев.
Рассказ *He conocido a mucha gente* взят из сборника *McOndo* [BARCELONA: EDICION DE ALBERTO FUGUET Y SERGIO GOMEZ, MONDADORI, 1996].

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС
MIGUEL DELIBES
[1920–2010]. Прозаик, член Испанской Королевской академии. Лауреат премии Надаля [1947], литературной премии принца Астурийского [1982], премии *Мигель де Сервантес* [1993], Национальной литературной премии [1998] и др.

Автор книг *У кипариса длинная тень* [*La sombra del ciprés es alargada.*, 1947], *Дневник одного охотника* [*Diario de un cazador*, 1955], *Крысы* [*Las ratas*, 1962; рус. перев. 1975], *Пять часов с Марио* [*Cinco horas con Mario*, 1966; рус. перев. 1975], *Весна в Праге* [*La primavera de Praga*, 1970], *Кому отдает голос сеньор Кайо?* [*El disputado voto del señor Cayo*, 1978; рус. перев. 1983], *Святые безгрешные* [*Los santos inocentes*, 1982; рус. перев. 1983], *Женщина в красном на сером фоне* [*Señora de rojo sobre fondo gris*, 1991], *Еретик* [*El hereje*, 1998; рус. перев. 2003] и др. Повесть публикуется по изданию El loco [BARCELONA: EDICIONES DESTINO, 1988].

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ВАНХАНЕН
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии Инолиттл [2000], обладатель почетного диплома критики зоИЛ [2010], кавалер ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Манрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

ХОРХЕ ГИЛЬЕН
JORGE GUILLEN
[1893–1982]. Поэт. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии *Мигель де Сервантес* [1977].

Автор книги стихов *Песнопение* [*Cantico*, 1928], издававшейся в обновленном и расширенном виде в 1936, 1945, 1950 гг., поэтической трилогии *Вскрик* [*Clamor*]: *Maremagnum* [1957], *...И они вольются в море* [*Que van a dar a la mar*, 1960], *На высоте обстоятельств* [*A la altura de las circumstancias*, 1963]; поэтических сборников *Посвящение* [*Homenaje*, 1967], *Воздух наш* [*Aire nuestro*, 1968], *И другие стихотворения* [*Y otros poemas*, 1973] и др., а также книг эссе *Сюжет произведения* [*El argumento de la obra*, 1961], *Поэт перед своим творением* [*El poeta ante su obra*, 1975].
Перевод стихов выполнен по изданию *Песнопение* [*Cantico*. BARCELONA: EDITORIAL SEIS BARRAL, S. A., 1984].

Луис Сернуда
Luis Cernuda
[1902–1963]. Поэт. После гражданской войны жил в эмиграции в Англии; в шестидесятых годах – в США и Мексике.

Автор книг лирики *Воздушный контур* [*Perfil del aire*, 1927], *Желаемое и действительное* [*La realidad y el deseo*, 1936]. В изгнании выпустил книги стихов *В ожидании зари* [*Como quien espera el alba*, 1947], *Отчаяние призрачной тени* [*La desolacion de la quimera*, 1962], сборники лирической прозы *Старик Окнос* [*Ocnos*, 1942) и *Вариации на мексиканскую тему* [*Variaciones sobre tema mexicano*, 1952], опубликовал работы о новейшей испанской истории. В русских переводах стихи Сернуды издавались в книгах *Западноевропейская поэзия XX в.* [М., 1979], *Из современной испанской поэзии* [М., 1979], *Жемчужины испанской лирики* [М., 1984], а также в *ИЛ* [1995, № 1, 12; 1997, № 1].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Желаемое и действительное* [*La realidad y el deseo.* Madrid: Alianza Editorial, 1991].

Дионисио Гарсиа Сапико
[р. 1929]. Скульптор, иконописец.

Автор философского трактата *Мировоззрение. Новая монадология* [4-е издание: 2010]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996] и премии журнала *Дружба народов* [1999].

Автор цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко. С 1971 года печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, А. Мачадо, Р. Гомес де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассет, А. М. Матуте, С. Дали, А. М. Дали, Р. Дарио, Х. Марти, С. Вальехо, испанские народные сказки, испанская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Мария Самбрано
María Zambrano Alarcón
[1904–1991] Писательница, философ-эссеист, крупнейший национальный мыслитель, наряду с Ортегой-и-Гассетом. Большую часть жизни (с 1939 до 1984 г.) провела в эмиграции – в Латинской Америке, США, Париже, Риме, Женеве. Лауреат премии *Мигель де Сервантес* [1988].

Автор книг *Философия и поэзия* [*Filosofía y poesía*, 1939], *Человек и божественное* [*El hombre y lo divino*, 1953], *Испания: сон и явь* [*España, sueño y verdad*, 1965], *Лесные прогалины* [*Claros del bosque*, 1977], монографий о Сенеке, Гальдосе, Унамуно и многих других. Ее труды переведены на основные европейские языки и особенно авторитетны в Италии и во Франции.
Эссе *Entre ver y el escuchar* публикуется по изданию *Философия и образование: рукописи* [*Filosofía y educación: manuscritos.* Málaga: Editorial Ágora, 2007].

Хосе Бергамин
José Bergamín
[1895–1983]. Поэт, прозаик, драматург, политический публицист, мыслитель-эссеист.

Автор сборника афоризмов *Ракета и звезда* [*El cohete y la estrella*, 1923], сборников стихов *Стихи и сонеты, отставшие по дороге* [*Rimas y sonetos rezagados*, 1962], *Одинокая ясность* [*La claridad desierta*, 1983], и др., нескольких философских драм, книг эссе *Инфернальные границы поэзии* [*Fronteras infernales de la poesía*, 1959], *Закат неграмотности* [*La decadencia del analfabetismo*, 1961], *Раскаленный гвоздь* [*El clavo ardiendo*, 1974] и др.
Эссе *Lope, suelo y vuelo* взято из сборника эссе *Приглушенный голос* [*La Voz Apagada*. Habana: consejo nacional de cultura, 1964].

Карен Ашотович Степанян
[р. 1952]. Литературовед, критик. Доктор филологических наук. Вице-президент российского Общества Достоевского, национальный представитель от России в Международном Обществе Достоевского, член редколлегии журнала *Знамя*, член Союза российских писателей.

Автор монографий *Достоевский и язычество (Какие предупреждения Достоевского мы не услышали и почему* [М.–Смоленск, 1992], *"Сознать и сказать": "реализм в высшем смысле" как творческий метод Ф. М. Достоевского* [М., 2005], *Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского* [СПб., 2010], более ста статей в российских и зарубежных научных сборниках и периодических изданиях.

Мабель Велис Блинова
Mabel Velis Blinova
Филолог, славист, научный сотрудник Мадридского Государственного университета Комплутенсе.

Автор статей *Солярис (Станислав Лем) и Аэлита (А. Н. Толстой): любовь в научно-фантастическом жанре* [*Solaris (Stanisław Lem) y Aelita (A. N. Tolstoi): el amor dentro del género de la ciencia ficción*, 2007], *Литература Восточной и Центральной Европы в эмиграции* [*Literature in Exile of East and Central Europe*, 2009], и др.

Переводчики

Татьяна Викторовна Родименко
Переводчик с испанского и португальского языков.

В ее переводе напечатаны роман Р. Аренаса *Швейцар* [2008], книга Ф. Кастро *Моя жизнь* [2009] и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагмент *Книги тревог* Ф. Пессоа [1998, № 11] и роман Х. Л. де Хуана *Вспоминая Лампе* [2009, № 3].

Надежда Федоровна Мечтаева
Переводчик с испанского. Кандидат филологических наук.

В ее переводе опубликованы произведения Х. Мариаса, У. Ириарта, Р. Рея Росы. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романа *В час битвы завтра вспомни обо мне...* [2002, № 5] и рассказов [2008, № 6] Х. Мариаса, рассказа Ш. Мендигурена *Фитиш* [2004, № 9], рассказов Б. Ачаги [2004, № 10].

Марина Игоревна Киеня
Переводчик с испанского и каталанского языков, член Союза писателей г. Москвы.

В ее переводе публиковались рассказы С. Эсприу, П. Кальдерса, Ф. Аялы, повесть М. де Педролу *Временное пристанище*, роман Х. Пардо *А теперь пора умирать*, философский трактат Х. Антонио Марины *Анатомия страха* и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы М. Барбаль и документальная проза Ж. Пла и Ж.М. Эспинаса [2010, № 11], главы из книги *Истории страсти* Р. Монтеро [2011, № 5] и др.

Нина Аврова-Раабен
Переводчик с испанского и каталанского языков. Преподаватель русского языка. Живет в Барселоне.

В ее переводах выходили произведения А. Кункейро, М. Ауба, М. Родореды, М. де Педроло, Ж. Казаса Фустера, М. Мунзо, А. Санчеса Пиньоля. Перевела на каталанский язык [в соавторстве с Ж. Казасом Фустером] все пьесы Чехова, *Лирические драмы* А. Блока и [в соавторстве с А. Соле] главу *Великий инквизитор* из романа *Братья Карамазовы* для театральной постановки. Для *ИЛ* ею составлен номер [2010, №11], посвященный каталонской литературе. В этом номере в ее переводе опубликованы пьеса Ж. Фустера *Последний день творения*, рассказы К. Мунзо, А. Санчеса Пиньоля и А. Мас-Гриера и интервью с А. Санчесом Пиньолем.

Юлия Анатольевна Ларикова
Лингвист, преподаватель испанского языка МГИМО, журналист.

Автор статей *Концепт "город" в литературе: лингвокультурологический аспект* [2009], *Несколько слов о русском аргентинском языке* [2010] и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликовано эссе М. Витаглиано *Десять тысяч шепотов с Борхесом* [2010, № 10].

Мария Викторовна Малинская
Переводчик с испанского и английского языков. Студентка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор статьи *Образ и функция наивного читателя в рассказах О'Генри*. Ее переводы сказки О. Уайльда, стихотворения У. Б. Йейтса и фрагмента из книги Х. Р. Хименеса *Платеро и я* были отмечены на конкурсе начинающих переводчиков 2009 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) РАН.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Дарья Игоревна Синицына
Переводчик с испанского, каталанского и галисийского языков, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат филологических наук.

В ее переводе печатались стихи и рассказы каталонских и галисийских авторов Р. Де Кастро, А Кастелао, Э. Пондаля, Р. Кабаниньяса, Р. Леверони, Б. Порсела, М. Мерсе Марсал и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликован фрагмент романа Г. Кабрера Инфанте *Три грустных тигра* [2010, № 12].

Ирина Викторовна Ершова
Литературовед, медиевист, переводчик с испанского и английского языков, профессор РГГУ.

В ее переводе выходили главы из книг *Веласкес* и *Гойя* Х. Ортеги-и-Гассета, статьи *Петр Богатырев (29.1.1893—18.8.1971): мастер перевоплощений*, *Мои любимые темы* Р. Якобсона, главы из монографии *Героическая поэзия* британского ученого С. М. Боуры и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

В оформлении обложки использован фрагмент картины испанского художника Эль Греко [Доменикос Теотокопулос. 1541–1614] *Вид Толедо* [1610–1614].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ; телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 10.11.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 38.
Тираж 7000 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЧИТАЙТЕ В 2012 ГОДУ:

"Остались в чем были" – повесть популярного английского писателя-сатирика АЛЕНА БЕННЕТА, чей роман "Необыкновенный читатель" публиковался на страницах нашего журнала. В новом произведении рассматривается парадоксальная ситуация: герои (в результате кражи) лишаются всего, вплоть до зубных щеток. Что лежит за этим странным ограблением и как отсутствие накопленных за жизнь вещей меняет не только быт, но и самооценку героев?

"Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи" – роман, переведенный со страусиного на язык *homo sapiens* современным венгерским поэтом, прозаиком и драматургом (родом из Трансильвании) ГЕЗОЙ СЁЧЕМ. "Оруэлловский" текст об обитателях страусиной фермы, расположенной "где-то в Восточной Европе".

В рубрике "Переперевод" – новый перевод знаменитой поэмы ОСКАРА УАЙЛЬДА "Сфинкс"; перевод полемизирует в определенном смысле с переводом Николая Гумилева.

Рубрика "Литературный гид" будет посвящена выдающемуся английскому драматургу, нобелевскому лауреату ГАРОЛЬДУ ПИНТЕРУ. В рубрику войдут мемуары его жены, а также пьеса Пинтера "Суета сует", где речь идет о памяти: "о нас и понимании нашего прошлого, нашей истории и происходящем с нами в настоящее время".

В рубрику "Писатель путешествует" войдет аналитическое путешествие по только что вышедшему в Нью-Йорке бестселлеру ФРЭНКА БРЕЙДИ "Эндшпиль. Взлет и падение Роберта Фишера: От вундеркинда до безумца".

В рубрику "Статьи, эссе" войдет очерк крупнейшего на сегодняшний день французского писателя ЖОРЖА ПЕРЕКА "Думать / Классифицировать".

Подписаться на журнал
можно во всех отделениях связи России.
Подписной индекс 70394 (на полгода).

Электронная подписка:
через Агентство "Роспечать", "АПР" – www.presscafe.ru
через компанию "Интер-почта" – www.interpochta.ru
Тел. (495) 5000060 или 7880060

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2011, №12, 1-288

ISSN 0130-6545 11012 9 770130 654770